

Николай Кончев

**ГИБЕЛЬ
Николая
Рубцова**

«Я ушуру в крещенские морозы»

Москва



2010

Оформление художника *Н. Кудря*

Коняев Н. М.

К 65 Гибель Николая Рубцова. «Я умру в крещенские морозы» / Николай Коняев. — М. : Яуза : Эксмо, 2010. — 544 с.

ISBN 978-5-699-39806-5

«Я умру в крещенские морозы» – эти слова Николая Рубцова оказались пророческими: жизнь великого русского поэта безвременно оборвалась 19 января 1971 года. Он был убит женщиной, которую собирался назвать своей женой.

Казалось бы, ничего загадочного в этой трагедии не было: убийца сама явилась в милицию и заявила о совершенном ею преступлении, – однако споры о том, что на самом деле произошло в ту крещенскую ночь и кто повинен в смерти пронзительного лирика и прорицателя своей судьбы, не прекращаются до сих пор.

Эта сенсационная книга не только прослеживает все этапы жизни и творчества Николая Рубцова, но и раскрывает тайные пружины произошедшей в Вологде трагедии.

УДК 929
ББК 63.3(2)

ISBN 978-5-699-39806-5

© Коняев Н.М., 2010
© ООО «Издательство «Яуза», 2010
© ООО «Издательство «Эксмо», 2010

Бог явил нам радость и чистоту в виде стихов Рубцова и взял обратно: недостойны. В ряду самых великих... Такой чистоты, такой одухотворенности, такого молитвенного отношения к миру— у кого еще искать.

Федор Абрамов

Около четырех часов ночи привезли пьяного мужика, ломившегося в двери почтового отделения.

— Я ничего! Мне письмо надо спросить! — шумел он, но потом, пригревшись, затих.

Дежуривший милиционер составил протокол и, убрав документы, зевнул. Похоже было, что больше ничего не произойдет в это дежурство, выпавшее на крещенскую ночь...

Сонной дымкой затягивало мутновато-синие стены, крашенный коричневой краской барьер...

И тут хлопнула дверь, и в белом морозном воздухе возникла в отделении женщина. Она была в валенках, на голове — туго замотанный платок.

— Арестуйте меня... — сказала она и тяжело вздохнула. — Я человека убила.

— Когда?

— Сейчас... Дома.

— Дома?!

— Да... Я жила у него...

— Т-так... — сказал милиционер. — Фамилия как?

Женщина назвала себя.

— Ясно... А убитого как звали?

— Рубцовы... Николай Михайлович Рубцов...

Милиционер, отгоняя сон, провел рукою по лицу, словно бы хотел перекреститься.

Потом взглянул на часы.

Было 5 часов утра 19 января 1971 года.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Аленький цветок

Рубцову было шесть лет, когда умерла мать, и родной отец сдал его в детдом.

Шестнадцать, когда он поступил кочегаром на трамвайщик...

Он служил в армии, вкалывал на заводе, учился...

На тридцать втором году жизни впервые получил постоянную прописку, а на тридцать четвертом — наконец-то! — и собственное жилье: крохотную однокомнатную квартирку.

Здесь, спустя два года, его и убили... Вот такая судьба.

Первую книгу он выпустил в 1965 году, а через двадцать лет его именем назвали улицу в Вологде.

Ему исполнилось бы всего пятьдесят, когда в Тотьме поставили ему памятник.

И это тоже судьба.

Как странно несхожи эти судьбы... И как невозможны они одна без другой!

1

«Николай Рубцов — поэт долгожданный. Блок и Есенин были последними, кто очаровывал читающий мир поэзией — непридуманной, органической. Полвека прошло в поиске, в изыске, в уг-

верждении многих форм, а также — истин... Время от времени в огромном хоре советской поэзии звучали голоса яркие, неповторимые. И все же — хотелось Рубцова. Требовалось. Кислородное голодание без его стихов — надвигалось...»

«Стихи его настигают душу внезапно. Они не томятся в книгах, не ждут, когда на них задержится читающий взгляд, а, кажется, существуют в самом воздухе. Они, как ветер, как зелень и синева, возникли из неба и земли и сами стали этой вечной синевой и зеленью...»

«Стихи Рубцова выражают то, что невыразимо ни здравым образом, ни словом в его собственном значении... Образ и слово играют в поэзии Рубцова как бы вспомогательную роль, они служат чему-то третьему, возникающему из их взаимодействия...»

Эти высказывания Глеба Горбовского, Александра Романова, Вадима Кожинова — лучшее свидетельство тому, как непрост разговор о поэзии Рубцова. Стоит только исследователю попытаться выразить ее суть, как тут же, отказываясь от литературоведческой терминологии, вынужден он оперировать понятиями и категориями самой жизни.

Обманчива и простота рубцовской лирики.

Анализируя ее, легко обнаруживаешь закономерности и приемы, которыми пользуется поэт, но результат, достигаемый этими приемами, не закономерен, не достигаем данными приемами.

Судите сами...

Рубцов словно специально пользуется неточными определениями. «За расхлябанным следом», «пустынные стога», «в деревне мглистой», «распутья веющие»...

Что это? Языковая небрежность? Или поиск подлинного, соответствующего стиховой ситуа-

ции смысла, освобождение живой души слова из грамматико-лексических оков?

А вот другой пример...

Наверное, ни у кого из поэтов не найдется столь многочисленных повторов самого себя, как у Рубцова. Кажется, он забывал созданные и уже зафиксированные в стихах образы, многократно повторяя их снова и снова:

Скачут ли свадьбы в глухи потрясенного бора,
Мчатся ли птицы, поднявшие крик над селеньем,
Льется ли чудное пение детского хора, —
О, моя жизнь! На душе не проходит волненье...

(«У размытой дороги»)

Как просто в прекрасную глушь
листопада
Уводит меня полевая ограда
И детское пенье в багряном лесу...

(«Жар-птица»)

Словно слышится пение хора,
Словно скачут на тройках гонцы,
И в глухи задремавшего бора
Все звенят и звенят бубенцы...

(«Тайна»)

И пенья нет, но ясно слышу я
Незримых певчих пенье хоровое...

(«Привет, Россия...»)

Скачет ли свадьба в глухи потрясенного бора,
Или, как ласка, в минуты ненастной погоды
Где-то послышится пение детского хора, —
Так — вспоминаю — бывало и в прежние годы!

(«Скачет ли свадьба...»)

Все эти «свадьбы», эти «хоры», рассыпанные по стихам Рубцова, право же, сразу и не перечислишь...



Что это? Самоповтор? Или «причастность к тому, что, в сущности, невыразимо»? Ведь приближение потусторонних сил столь же естественно и обычно в поэзии Рубцова, как дуновение ветра или шум осеннего дождя, поэтому даже и не осознается как повтор...

Еще более загадочной выглядит взаимосвязь поэзии Рубцова и его жизни.

По стихам Николая Михайловича точнее, чем по документам и автобиографиям, прослеживается его жизненный путь. И не только тот, который уже был пройден поэтом к моменту создания стихотворения, но и события будущей жизни, о которой Рубцов мог только догадываться...

Конечно, многие настоящие поэты угадывали свою судьбу, легко заглядывали в будущее, но в Николае Рубцове провидческие способности оказались развиты с такой необыкновенной силой, что, когда читаешь написанные им незадолго до смерти стихи:

Я умру в крещенские морозы.
Я умру, когда трещат березы, —

охватывает жутковатое чувство нереальности. Невозможно видеть вперед так ясно, как видел Рубцов! Хотя — сам Рубцов говорил: «Мы сваливать не вправе вину свою на жизнь. Кто едет, тот и правит, поехал — так держись!» — отчего же невозможно? Очень даже можно, если учесть, что Рубцов и жил так, будто писал самое главное стихотворение, и, совершенно точно зная финал, ясно представляя, что ждет впереди, даже и не пытался что-либо изменить...

Потому что не прожить свою жизнь, не пройти назначенный ему Путь до конца он не мог, да и не хотел...

2

О родителях Николая Рубцова известно немного...

Отец поэта — Михаил Андрианович Рубцов родился в 1899 году в деревне Самылково на Вологодчине. Здесь он и окончил трехлетнюю сельскую школу в селе Спасском.

В 1917 году ему было всего восемнадцать лет, и когда большевики в числе других миллионов крестьянских парней мобилизовали его на Гражданскую войну, он с готовностью воспринял все, чему учили его комиссары.

Вернувшись из Красной Армии, Михаил Андрианович устроился работать председателем правления Биряковского общества потребителей.

С его фотографии, сделанной в эти годы, на нас смотрит бравый, знающий себе цену парень в белой косоворотке. Во взгляде его сквозит вера в разумность и полезность будущей жизни.

В 1921 году Михаил Андрианович женился на Александре Михайловне Рычковой.

Жили они по-прежнему в Самылкове.

Здесь, в Самылкове, появились первые дети.

Всего у Рубцовых до рождения Николая были три дочери — Рая, Надежда, Галина — и сын Альберт.

Еще до рождения Николая его старшая сестра, Рая, умерла.

Еще до рождения Николая Михаил Андрианович вступил в партию и возрос до должности начальника Отдела рабочего снабжения (ОРС) Емецкого леспромхоза.

Еще до рождения Николая Рубцовых поселились в Емецке¹, в красивом доме, развернутом фаса-

¹ Сейчас Емецк относится к Архангельской области, но на момент рождения Николая Рубцова Вологодская и Архангельская области все еще были объединены в одну Северную область. Разделение произошло в 1937 году.

дом к старинному — из Архангельска в Москву — тракту.

По задворкам дома текла река...

В этом доме на «рыбном тракте» и родился 3 января 1936 года Николай Михайлович Рубцов...

Отцу его тогда уже исполнилось тридцать шесть лет.

Был Михаил Андрианович, как вспоминали со-служивцы, компанейским человеком. Часто у Рубцовых, хотя и размещалась семья в двух проходных комнатах, останавливались на ночевку наезжавшие в Емецк из лесопунктов командированные. Место находилось для всех.

Михаил Андрианович любил музыку. Когда возвращался со службы, первым делом заводил патефон...

По общему коридору жили еще три семьи...

Особенно весело было в праздники...

Гуляли сообща. Вначале в одной квартире, потом переходили в другую...

Не случайно одно из первых воспоминаний Николая Рубцова как раз с застольем и связано — он ползет по длинному праздничному столу, загроможденному грязными тарелками и рюмками с недопитым вином...

Михаилу Андриановичу такая жизнь нравилась.

Он считал, что «завоевал» себе эту жизнь на Гражданской войне, заслужил ее всей своей исправной службой советской власти.

Тем более что его любовь к застольям и веселью вроде бы не мешала ни службе, ни карьере.

Вскоре после рождения Николая Михаила Андриановича назначили помощником начальника райтрансторгпита по кадрам, и семья переехала в Няндому.

И вот здесь едва не пресеклась не только карьера, но и сама жизнь Михаила Андриановича...

3

«Первое детское впечатление, — рассказывал Николай Михайлович Рубцов, — относится к тому времени, когда мне исполнился год...

Помню снег, дорога, я на руках у матери. Я прошу булку, хочу булку, мне ее дали. Потом я ее бросил в снег. Отца помню. Мать заплакала, а отец взял меня на руки, поцеловал и опять отдал матери... оказывается, это мы отца провожали...»

В этом рассказе о проводах отца — а провожали его в тюрьму! — точно переданы детские ощущения: «прошу булку, хочу булку... бросил в снег», а вся сюжетная канва — смущает нестыковка деталей! — скорее всего додумана взрослым Рубцовыми.

Впрочем, вспоминая о своем отце, поэт вообще менее всего заботился о фактах... И это относится не только к его устным рассказам и стихам, но и к официальным анкетам и биографиям.

Канцелярская выверенность свидетельств в этом вопросе всегда угнетала его.

В тюрьме Михаил Андрианович провел под следствием всего год и был выпущен «подчистую», а вскоре после возвращения из тюрьмы пошел на повышение...

Семья арест Михаила Андриановича пережила труднее.

Сразу после ареста посреди зимы пришлось перебираться из хорошего дома в барак, стоящий почти вплотную к железнодорожной насыпи. Здесь и умерла старшая сестра, Надя.

Надежду Рубцов любил...

Он запомнил, как выходит она к гостям в нарядном платье, в блестящем монисто на высокой шее, чтобы показать, чему научилась в кружке пения...

«Монисто, — вспоминал Рубцов, — очень шло к ней, придавало ей еще красоты и тихо звенело во время танца. И голос ее звенел, и слова непонятной песни тоже звенели, и всю жизнь сопровождает меня, по временам возникая в душе, какой-то чудный-чудный, тихий звон, оставшийся, наверно, как память об этом пении, как золотой неотразимый отзвук ее славной души».

Живая, общительная, Надежда попала в деревню на сельхозработы, простудилась там и заболела менингитом.

Николай Рубцов часто вспоминал, как мучительно переносила сестра нестихающую боль и, когда заговаривали с ней, отворачивалась к стене...

Наде было шестнадцать, когда она умерла. Ее — Михаил Андрианович к тому времени уже был восстановлен в партии и в должности — хоронили как комсомолку...

Николай Рубцов запомнил красный гроб, множество венков, скопление народа...

На всю жизнь осталась в нем эта боль утраты, всю жизнь считал он, что, если бы Надежда не умерла так рано, не было бы в его жизни того безысходного сиротства, через которое предстояло пройти ему...

4

Как явствует из воспоминаний сестры поэта, Галины Михайловны Рубцовой¹, мать их была глубоко верующим человеком.

¹ Воспоминания эти записаны в Череповце Верой Владимиrowной Поповой и переданы мне.

Александра Михайловна любила ходить в церковь и даже пела там в хоре.

Не рискуя ошибиться, можно предположить, что в Няндоме, когда арестовали мужа, Александра Михайловна молилась сама и вовлекала в эту молитву детей.

И едва ли это порадовало вернувшегося из тюрьмы супруга-коммуниста.

Как вспоминает Галина Михайловна, Михаил Андрианович избивал мать, пытаясь выбить из нее «церковную дурь», но Александра Михайловна, узревшая чудо молитвы — а чем еще, кроме ее молитвы, можно было объяснить сказочное спасение Михаила Андриановича? — сохраняла твердость в вере.

И тут вера шла на веру.

«Шибко партийный... — говорила, вспоминая Михаила Андриановича тех лет, и Надежда Михайловна Щербинина¹. — За партию горло готов перегрызть».

Разумеется, хотя Михаила Андриановича и реабилитировали, но заключение не могло не оставить в его душе следа — год, проведенный за решеткой, — это вполне достаточный срок, чтобы избавиться от иллюзий, если они были.

Михаил Андрианович окончательно превращается после тюрьмы в маленького советского начальника, который хорошо понимает, сколь невелика в нашей стране цена человеческой, в том числе и его собственной, жизни. И он использует все, чтобы уберечь и себя, и свою семью.

«Мать на порог, — вспоминает Галина Михайловна, — а Михаил Андрианович даже ногу в двери

¹ Племянница Михаила Андриановича. Воспоминания цитируются по книге Сергея Багрова «Россия, родина, Рубцов».

прищемит. Мама же на своем настоит, на службу уйдет в храм!»

Самому Николаю Рубцову запомнилось, что Михаил Андрианович очень серьезно занимался воспитательной работой в семье. Будучи навеселе, он ставил на патефон пластинку с «Интернационалом», выстроив семью в шеренгу, сам становился в строй и, вытянувшись в струнку, слушал партийный гимн.

Сохранилась предвоенная фотография отца поэта...

Михаил Андрианович сидит за рабочим столом в кабинете. На нем пиджак, белая рубашка, галстук... Волосы гладко зачесаны назад... Взгляд прямой, как бы пронзающий насквозь. Никакой иллюзии насчет разумности и полезности будущей жизни не обнаружить в этом взгляде, только твердость и преданность генеральной линии ВКП(б).

14 января 1941 года Михаил Андрианович Рубцов, как записано в его учетной партийной карточке, выбыл из Няндомы в Вологодский горком партии.

В Вологде Рубцовых поселились недалеко от Прилуцкого монастыря, в который еще недавно свозили со всей области раскулаченных мужиков...

Николаю было пять лет...

Он не пытался тогда разобраться во взаимоотношениях родителей, да и не сумел бы сделать это.

Из родительских разговоров ему запомнилась всего одна фраза.

— Александра, кипяточку! — кричал отец, усаживаясь за стол.

5

Много лет спустя Николай Рубцов попытается в рассказе «Дикий лук» нарисовать характер отца и атмосферу тех лет.

Рассказ этот писался уже после смерти Михаила Андриановича, и, читая его, видишь, как пересекаются в этой небольшой зарисовке два взгляда: ребенка — в еще неясное, туманное будущее, и усталого, измотанного жизнью поэта, как бы усмехающегося своему детскому неведению...

«Давно это было.

За Прилуцким монастырем на берегу реки собирались мы однажды все вместе: отец, мать, старшая сестра, брат и я, еще ничего не понимающий толком. День был ясный, солнечный и теплый. Всем было хорошо. Кто загорал, кто купался, а мы с братом на широком зеленом лугу возле реки искали в траве дикий лук и ели его. Неожиданно раздался крик: «Держите его! Держите его!» И тотчас я увидел, что мимо нас, тяжело дыша, не оглядываясь, бежит какой-то человек, а за ним бегут еще двое.

— Держите его!

Отец мой быстро выплыл из воды и в чем был тоже побежал за неизвестным. «Стой! — закричал он. — Стой! Стой!» Человек продолжал бежать. Тогда отец, хотя оружия у него никакого не было, крикнул вдруг: «Стой! Стрелять буду!»

Неизвестный, по-прежнему не оглядываясь, прекратил бег и пошел медленным шагом...»

Рассказ Рубцова написан очень просто, но при этом он поразительно точен по характерам и по психологии.

Типичный маленький начальник — отец и в рассказе Рубцова ведет себя очень типично. Не за-

думываясь, вылезает из реки и «в чем был» устремляется в погоню за неизвестным.

Зачем? Да затем, что годами советской службы, целым годом, проведенным в заключении, выдрессирован он на погоню. И этот: «Стой! Стрелять буду!» — подлинный, из тех лет крик.

И неважно, что оружия у преследователя нет, неважно, что в погоню он устремился голым... Социальные роли и преследователем, и преследуемым осознаются настолько отчетливо, что оружие и не требуется, они оба знают магическую силу слов:

— Стой! Стрелять буду!

Беглец вынужден покориться. Он прекратил бег, даже и не оглянувшись, чтобы проверить, насколько реальна угроза...

«Все это поразило меня... — тридцать лет спустя напишет поэт Рубцов. — И впервые на этой земле мне было не столько интересно, сколько тревожно и грустно. Но... давно это было».

Тревожно и грустно...

Эти не слишком обычные для пятилетнего мальчика чувства рождались в проснувшейся душе Рубцова отчасти в результате столкновения молитвенного покоя, которому успела мать научить его за год, проведенный отцом в заключении, с жесткостью и грубостью повседневной жизни, которую предстояло вести теперь.

Приходится только гадать, как сложилась бы судьба Николая Рубцова, не потеряв он так рано семью. Но судьба сложилась так, как она сложилась, и словно отблеск высшей справедливости, именно в селе Никола — всего-то, если считать по прямой, несколько десятков километров от Самылкова! — открылась Николаю Рубцову простая и искупающая — если постигнуть и принять ее! — все отцовские компромиссы и предательства истина:

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Истина, на осознание которой в нашей стране
ушло два поколения, та истина, которую не уставал
повторять Рубцов всю свою жизнь...

Не порвать мне мучительной связи
С долгой осенью нашей земли,
С деревцом у сырой коновязи,
С журавлями в холодной дали...

6

Когда началась война, Михаил Андрианович по-
менял черную вельветовую куртку на полу военный
френч и легкие хромовые сапоги и стал заправлять
военторгом в Кущубе...

В книге покойного Вячеслава Белкова¹ приве-
дены рассказы соседей Рубцовых, вспоминавших,
что Михаил Андрианович не забывал себя, рас-
пределая продукты... «По пути из Красных казарм
на вокзал заедут домой, *шаранут* с телеги мешок
муки, крупы, бутыли со спиртом прямо в окно пе-
редадут...»

Жизнь пошла веселая, как раз такая, которая
всегда нравилась Михаилу Андриановичу.

И, конечно же, появились и женщины... Семья
стала тяготить Михаила Андриановича. Теперь
он — вот уж воистину: кому война, а кому мать род-
на! — частенько не ночевал дома.

Александра Михайловна, конечно, переживала.

Часто жаловалась на сердце, которое мучило ее
теперь все сильнее.

¹ Вячеслав Белков. Жизнь Рубцова. Вологда. 1993.

В апреле 1942 года, когда стаяли снега, дом на улице Ворошилова подтопило, и на первом этаже, где жили Рубцовые, по колено поднялась вода...

Жили прямо посреди воды...

Электричества не было, горела коптилка.

Через неделю вода ушла, но волнения, связанные с потопом, не прошли для Александры Михайловны даром...

Черный день, 26 июля 1942 года, Николаю Рубцову запомнился на всю жизнь...

Он возвращался с братом из кино, когда возле калитки ребят остановила соседка и сказала:

— А ваша мама умерла.

У нее на глазах показались слезы. Брат тоже заплакал и сказал Николаю, чтоб он шел домой.

«Я ничего не понял тогда, — вспоминал уже взрослый Рубцов, — что такое случилось...»

Сюжет рассказа «Золотой ключик», в котором описаны эти события, Рубцов полностью повторил в стихотворении «Аленький цветок»:

Домик моих родителей
Часто лишал я сна,
— Где он опять, не видели?
Мать без того больна. —
В зарослях сада нашего
Прятался я, как мог.
Там я тайком выращивал
Аленький свой цветок..
Кстати его, некстати ли,
Вырастить все же смог...
Нес я за гробом матери
Аленький свой цветок.

Рубцов потерял мать в том возрасте, когда чувство самосохранения и любовь к матери еще не разделены, когда человек ощущает мать как часть самого себя, и поэтому не надо обманываться кажущейся сентиментальностью стихотворения, написанного, кстати сказать, уже зрелым поэтом.

Нет, это не слашавое сюсюканье, а точная память о душевном смятении, охватившем ребенка.

Разрастаясь, аленький цветок заполнил «красными цветами» зелую лирику — едва ли кто из русских поэтов так много писал о матери, как Рубцов...

Но это потом, годы спустя, а тогда, в 1942 году, судьба, словно бы посчитав, что лимит семейного тепла будущим русским поэтом уже исчерпан, торопливо разрушает рубцовский дом.

7

Только похоронили мать на Введенском кладбище в Вологде, как снова приходит смерть — умирает самая младшая Рубцова — полугодовалая Надежда.

Отец — он все время проводит в разъездах — зовет свою сестру Софью Андриановну помочь в беде: надо пристроить ребят...

Мать умерла.
Отец ушел на фронт.
Соседка злая
Не дает проходу.
Я смутно помню
Утро похорон
И за окошком
Скудную природу...

В стихах чуть смешены события, но причина не в забывчивости поэта. В повествовательной логике не сходятся и не могут сойтись те беды, что обрушились в эти дни на мальчика.

Вдобавок ко всему Николай умудрился потерять хлебные карточки.

Если бы отец продолжал работать в военторге, этой потери и не заметили бы, но с Кущубой к тому времени отцу — формируется батальон народного

ополчения! — пришлось расстаться. Соседи вспоминают, что Николая сильно выпороли, и он сбежал из дома¹.

И вот приезжает тетка, и в семье Рубцовых разыгрывается новая трагедия... Софья Андриановна забирает старших детей — Галину и Альберта — к себе², а младших — Николая и Бориса — отправляет в Красковский дошкольный детдом.

Софью Андриановну можно понять: у нее свои дети, и идет война. Она и так сделала все, что могла... Каждый ли способен взять двоих чужих детей? И наверняка взрослый Рубцов понимал это...

Но что чувствовал шестилетний ребенок?

Горе раннего сиротства, осознание собственной несчастливости захлестывали его. Ведь более легкая участь досталась другим! И тем мучительнее, тем болезненней рана, что о новой обиде приходится молчать. Если и пытался жаловаться шестилетний мальчишка, то в ответ встречал неприязненное недоумение: зависть — качество неприятное даже и в ребенке.

Молча, таясь от всех, предстояло шестилетнему Рубцову пережить эту, кажется, достойную пера Шекспира драму, когда не ты выбираешь свою несчастливую судьбу, а тебе выбирают. И оттого,

¹ Сергей Багров в своей книге «Россия, родина, Рубцов» так излагает эту историю: «Одна из соседок вознамерилась Колю усыновить. Но тут в квартире, где жили Рубцова, случился скандал. Хозяйка куда-то девала свои продуктовые карточки. Не признаваться же ей, что она потеряла их, будучи пьяной. Поэтому и свалила на первого, кто попался ей на глаза. И это, к несчастью,пало на Колю. Потрясенный таким беспощадно-бессовестным обвинением, мальчик тут же сбежал неизвестно куда. Возвратился через неделю, весь ободранный и голодный. Когда спросили его: «Где был?», — ответил: «В лесу!» — «А чем питался?» — «Дудками и корнями».

² По смутным и невнятным воспоминаниям Галины Рубцовой получается, что тетка забрала только ее, и у тетки она «мыла полы, стирала...». Альберт же был отдан назад в детдом.

что выбирают ее самые близкие, самые родные люди, — еще тягостней, еще больнее...

Тогда и наползают в душу поднимающиеся из-под земли сумерки:

Откуда только —
Как из-под земли! —
Взялись в жилье
И сумерки, и сырость...
Но вот однажды
Все переменилось,
За мной пришли,
Куда-то повезли.

12 июля Николая вместе с Борисом увезли в Красковский детдом в восемнадцати километрах от Вологды. Через несколько дней Николай сбежал из детдома, но его возвратили назад, в сиротскую жизнь...

В Краскове Николаю Рубцову предстояло пережить еще одну трагедию.

20 октября 1943 года вместе с группой детей, вышедших из дошкольного возраста, его отправляют в Никольский детский дом под Тотьмой. Младший брат остался в Краскове. Рвалась последняя ниточка, связывающая Николая с семьей, с родными...

Я смутно помню
Позднюю реку,
Огни на ней,
И скрип и плеск парома,
И крик «Скорей!»,
Потом раскаты грома
И дождь... Потом
Детдом на берегу.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Детдам на берегу

Тотьма... Устье Толшмы...

Древняя, овеянная легендами русская земля...

Здесь творил чудеса святой Андрей Тотемский.

Летописи рассказывают, что, босой, он стоял возле храма в снегу и молился. И увидели его «сибирские страны варварского народа людие», и их старейшина Ажбакей, страдающий глазной болезнью, обратился к блаженному с мольбой о помощи. Андрей испугался и убежал, но Ажбакей не растерялся. Пал на колени и водой, что, натаявшая, стояла в следе святого, умыл лицо. И тут же прозрел.

Возможно, Николай Рубцов и слышал это предание от матери... Возможно, это оттуда, из глубины детской памяти, воскрешающие образы древнего предания стихи:

Я шел, свои ноги калеча,
Глаза свои мучая тьмой...
— Куда ты?
— В деревню Предтеча.
— Откуда?
— Из Тотьмы самой...

Впрочем, это неважно... Сама здешняя земля настраивает людей на один и тот же лад, независимо от того, сколько столетий разделяют умеющих вслушиваться в ее голос сограждан.

1

Сюда, в устье Толшмы, и привезли в 1943 году семилетнего Николая Рубцова...

Лошадь за детьми не прислали, и двадцать пять километров по разбитой дороге под злым осенним дождем малыши шли пешком. Когда добрались до детдома, там уже спали.

«Вдруг голоса откуда ни возьмись! Топот за окнами и хлопанье дверей... Антонина Алексеевна Алексеевская, воспитатель младшей группы, с мокрыми волосами и с крапинками дождя на плечах проталкивает вперед присмиревших гостей.

— Ребята, это ваши новые друзья. Они пропали от пристани пешком. Двадцать пять километров. Прямо с парома, без передышки...

Алексеевская держала в руках список. Вычитывала фамилии.

— Коля Рубцов! Ложись на эту кровать. Мартюков, подвинься.

Без единого слова, но со светом в глазах шел черноглазый мальчишка...»

Эти воспоминания сотрудника великоустюжской газеты «Советская мысль» Анатолия Мартюкова интересны еще и тем, что дают первый из известных нам портретов будущего поэта.

Конечно, можно усомниться, откуда — из октябряской ночи сорок третьего года или из рубцовских стихов? — «свет в глазах»...¹

Но есть в воспоминаниях Мартюкова и то, что невозможно придумать, — тот семилетний Рубцов, все еще по-детски доверчивый, надеющийся на ласку, на привет и вместе с тем уже настороженный, готовый к любой неожиданности.

¹ «Стихия света, — писал В.В. Кожинов, — создает внутреннюю, глубинную музыкальность рубцовской лирики».

— А тебя зовут Толей, — тихо утвердил он.

Не сказал, не усмехнулся, а именно, как бы даже безразлично, «утвердил».

В одной этой фразе — весь опыт годичного пребывания в детдоме. Рубцов еще ничего не знает о своем соседе по койке, но понимает, что надо с первых же слов заинтересовать будущего товарища, «утвердить» себя.

— А как ты узнал? — спрашивает Мартюков.

Но — снова сказался опыт детдома! — даже искуса заинтриговать будущего товарища не возникает в Рубцове.

— На дощечке написано...

Диалог очень точный и напряженный. Так может говорить человек, уже хорошо знакомый с невеселой детдомовской «наукой выживания». А сколько этой науки еще было впереди?

Как вспоминает Антонина Михайловна Жданова, воспитательница младшей группы, в которую попал Рубцов, жили тогда в детдоме очень трудно. В спальнях было холодно. Не хватало постельного белья. Спали на койках по двое. Рубцов — вместе с Анатолием Мартюковым.

Не было и обуви.

До 1946 года детдомовцы ходили в башмаках с деревянными подошвами, и весь дом был переполнен деревянным стуком, словно здесь размещалась столярная мастерская...

В обед воспитанникам полагалось пятьдесят граммов хлеба и тарелка бульона... Еды не хватало, и дети воровали турнепс — пекли его на кострах.

В детском доме было свое подсобное хозяйство. Была лошадь по кличке Охочая и у нее жеребенок Красавчик. За ними ухаживали Рубцов с братьями Горуновыми...

Работали все, в том числе и младшеклассники.

Особенно тяжело приходилось летом — заготавливали сено, поливали огород, собирали грибы, ягоды, лекарственные травы, ходили в лес за сучьями для кухни. Сучья заготавливали на всю зиму. К осени они горами возвышались возле здания детского дома.

Зимой работы становилось меньше, но зато и тоскливее было. По ночам в лесу, возле деревни, выли волки... В коридоре, возле двери, стояла большая бочка с кислой капустой. Запах ее растекался по всему дому...

Дети со всем смирились...

Они ни на что, как вспоминают воспитательницы, не жаловались...

2

Когда читаешь воспоминания о Рубцове, кажется, что стихи самого поэта звучат как бы в ответ на эти воспоминания, спорят, не соглашаются с ними.

Вот, например, Евгения Буняк пишет:

«Годы были трудные, голодные, поэтому мало помнится веселого, радостного, хотя взрослые, как только могли, старались скрасить наше сиротство. Особенно запомнились дни рождений, которые отмечали раз в месяц.

Мы с Колей (Рубцовым. — Н.К.) родились оба в январе, поэтому всегда сидели за столом в этот день рядом, нас все поздравляли, а в конце угождали конфетами, горошинками драже. Как на чудо, смотрели мы на эти цветные шарики».

А вот — воспоминания самого Рубцова:

Вот говорят,
Что скуден был паек,
Что были ночи
С холодом, с тоскою, —

Я лучше помню
Ивы над рекою
И запоздалый
В поле огонек.

До слез теперь
Любимые места!
И там, в глухи,
Под крышею детдома,
Для нас звучало
Как-то незнакомо,
Нас оскорбляло
Слово «сирота».

Разница поразительная. Евгения Буняк вспоминает детдомовский нищенский быт, а для Рубцова и нищета, и голод существуют как бы на втором плане...

«Я лучше помню...» — говорит он, и это не поза.

Как видно из многочисленных воспоминаний, Николай Рубцов хотя и не замыкался в себе, но был достаточно сосредоточенным мальчиком, не избегавшим уединения.

И хотя он и не рассказывал о себе ничего, но в нем совершалась в эти годы серьезная внутренняя работа. Он существенно отличался от других детдомовцев. Ведь, кроме детдомовской нищеты и холода, Рубцову необходимо было свыкнуться с осознанием собственной неустроенности, своей несчастливой избранности.

Может быть, поэтому, едва коснувшись бытовых трудностей, он сразу начинал говорить в стихах о главном для себя...

К сожалению, стихи Рубцова очень часто толкуются в духе обычной поэтической риторики, и строки: «Нас оскорбляло слово «сирота» — выдаются порой за утверждение некоей особой, домашней атмосферы, что существовала в Николь-

ском детдоме, атмосферы, в которой дети якобы и не ощущали себя сиротами.

Подобное толкование лишено малейших оснований.

Стихотворение «Детство», как и большинство рубцовских стихотворений, предельно конкретно, и не нужно выискивать в нем переносный, не вложенный в его строки смысл.

В Никольском детдоме жили, конечно, и сироты, но больше здесь было эвакуированных детей. Некоторые, попав в детдом, сохранили даже вещи родителей. Вещи эти они очень берегли.

Пионервожатая Екатерина Ивановна Семенихина вспоминает, что дети постоянно просили ее пустить в кладовку, где хранились «взрослые» вещи. Они объясняли, что очень надо проверить, «как они висят».

— Это моей мамы пальто... — хвастали они, попав сюда.

И неважно, что у многих уже не было в живых мам — мамино пальто как бы служило гарантией, что мама жива и с ней не случится ничего плохого.

Из педагогических соображений считалось целесообразно скрывать от детей судьбу родителей (некоторые из них, как, например, мать Геты Меньшиковой — будущей жены поэта, — находились в лагерях), и вечерами, когда старшие воспитатели и учителя расходились по домам, дети просили пионервожатую:

— Посмотрите в личном-то деле, где у меня мама?

Трудно поверить, что Николай Рубцов не участвовал в этом захлестывающем детдом мечтании о родителях.

Он знал, что отец жив, и верил — а во что еще было верить? — вот закончится война, и отец заберет его, и в домашнем тепле позабудутся тоскливы и холодные детдомовские ночи. И как же было не оскорбляться слову «сирота», если оно отнимало у ребенка последнюю надежду?

«Большинство одноклассников Коли были эвакуированные дети, — пишет в своих воспоминаниях Н.Д. Василькова. — Из Белоруссии, с Украины... Из Ленинграда блокадного тоже были... И все-таки многие верили, в том числе и Коля Рубцов, что после войны родители их вернутся и обязательно возьмут их из детдома — этой верой только и жили, тянулись со дня на день...

И действительно, в сорок пятом — сорок шестом стали приезжать в Никольский детдом родители за детьми. Помню хорошо, как за первой из нас приехал отец — за Надей Новиковой из Ленинграда. Эта девочка была привезена к нам из Красковского детдома вместе с Колей Рубцовым...

Для нас приезд отца за Надей был большим праздником, потому что каждый поверил, что и за ним могут приехать. И жизнь наша с тех пор озарилась тревожным светом надежд, ожиданий...

Коля Рубцов тоже ждал...»

Ждал... Николай Рубцов на исходе войны еще не знал, что отец давно уже демобилизовался после легкого ранения (в 1944 году Михаилу Андриановичу Рубцову исполнилось 45 лет) и устроился работать в отдел снабжения Северной железной дороги — на весьма хлебное по тем временам место...

Про сына, сданного в детдом, Михаил Андрианович так и не вспомнил. Да и зачем вспоминать,

если он снова женился на молодой и красивой женщине, если уже пошли новые дети...¹

3

В 1946 году Николай Рубцов закончил с похвальной грамотой третий класс и начал писать стихи.

Может быть, стихи и спасли его.

Таких обманутых детей, как Рубцов, в детдоме было немало. Каждый переживал свою трагедию по-своему, и далеко не все могли пережить обман...

«В Николе случилась беда. Утонул в Толшме детдомовец. Мы знали — это Вася Черемхин. В один из июльских дней, в «мертвый час», когда в спальнях царили сны, Вася вышел на улицу...

Он всплыл в омутном месте реки, под Поповым гумном. Там стояла высокая темная ель... вода была темной и неподвижной. Два дня поочередно дежурили старшие на берегу омута».

Рубцову удалось пережить горечь разочарования в своих надеждах, но и в его стихи плеснуло мертвой омутной водой:

¹ В последнее время начали появляться многочисленные публикации, авторы которых пытаются, как им кажется, защитить М.А. Рубцова, придумывают самые изощренные доводы, чтобы объяснить, почему он не только не забрал своего десятилетнего сына из детдома, хотя возможности сделать это — будучи снабженцем, Михаил Андрианович не бедствовал! — имелись, но даже не пожелал увидеть его.

Я не считаю возможным вступать в дискуссию с этими авторами, хотя бы потому, что у биографии, как литературного жанра, существуют свои законы, согласно которым никакие, даже самые добрые дела, если они и были совершены Михаилом Андриановичем, все равно не смогут оправдать его предательства по отношению к Николаю Рубцову. Во всяком случае, в пространстве биографии самого Николая Михайловича...

И так в тумане омутной воды
 Стояло тихо кладбище глухое,
 Таким все было смертным и святым,
 Что до конца не будет мне покоя...

Порою обида захлестывала Рубцова, и он сам не понимал, что делает...

«Меня одна воспитательница сильно любила... — вспоминал он. — Она потом уехала от нас. Так вот, когда она от нас уезжала, я как раз по кухне дежурил, посуду мыл. Она подошла ко мне, поцеловала в голову и обняла сзади. Я вывернулся от нее и убежал. Вот ведь дурак, даже «до свидания» не сказал...»

4

Впрочем, время было суровое, и горя тогда хватало на всех.

Чтобы понять, как же жили в те годы в тотемских деревнях, полистаем подшивку Тотемской районной газеты «Рабочий леса»...

8 февраля 1945 г.

«Нарсуд 1-го участка Тотемского района на днях заслушал дело Тугариновой Л. и Филимоновой Х. из деревни Юренино Верхне-Толшменского сельсовета, уклонившихся от мобилизации в лес, и приговорил их к году исправительно-трудовых работ с вычетом 25 процентов заработка с отбытием на лесозаготовках при тех лесопунктах, куда они были мобилизованы».

26 апреля 1945 г.

ЦЕННЫЙ ПОЧИН

«Чтобы быстрее справиться с весенними полевыми работами, колхозники сельхозартели «Красная нива», Никольского сельсовета, взяли на

себя обязательство провести боронование всех посевов озимых культур на коровах личного пользования».

31 мая 1945 г.

ЗАСЕВАЮТ МОПРОВСКИЕ УЧАСТКИ

«Горячий отклик среди колхозников Никольского сельсовета нашло обращение мопровцев леспромхоза об оказании помощи детям-сиротам.

Никольские колхозы засевают в фонд помощи воспитанникам детских домов 3 гектара и вызывают последовать их примеру все колхозы района».

7 июня 1945 г.

«Весенний сев в 1945 году колхозы Никольского сельсовета начали и провели более организованно, чем в прошлом...

Нельзя не отметить и большого трудового подъема в колхозной деревне. Люди работали не покладая рук. Многие перевыполнили нормы выработки. Так, пахарь колхоза «Объединение» Боря Каминский на паре лошадей вспахал 14,5 га... Четырнадцатилетний Павлин Микляев на паре бычков вспахал до 10 га...»

13 сентября 1945 г.

ЗОРКО БЕРЕГИТЕ КОЛХОЗНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

«... Жукова А.А. украла 3,5 кг колосьев в колхозе «1 Мая», за что осуждена на судом к одному году исправительно-трудовых работ».

А вот подшивка газеты за тысячу девятьсот сорок седьмой, страшный и голодный на Вологодчине год...

«... кандидатам в депутаты Верховного Совета РСФСР по Тотемскому избирательному округу № 225 выдвинули верного соратника товарища Сталина Лаврентия Павловича Берия и знатную стахановку Тафтинского лесопункта Клавдию Константиновну Лосеву».

27 февраля 1947 г.

«В этом году верхушки необходимо заготовлять не только в районах, где ощущается нехватка картофеля в связи с сильной засухой прошлого года, но и в районах, где его достаточно. Это даст возможность увеличить продовольственные ресурсы и весной сверх плана посадить картофель на большей площади».

Из беседы с академиком Т.Д. Лысенко.

6 марта 1947 г.

«Колхозники сельхозартели «Искра» собрали в семенной фонд колхоза 4 центнера зерна и 3 центнера картошки из своих личных запасов.

Колхозник П.П. Гущин сдал на колхозный склад 50 кг зерна, Е.И. Гущина, А.И. Опалихин, М.А. Мизанцев — по 32 кг каждый и т.д.».

15 мая 1947 г.

ПОЧИН ПАТРИОТА

«Замечательный пример честного, сознательного отношения к артельному хозяйству показывает 80-летний колхозник сельхозартели «Маяк» Евгений Павлович Верещагин.

Для того чтобы помочь колхозу быстрее привести сев, Евгений Павлович выехал на вспашку колхозного поля на своей личной корове. За первые пять дней работы он вспахал 2,12 гектара, за вторую пятидневку — 2,5 гектара...

Почин тов. Верещагина должны подхватить все колхозники района».

24 июля 1947 г.

В РАЙПРОКУРАТУРЕ

«Е.В. Овчинникова, работая пастухом в колхозе «Победа», систематически производила дойку коров и малок о использовала для своих надобностей. 29 июня она выдоила на пастыбе четырех коров, от которых получила 5 литров малока, и была задержана на месте преступления.

За кражу колхозного малока Овчинникова арестована и предается суду по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества».

Ю. Архипов, прокурор Тотемского р-на.

14 августа 1947 г.

«Для школ района нынче отпущено 135 250 штук тетрадей, 630 коробок перьев, 16 200 карандашей, 10 350 экземпляров учебников и т.д. — почти в три раза больше, чем в прошлом году. Плохо то, что учебники и ученические принадлежности многих школ лежат до сих пор в сельпо и не выкупаются».

4 сентября 1947 г.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Опалихина Л.Е. из колхоза «Искра», несмотря на предупреждение райуполминзага от 2 июля 1947 года о добровольной уплате недоимки мяса за 1945-46 гг. и первый квартал 1947 г. в количестве 105,8 кг в десятидневный срок, недоимки не погасила. 14 авг. 1947 г. Народный суд 1-го участка Тотемского района по иску райуполминзага

решил наложить на хозяйство Опалихиной Л.Е. штраф в сумме 1 058 руб. и за недоимку мяса взыскать его стоимость деньгами в сумме 2 116 руб.

Овчинникова Е.В., работая пастухом, занималась дойкой колхозных коров на пастбище. Народный суд 1-го участка Тотемского района 16 августа 1947 года приговорил Овчинникову Е.В. к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на 10 лет. Осужденная арестована».

Генриетта Михайловна Шамахова, будущая жена Николая Михайловича Рубцова, родилась в Николе... Когда ее мать, подобно героине газетной заметки, гражданке Е.В. Овчинниковой, посадили в тюрьму, девочку никуда не повезли, просто перевели в детский дом.

«В июне 1947 года, — вспоминала она, — я сама попала в этот детский дом. Нас было там в то время 105 человек. (Помню, вышивали номер на одежде.) Меня определили в младшую группу девочек, а было мне в то время десять лет. Коля Рубцов был в старшей группе. Помню его друзей: Витя, Миша, Володя Горуновы, Саша Пятунин».

5

Через двадцать лет, вспоминая детдомовские годы, Николай Рубцов напишет:

«Это было тревожное время. По вечерам деревенские парни распевали под гармошку прощальные частушки:

Скоро, скоро мы уедем
И уедем далеко,
Где советские снаряды
Роют землю глубоко!

А мы по утрам, замерзая в своих плохоньких одеждах, пробирались сквозь мороз и сугробы к

родной школе. Там нас встречала Нина Ильинична и заботилась о нас, как только могла...

Все мы тогда испытывали острый недостаток школьных принадлежностей. Даже чернил не было. Бумаги не было тоже. Нина Ильинична учила нас изготавливать чернила из сажи. А тетради для нас делала из своих книг. И мы с превеликим приложением выводили буквы по этим пожелтевшим страницам на уроках чистописания.

По вечерам зимой рано темнело, завывали в темноте сильные ветры. И Нина Ильинична часто провожала учеников из школы. Долго по вечерам горел в ее окне свет, горел озабоченно и трепетно, **как сама ее добрая душа**: И никто из нас знать не знал, что в жизни у нее случилось большое горе: погиб на фронте муж...»

Зарисовка для районной газеты «Ленинский путь» написана Рубцовым в 1964 году, почти одновременно со стихотворением «Русский огонек»... И случайно ли слова о доброй душе Нины Ильиничны почти без изменения вошли в стихотворение:

Спасибо, скромный русский огонек...

.....
За то, что, с доброй верою дружа,
Среди тревог великих и разбоя
Горишь, горишь, **как добрая душа**,
Горишь во мгле, и нет тебе покоя...

Более того, читаешь сейчас «Русский огонек», и кажется, что в нем сошлись судьбы колхозников, пахавших колхозные поля на своих коровах, сдававших в трудные годы собственное зерно в колхозные закрома... За три с половиной килограмма колосьев их отправляли в заключение на год, а за пять литров молока — на десять лет, но и этот «разбой» не в силах был загасить свет в их душах...

Но так писал, так думал, так чувствовал Рубцов в 1964 году, когда давным-давно закрыли детдом на берегу, когда взгляд поэта, многое повидавшего на своем веку, легко проникал в самые сокровенные тайны русского бытия... .

У десятилетнего Рубцова этого опыта и умудренности не было. Все жестокие науки человеческого общежития ему еще предстояло постигнуть.

«Целыми вечерами, — вспоминает Е.И. Семенухина, — сидели ребята в пионерской комнате и мечтали, греясь у растопленной печки. Мечтали о том, что будет время, когда все будут счастливы, не будет детдомов...»

6

Рубцов в то время был хрупким мальчиком «с черными бездонными глазами и очень располагающей к себе улыбкой». Он хорошо играл на гармошке, хорошо учился, выделялся какой-то особой непосредственностью и доверчивостью.

Между прочим, именно тогда состоялось его знакомство с будущей женой Гетой...

Генриетта Михайловна занималась в детдоме вместе с девочками акробатикой. Летом 1949 года в Тотьме состоялась олимпиада детских домов. Из Николы возили четырнадцать человек.

Ездили и Рубцов. Он играл на гармошке разные песни, сопровождал музыкой акробатические номера, которые Гета исполняла с Женей Буняк.

Учили в Никольской школе неважно.

Преподавателем русского языка и литературы, физкультуры и географии был один человек. Об особых знаниях тут говорить не приходилось...

Зато были книги.

Зато на стенах классов висели дореволюционные наглядные пособия...

Комплект таких картин, рассказывающих о промышленности русских городов, нам с сотрудницей Тотемского краеведческого музея удалось найти на чердаке старой Никольской школы. Пролежав десятки лет в опилках, они даже и не потускнели.

Мы протерли картины тряпкой, и снова заблестела прежняя, такая богатая и такая счастливая русская жизнь.

Нижний Новгород, Тверь, Самара...

Разумеется, в городских школах подобные наглядные пособия безжалостно изымались и уничтожались... В Николе их спасла бедность. Нечем было заменить старорежимные пособия, вот и оставались распахнутыми для детей окна в досоветскую, словно бы освещенную другим солнцем жизнь.

«Воскресенье... — вспоминает Анатолий Мартюков. — И мы отчасти свободные люди. Сочится влагой оранжево-глинистый высокий берег оврага, что в сторону деревни Камешкурье. Это у самого берега реки Толшмы под Николой.

Отчетливы и удивительно свежи золотые копеечки мать-мачехи. Они обозначились по всему берегу пригретого оврага. Густая синяя дымка вытекает из оврага и рдеет над рекой.

Мы — это Валя Колобков, Виля Северный, Коля Рубцов... стоим на речном мосту.

Большая страшная вода мечется под ногами.

Слева — село Никола с церковью из красного кирпича на возвышенности, справа от моста — дорога... Далекая, непонятная, по-апрельски живая, манящая»...

В детдоме все жили с повышенной — палец в рот не клади — активностью. Недаром здесь была сочинена частушка:

Мы детдомовски ребята,
Мы нигде не пропадем!
В синем море не утонем,
Бережочечком пройдем!

Но Рубцов все-таки не потерялся, сумел стать за-водилой и среди детдомовцев.

Клавдия Васильевна Игошева вспоминает, как дети ходили в поход за двадцать пять километров до деревни Черепанихи. Там переехали на пароме через Сухону, развели на берегу костер. На обратном пути ночевали в Манылове, в гумне...

Всем поход очень понравился, и Рубцов предложил повторить его. Он вызвался организовать игру «Спрятанное знамя», которое должна была искать вся школа.

Николай с ребятами разработали план, ориентиры, но, к сожалению, Клавдия Васильевна так и не сумела выяснить, можно ли играть в такую игру. Не сказали воспитательнице в РОНО ни да, ни нет.

Вот так и жили тогда в далекой, затерянной посреди вологодской глуши деревне Никола...

7

12 июня 1950 года Николай Рубцов получил свидетельство об окончании семи классов и в тот же день уехал в Ригу поступать в мореходное училище.

Откуда у мальчишки, выросшего посреди полей и лесов, возникла необъяснимая любовь к морю, которого он никогда не видел? И как тут не вспомнить, что и прославленные русские адмиралы тоже выросли в глубине континента...

Впрочем, с Рубцовым тут все понятно.

В конце сороковых годов, когда наконец-то начали вспоминать имена славных российских

мужей, выплыло из неразличимой тьмы «досемнадцатого» года имя Федора Кускова, основавшего столетие назад «Форт-Росс» в Калифорнии. О Кускове написали в районной газете, появился посвященный ему стенд и в Тотемском краеведческом музее...

Возможно, мореходные подвиги тотемских земляков и пробудили в юном поэте мечту о морских странствиях...

«Колю Рубцова, — пишет в своих воспоминаниях Н.Д. Василькова, — отправляли первым в Ригу... Выдали ему самодельный чемодан, который вместо замка закрывался гвоздиком. Мы, девочки, подарили Коле двенадцать носовых платков — и все обвязанные, вышитые нами».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мглистый берег юности моей

Удивительное дело...

Сколько лет отделяет от нас Николая Рубцова? И ведь не в бесписьменные века он жил, а в десятилетия, когда шелестом справок сопровождался, кажется, каждый шаг советского гражданина, но — вот нате же! — жалкие крохи сведений, что удается выудить из архивов, неспособны заполнить белые пятна в биографии. И порою возникает ощущение, будто Рубцов и не был никогда нашим современником, погруженным в стихию справок и анкет, а пришел к нам из другого времени...

Можно и далее продолжать эти мистические — о, как приятны они! — рассуждения, но, перелистывая фолианты бухгалтерских и регистрационных книг, понимаешь и другое...

Всевластный и всеобъемлющий учет регистрировал каждый шаг человека, но человек этот должен был вписаться в советский социум. А тот человек, который по каким-либо причинам не смог или не захотел этого сделать, оставался неучтенным. Его надежды и страдания не учитывались, да и не могли быть учтены, потому что советский гражданин и живой человек были — увы! — не всегда совпадающими друг с другом величинами.

1

В книге учета воспитанников Никольского дет-дома записано, что 12 июля 1950 года Николай Рубцов уехал в Ригу, уехал поступать в училище.

В мореходке документы у Рубцова не приняли — ему не исполнилось еще пятнадцати лет.

Так ясно видишь эту сцену...

Уставший, вымотавшийся в долгой дороге подросток входит в приемную комиссию, с облегчением ставит на пол самодельный, запирающийся на гвоздик фанерный чемодан — наконец-то его путь закончен, сейчас его определят на ночлег, поставят на довольствие! — вытаскивает из кармана документы.

Человек в военной форме задает ему вопрос:

— Сколько тебе лет?

— Четырнадцать... — отвечает Рубцов и удивленно смотрит, как, нераскрытые, возвращаются назад документы.

Рубцов не может понять, что в приеме отказано решительно и бесповоротно, он пытается объяснить, что приехал издалека, что дорога у него заняла три дня, что здесь, в Риге, никого не знает, но его уже не слушают, о нем уже забыли...

И тогда Рубцов поднимает фанерный чемоданчик и выходит из училища, на улицу чужого, незнакомого города, где он не знает никого и его не знает никто...

Годы спустя Рубцов напишет «Фиалки». Это стихотворение обычно датируется 1962 годом, годом выхода самодельной книжки Николая Рубцова «Волны и скалы».

Наверняка написано стихотворение было уже после демобилизации Рубцова с флота, но непосредственные жизненные впечатления, положен-

ные в его основу, несомненно, относятся к более раннему времени.

Судя по некоторым деталям, в «Фиалках» запечатлен приобретенный в Риге опыт первой попытки самостоятельного устройства в жизни, во взрослом мире:

Я в фуфаечке грязной
Шел по насыпи мола,
Вдруг тоскливо и страстно
Стала звать радиола:
— Купите фиалки!
Вот фиалки лесные!
Купите фиалки!
Они словно живые!
Как я рвался на море!
Бросил дом безрассудно
И в моряцкой конторе
Все просился на судно.
Умолял, караулил...
Но нетрезвые, с кренцем,
Моряки хохотнули
И назвали младенцем...

Напевная, как бы заволакивающая грустью мелодия стиха настраивает читателя на элегический лад, вызывает сопереживание.

Каждому — о, это вечное чудо поэзии! — слышится что-то свое, личное в простенькой мелодии, и поэтому диссонансом врывается в нее рвущийся крик, требующий уже не сопереживания, а сострадания:

Кроме моря и неба,
Кроме мокрого мола,
Надо хлеба мне, хлеба!
Замолчи, радиола...

Как это ни парадоксально, но точность датировки лирики Рубцова по конкретным деталям не идет ни в какое сравнение с датировкой событий в его анкетах...

Можно, например, сравнить автобиографию: «Отец ушел на фронт и погиб в том же 1941 году», где полная неправда (отец не погиб на войне) соседствует с неточностью (отца призвали не в сорок первом, а в сорок втором году), и разбираемое сейчас нами стихотворение «Фиалки»:

Вот хожу я, где ругань,
Где торговля по кругу,
Где толкают друг друга
И толкают друг другу,
Рвут за каждую гайку
Русский, немец, эстонец...
О!.. Купите фуфайку.
Я отдам за червонец...

Если вспомнить первую строку: «Я в фуфаечке грязной...» — и сопоставить ее с запрашиваемой за фуфайку ценой, легко сообразить, что имеется в виду дореформенный червонец, ставший после 1961 года рублем.

Разумеется, лирика — не самый подходящий материал для финансово-экономических изысканий, но смысл произведенной нами операции в том и состоит, чтобы пробиться к реальному, четырнадцатилетнему детдомовцу, к тому голодному мальчишке, который пытается продать на рижском рынке единственное свое достояние — грязную детдомовскую фуфайку. Едва ли в цене на том рынке были вышитые и обвязанные одноклассницами носовые платки...

2

Для четырнадцатилетнего Рубцова рижская неудача была тяжела еще и потому, что все эти годы ему внушали, в какой замечательной стране он родился.

— Конечно, — говорили учителя, — сейчас трудно, но это только сейчас. И только здесь, в глухой вологодской деревне. А вообще жить хорошо, и главное — все дороги открыты перед советскими юношами и девушками...

Нет никакого сомнения, что в этом смысле Рубцов, как и все остальные детдомовцы, был инфантильней, нежели его сверстники, выросшие в семьях...

И в Риге произошло не только крушение мечты...

В Риге вдребезги разлетелся внушенный воспитателями и педагогами миф о дорогах, которые открыты молодым.

Никому не нужный подросток оказался выброшенным в равнодушную толчею чужого города.

Смутные и невнятные, сохранились воспоминания, что якобы на обратном пути из Риги Николай Рубцов останавливался в Ленинграде и пытался поступить в художественное училище...

Но и тут ничего не получилось.

Пришлось возвращаться в Николу.

Через несколько дней после возвращения Николая вызвал директор детдома Брагин.

— Не приняли в мореходку? — спросил он.

— Нет...

— Ну, что поделаешь, Рубцов. Иди тогда в наш Тотемский лесотехнический техникум.

Как записано в книге учета воспитанников, 13 августа Николай Рубцов уехал учиться в город, в котором, тридцать пять лет спустя, ему поставят памятник.

Ну а урок, преподанный в Риге, забылся не сразу.

Словно бы подводя итоги, Рубцов напишет, анализируя образ Катерины из «Грозы» А. Островского:

«... к несчастью, человек может быть «поэтически» настроен до тех пор, пока жестокие удары судьбы не развеют нелепых представлений о жизни как об источнике единственно счастья и радостей».

Пятнадцатилетнему человеку свойственно абсолютизировать собственный жизненный опыт, свои весьма туманные представления о реальной жизни, и не случайно максималистски-мрачный тезис: «Жизнь — это суровая проза, вечная борьба» — дополняется достаточно оптимистическими размышлениями о возможности «добыть себе счастье, если у него (человека. — Н.К.) для этого достаточно духа и воли...»

Добыть себе счастье Рубцову, конечно же, хотелось не меньше, чем героине пьесы А. Островского, хотя и тогда, в техникуме, да и потом, многие годы спустя, Рубцов не очень-то ясно представлял себе, что это такое — счастье...

3

В стихотворении «Подорожники», вспоминая Тотьму, Николай Рубцов скажет:

Топ да топ от кустика до кустика —
Неплохая в жизни полоса.
Пролегла дороженька до Устюга
Через город Тотьму и леса.

«Неплохая в жизни полоса» растянулась почти на два года.

Два года жизни в прекрасном русском городе...

Как и на Великий Устюг, на Тотьму у отцов большевистской культуры не хватило дефицитного динамика, и город сохранил свою былую красоту.

Правда, некий Монашонок, вдохновленный призывами разрушить старый мир, походив с красным знаменем по округе, начал было разби-

рать колокольню в бывшем Спасо-Суморинском монастыре, но — есть, есть Божий суд! — сверзился вниз, сломал три ребра и отбил печенку.

Более на архитектуру старинного монастыря не покушались...

Настоятельский корпус, братские кельи, монастырскую гостиницу передали техникуму, готовившему мастеров лесовозных дорог.

Здесь, в золотом листопаде монастырских берез, и увидел впервые Сергей Багров «русоволосого, с очень живым, загорелым лицом, улыбающегося подростка, которому все кричали:

— Давай, Николай! Давай!

И подросток, подламывая локтями, рванул лежавшую на груди красномехую хромку и неожиданно резко запел:

Куда пошла, зелена рать?
Гремела рать, зелена рать.
Пошла я в лес, зелена рать.
Грибы ломать, зелена рать!

Это и был Николай Рубцов...

Подростки и есть подростки, и школу подросткового воспитания Николай Рубцов, выросший в детдоме, проходил легко.

Он вспоминал потом, как испытывали в техникуме на смелость...

Всей гурьбой шли в полуразрушенный собор, от которого остались только стены и внутренний карниз, прерванный проломом. Нужно было пройти по карниzu на головокружительной высоте и перепрыгнуть через пролом.

Коля прыгал.

Было жутковато, но почти не страшно...

В этом рубцовском прыжке на головокружительной высоте, над темной бездной погруженно-

го в мерзость запустения храма — очень много от предстоящей жизни, от Пути, который назначено пройти ему. В каком-то смысле этот прыжок — метафора всей его жизни и поэзии. И каждое его стихотворение повторение этого прыжка...

Лети, мой отчаянный парус!
Не знаю, насколько смогу,
Чтоб даже тяжелая старость
Меня не согнула в дугу!

Но выплынут, словно из дыма,
И станут родней ильней
Стрелой пролетевшие мимо
Картины отроческих дней...

Запомнил я снег и салазки,
Метельные взрывы снегов,
Запомнил скандальные пляски
Нарядных больших мужиков.

Запомнил суслоны пшеницы,
Запомнил, как чахла заря,
И грустные, грустные птицы
Кричали в конце сентября.

И сколько друзей настоящих,
А сколько там было чудес,
Лишь помнят сосновые чащи
Да темный еловый лес!..

Но тогда Рубцов был молод, и поэтому было не страшно...

Однако таким — отчаянным и бесшабашным — был Рубцов днем, в шумной ватаге сверстников.

А вечером? Ночью?

Тот, кто жил в сберегаемых советской властью монастырях, знает, какая тоска обрушивалась на человека в сумерках, запекающихся в черных про-валах стен, клубящихся под рухнувшими кровлями храмов...

Эта тоска хорошо была знакома и Николаю Михайловичу Рубцову...

И в последние детдомовские годы, и в техникуме Рубцов словно бы позабыл, что у него есть отец. Никто из его знакомых не запомнил, чтобы он пытался тогда восстановить связь с отцом, братом, сестрой, теткой...

Быть может, только однажды и попытался рассказать Николай «все накопившееся на душе за эти долгие годы бесконечного молчания».

Случилось это еще в детдоме, когда Рубцов писал сочинение на заданную тему «О родном уголке».

Оно сохранилось...

Поначалу это обычный пересказ экскурсоводческих баек, удручающий примитивностью мышления и абсолютным незнанием истории... Приведем лишь несколько строк из него:

«Многое изменилось благодаря Великой Октябрьской революции. Монастыри, бывший очагом насилия и грабежа, превратился в рассадник культуры и грамотности среди населения. В заново отстроенных аудиториях запушили первые студенты. Бывший тотемский собор превратился в городской кинотеатр, откуда беспрерывно доносится веселая музыка, наполняющая радостью сердца новой молодежи!»

Но где-то к середине сочинения Рубцов вдруг оставляет тон разбитного экскурсовода и начинает писать о своем детстве. Вначале, сбиваясь на уже заданный тон: «Иначе и нельзя! Ведь в их среде протекало мое беззаботное, счастливое, незабываемое детство...» — но с каждым словом все искренней и откровенней:

«Хорошо в зимнее время, распахнув полы пальто, мчаться с горы навстречу обжигающему лицо

ветру; хорошо в летнее время искупаться в прохладной воде, веселой при солнечном свете речки, хорошо бегать до безумия, играть, кувыркаться. А все-таки лучше всего проводить летние вечера в лесу у костра, пламя которого прорывает сгущающуюся темноту наступающего вечера, освещая черные неподвижные тени, падающие от деревьев, кажущиеся какими-то таинственными существами среди окружающей тишины и мрака...»

И чем дальше, тем несовместимее сочетание детских слов и оборотов: «играть... кувыркаться...» с точными, свидетельствующими о духовной зрелости и художническом видении мазками: «веселой при солнечном свете» речкой, «черными неподвижными тенями».

Еще удивительней, как безбоязненно открывается пятнадцатилетний подросток, описывая «темные тотемские ночи».

Как бы переходя на рассказ о друге детства, Рубцов пытается написать автопортрет:

«Обычно безудержно веселый, жизнерадостный, он становится порою непонятным для меня, сидит где-нибудь один, думает, думает и вдруг... на таких всегда веселых, полных жизнеутверждающей силы глазах показываются слезы!»¹

А дальше в сочинении, забывая, что рассказ ведется в третьем лице, как бы о друге, Рубцов прямо пишет о том тайном, что мучило его самого детдомовскими ночами.

¹ Этот «автопортрет» совпадает с тем, что рассказывает о Рубцове Л.С. Тугаринова: «А Коля Рубцов ласковый был. У него кличка такая была — любимчик. Но ему что-то безразлично это было. Часто задумчивый сидел». То же самое и в воспоминаниях А.И. Корюкиной: «В детском доме Колю любили все... Он был ласков сам и любил ласку, был легкораним и при малейшей обиде плакал...»

Страх в этом удивительном сочинении персонифицирован в медведе, превращающемся то в директора школы, — вспомните директора детдома Брагина, выбравшего Николаю Рубцову будущую профессию! — то в свирепого хищника...

«Может быть, все это покажется невероятным, но представьте себе, как часто такие истории и им подобные видел я во сне в те же темные тотемские ночи, засыпая под заунывную песню ветра, свистящего в трубе».

Пересказывая сновидение, Николай Рубцов, сам того не понимая, анализирует свои комплексы и пытается преодолеть их. Пускай во сне медведь «николько не испугался (хотя говорят, что медведь боится людей), а, наоборот, с каким-то диким ревом бросился навстречу...», и первым желанием было «бежать, бежать...», но все-таки страх удаётся преодолеть. Мальчик выхватывает «охотничий нож», который у него наяву отбирает директор школы и который так пригодился сейчас во сне, и «с криком, который по силе и ужасу не уступает реву самого медведя...» бросается навстречу опасности.

Медведь падает, сраженный ножом.

Впрочем, тут же Рубцов и закругляет повествование, выходя из области подсознательного в мир природы, в пейзаж, как это он часто делал потом в своих стихах:

«По-прежнему тихо, почти беззвучно шумели старые березы в лесу в безветренные дни, а вместе с порывами ветра громко плакали, почти стонали, как будто человеческою речью старались рассказать все накопившиеся на душе за эти долгие годы бесконечного молчания. По-прежнему с какой-то затаенной, еле заметной грустью без конца роптала одинокая осина, вероятно, жалуясь на свое

одиночество... По-прежнему спокойно и плавно уносились легкие волны Сухоны в безвозвратную даль...»

Сочинение «Мой родной уголок» интересно как достоверное, из первых рук, свидетельство драматической работы, происходившей в Рубцове-подростке.

Результат этой работы известен...

С юношеской беспощадностью и благородством Николай Рубцов принимает решение жить вопреки несправедливости судьбы. Жить, как бы не замечая несправедливости. Живой отец не вспоминает своего сына, и не надо. Значит, у него нет отца.

Нанимаясь кочегаром на тральщик, Николай напишет в автобиографии: «В 1940 году переехал вместе с семьей в Вологду, где нас и застала война. Отец ушел на фронт и погиб в том же 1941 году»¹.

Ну, а в Спасо-Суморинском монастыре, превращенном в «рассадник культуры и грамотности», Рубцов провел два года.

Внешне он вел себя точно так же, как и остальные сверстники. Ничем не отличался от них. Вернее, старался не отличаться.

Жили тогда голодно все, но детдомовец Николай Рубцов особенно тяжело... Сокурсникам запомнилось его выражение: «Дай на хамок». Так Рубцов просил откусить хлеба.

Ребята в техникуме учились простые и поддерживали Николая, чем могли, всегда делились тем, что имели... Но Рубцов переживал, что ему нечем

¹ Конечно, можно предположить, что Рубцов написал так, не зная наверняка, где его отец, но едва ли это объяснение удовлетворительно. Ведь и потом, в 1963 году, Рубцов повторит утверждение-приговор: «Родителей лишился в начале войны», хотя уже десять лет будет встречаться с отцом.

ответить им. Иногда он отказывался от еды, которую ребята приносили из дома, и убегал...

«В техникуме хорошо был развит спорт: лыжи, футбол, баскетбол, стрельба. Больше всего мы увлекались футболом, — вспоминал А. Викуловский. — Делились на команды, приглашали судей из преподавателей физкультуры или старшекурсников и шли играть на техникумовский стадион. Николай тоже играл с нами, но от недоедания и слабости иногда не мог отыграть весь матч. Он покидал поле, ложился под тополя или на скамейку, а после короткого отдыха снова включался в игру...»

4

С таким же упорством, как играя в футбол, пытался Рубцов не отстать от своих более благополучных сверстников и в других состязаниях.

«В те годы молодежь жила проще, — вспоминает Татьяна Решетова. — Работали с огоньком, но умели и веселиться от души. Принято было в Тотьме собираться на танцы в лесном техникуме у «короедов» (как мы их звали) или в педучилище у «буквоедов» (так они нас называли). Танцевали под духовой оркестр или под гармошку».

Глубокой осенью 1951 года Татьяна с подружкой пришла на танцы в лесотехникум. Народу в зале собралось много, танцевать было тесно, но девушки не замечали этого...

«На очередной танец нас пригласили двое ребят. Меня вел в вальсе улыбчивый паренек, темноволосый, небольшого роста, одет, как и большинство его ровесников, в комбинированную хлопчатобумажную куртку, черные брюки. Все было отглажено, сидело ладно. Красивое лицо с глубоко посаженными черными глазами — все это как-то

привлекало мое внимание. А главное — он все время что-то говорил, улыбался и хорошо танцевал».

Это и был Николай Рубцов.

В тот вечер он пошел «проводить» Татьяну.

Позже словом «проводить» стали называть совместные гуляния парочек, но тогда, в Тотьме, это действительно было только провожание.

Решетова шла со своей подругой впереди, а за ними ребята. Девчата оглядывались на них и ничего не говорили, только шептались между собою, обсуждая кавалеров.

На следующем вечере танцев Рубцов снова попытался ухаживать за девушкой, но что-то вдруг разладилось. Татьяна, как это часто бывает с молодыми девушками, перестала «замечать» Рубцова.

В отместку — приближался Новый год! — Рубцов прислал поздравительную открытку.

Вместо письма там были стихи...

«Я поняла, что это его стихи. Но такие обидные для меня, злые! Оценивая меня, он не жалел ядовитых эпитетов. Резкие очень стихи были. Мне показалось, что он несправедлив ко мне, и в гневе тут же я порвала открытку».

Этот юношеский роман будет иметь продолжение, и не только в событиях биографии Николая Рубцова, но и в его поэзии...

Поэтому и хочется обратить внимание на странную, проявившуюся уже тут невезучесть Рубцова с женщинами. Странную, потому что, судя по воспоминаниям Татьяны Решетовой, внешне Рубцов производил вполне благоприятное впечатление... И симпатичным был, а главное — «все время что-то говорил, улыбался и хорошо танцевал». Успех вроде бы был гарантирован, однако вместо этого — «настойчиво добивался внимания, но безуспешно...»

Татьяна Решетова и сама, годы спустя, вспоминая о давних встречах, не может понять, почему не ответила взаимностью на чувство симпатичного, умного, хорошо танцевавшего кавалера.

Так, может быть, то, о чем писал Рубцов в сочинении про медведя, та зияющая глубина — знобящей тревогой, неуютом! — проступала и наяву? И женщины ощущали это и инстинктивно отодвигались от Рубцова?

Наверное, так и было...

— Возле тебя всегда такое беспокойство охватывает... — много лет спустя скажет Рубцову знакомая поэтесса. — Прямо место не нахожу себе...

Мы увидим дальше, что свой первый опыт формирования романов Рубцов — увы! — будет повторять снова и снова. И снова вначале будет встречать заинтересованность, а дальше пойдут безуспешные попытки добиться большего внимания, пока не произойдет срыв. И обязательно появятся стихи, перечеркивающие всякие отношения уже навсегда... Своего рода алгоритм поведения, как бы и не зависящий от самого Николая Михайловича.

Но тогда, в Тотьме, Рубцов еще не знал этого.

Едва ли он придавал большое значение неудавшемуся роману. Он просто ждал. Ждал, когда станет взрослым человеком.

У Рубцова никого не было, и зимой, на каникулы, он ездил в Николу...

Летом, после первого курса, ехать стало некуда — 22 июля 1951 года Никольский детдом закрыли...

А через полгода Рубцову исполнилось шестнадцать, и, получив паспорт, он уехал в Архангельск, позабыв в общежитии техникума затрепанную тетрадку со своими стихами.

Некоторые биографы считают, что Рубцова влекла романтика. Может быть.

А может, все было гораздо проще.

«Те трудности, — считает А. Викуловский, — которые легли на четырнадцатилетнего мальчишку при отсутствии какой-либо поддержки от родных, стали основной причиной того, что Рубцов бросил техникум и поехал искать счастья по России...»

Как бы то ни было, но все произошло так, как и представлял Рубцов...

«Последний, отвальный гудок дает пароход «Чернышевский», отходя от пристани, и быстро проходит рекой, мимо маленьких деревянных старинных домиков, скрывающихся в зелени недавно распустившихся листьев берез, лип, сосен и елей, скрадывающей их заметную кособокость и уже подряхлевший за долгие годы существования вид, мимо громадных церквей, верхушки которых еще далеко будут видны, возвышаясь над городом».

Только теперь была не весна, а осень.

Дул холодный ветер, густая темнота висела над рекой, как в стихах, которые еще предстоит написать Рубцову:

Была сурова пристань в поздний час,
Искрясь, во тьме горели папиросы,
И трап стонал, и хмурые матросы
Устало потопаливали нас.
И вдруг такой повеяло с полей
Тоской любви! Тоской свиданий кратких!
Я уплывал... все дальше... без оглядки
На мглистый берег юности своей.

5

Хотя в Архангельскую мореходную школу Рубцова снова не приняли, встреча с морем, о котором так мечтал он и в детдоме на берегу Толшмы, и в полуразрушенном, превращенном в лесотех-

никум старинном монастыре, на этот раз все-таки состоялась...

Забрызгана крупно
и рубка, и рында,
Но час отправления дан!
И тральщик тралфлота
треста «Севрыба»
Пошел промышлять в океан...

В этих рубленых стихах, которые будут написаны десять лет спустя, энергии и пафоса больше, чем личного духовного и житейского опыта, и не случайно, как только романтический пейзаж застеляется людьми, стихотворение проваливается, строчки разбухают случайными, поддерживающимися лишь ритмом, а не внутренней логикой словами.

Личностное, лирическое задавлено в этих стихах Рубцова мощной романтической антitezой: слабый, но бесстрашный человек и безграничное, суровое море, которое все-таки покоряется отважным морякам:

А волны,
как мускулы,
взмыленно,
ряно,
Буграми в суровых тонах
Ходили по черной груди океана,
И чайки плескались в волнах...

Несовпадение образа лирического героя «морских» стихотворений с самим Рубцовым поразительно.

И оно многое позволяет понять в рубцовском характере.

Так беспощадно-жестоко выстраивается драматургия жизни, что говорить о самом себе Рубцов долго не решался — не хватало сил...

Как вспоминает капитан РТ-20 «Архангельск» А.П. Шильников, Рубцов был самым низкорослым в команде. Когда боцман Николай Голубин выдал ему робу — а советская швейная промышленность, как известно, шила одежду в основном на богатырей! — Рубцов буквально утонул в ней.

Хорошо, что жена механика РТ-20 пожалела Николая и ушила казенную робу, чтобы он мог носить ее...

Даже эти бытовые подробности начала морской одиссеи Николая Рубцова, мягко говоря, не вполне соответствуют облику героя морского цикла — «юного сына морских факторий», который хочет, «чтобы вечно штурм звучал»...

И здесь уместно напомнить, что физическое развитие многих русских детей, выросших в годы войны, было из-за недостатка питания настолько замедленным, что даже наше государство, которое всегда думает о живых людях в последнюю очередь, «продлило» их детство и отрочество.

В школу тогда брали с восьми лет, позднее призывали и в армию.

Сравним две даты...

12 сентября 1952 года Николай Рубцов пишет заявление на имя начальника тралфлота И.Г. Каркавцева: «Прошу Вас устроить меня на работу на тральщик в качестве угольщика».

А 23 июля 1953 года, в самый разгар навигации, Рубцов увольняется с тральщика...

В месяцы, заключенные между этими датами, вместилось и оформление на работу, и получение формы, которую надобно было ушивать, и наступившая зима... Получается, что в плаваниях Рубцов провел совсем немного времени.

Но удивляться здесь нужно не тому, что всего несколько месяцев продержался Николай Рубцов в должности «угольщика», а тому, что — вспомните его голодные полуобмороки во время игры в футбол на техникумовском стадионе! — почти год сумел выдержать на непосильной для него работе.

Вспоминая через десять лет о тральщике, Николай Рубцов напишет:

Никем по свету не гонимый,
Я в этот порт явился сам
В своей любви необъяснимой
К полночным северным судам.

Стихотворение написано с бесшабашной, характерной для Рубцова начала шестидесятых удастью. И тем не менее из морского цикла оно явно выпадает. Не тематически, а интонационно...

Кажется, впервые начинает явственно звучать здесь столь характерная для позднего Рубцова грустная самоирония:

Оставив женщин и ночлег;
иду походкой гражданина
и ртом ловлю роскошный снег. —

позволяющая, если не заговорить о главном в себе, то хотя бы приблизиться к главному...

И когда вдумываешься в слова: «Никем по свету не гонимый», понимаешь, что это не просто красивый, романтический штамп, а беспощадная истина рубцовской жизни.

Никто не гнал Рубцова, потому что неоткуда было гнать его. В том и состояла трагедия и горечь его жизни, что в огромной стране он умудрился прожить почти всю жизнь, не имея нигде собственного угла.

Поэтому «необъяснимая любовь к полночным северным судам» на самом деле понятна и объяс-

нима. Она из тех привязанностей, что человек сам придумывает для себя. Вместо «полночных судов» могло оказаться что угодно, лишь бы при этом почувствовал себя Рубцов полноправным человеком, смог пройти независимой «походкой гражданина»...

И все-таки, хотя вскоре и перевели Николая Рубцова из кочегаров в повара, а по совместительству в уборщики, работа на тральщике оказалась непосильной для него.

«Заявление.

Прошу вашего разрешения на выдачу мне управлением тралфлота расчета ввиду поступления на учебу.

H. Рубцов».

— Что, — спросил Алексей Павлович Шильников, прочитав написанное на четверти тетрадного листка в косую линейку заявление. — Не нравится у нас, Коля?

— Нет... — смущаясь, ответил Рубцов. — Нравится. Только я учиться решил.

— Правильно... — сказал Шильников и, оглянув худенькую фигурку своего кочегара, подписал заявление.

Через три дня Николай уехал в Кировск. Решил поступить — вспомните: «Я везде попыхаюсь...» — в горный техникум.

6

Время для поездки Рубцов выбрал не самое удачное...

27 марта 1953 года, вскоре после похорон И.В. Сталина, был опубликован Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР об амнистии. По этому указу — амнистия 1953 года получила назва-

ние бериевской — из мест заключения освобождались все лица, осужденные на срок до пяти лет.

К осужденным по статье 58-10 амнистия не применялась. Не подпадали под нее и такие матерые «преступники», как Е.В. Овчинникова, которой за хищение пяти литров колхозного молока десять лет заключения предстояло отбыть полностью...

Тем не менее амнистировано было довольно много заключенных, и летом поток уголовников хлынул из лагерей. Обстановку, царящую на Кировской железной дороге, представить нетрудно. В этом смысле Рубцову везло всю жизнь — всегда он оказывался в переломные моменты истории России именно там, где напряженность почти достигала предела, и все видел сам, все сам перечувствовал.

На вокзале Рубцова обокрали, и добираться до Кировска ему пришлось на крыше вагона. В самом вагоне ехали амнистированные уголовники.

Вероятно, за год работы на тральщике Николаю Рубцову удалось скопить какие-то необходимые на первое время деньги. Но деньги тоже исчезли вместе с самодельным, «запирающимся на гвоздик» детдомовским чемоданом...

Возможно, это ограбление и определило — у маркшейдеров стипендии были выше! — выбор Николаем Рубцовым будущей специальности.

Так или иначе, но согласно приказу № 218 от 25 августа 1953 года по Кировскому горно-химическому техникуму в списке учащихся 1-го курса, «сдавших приемные экзамены и прошедших по конкурсу с зачислением на госстипендию по специальности маркшейдерское дело», мы находим и фамилию Николая Михайловича Рубцова.

Жил Рубцов поначалу в бараке на улице имени 30-летия комсомола, упирающейся в подножие

горы Айкуайвенчорр¹, а потом в общежитии на Хибиногорской.

Рядом с общежитием был православный храм, и храм этот действовал, и хотя никто из товарищей не запомнил, чтобы Николай Михайлович ходил туда, но это ни о чём не говорит. Если и ходил Рубцов в церковь, то, конечно, не афишировал этого.

Н.Н. Шантаренков, однокурсник Рубцова, вспоминает, что хотя и старался Николай выглядеть бывалым морским волком, хотя и ходил в матросских кleşах, тельняшке, бушлате и — непременно! — белом шарфике, но был стеснительным, довольно замкнутым и даже скрытным юношей.

Впрочем, другие однокурсники (Евгения Константиновна Савкина, Маргарита Анатольевна Салтан) запомнили Рубцова общительным и даже галантным кавалером.

Однажды на собрании, когда выбирали старосту группы, Рубцов предложил выбрать старостой студентку Филиппову.

— Но она же учится плохо! — возразили ему.

— Ну и что? — сказал Рубцов. — Зато танцует хорошо...

Разнобой в воспоминаниях объясняется отчасти материальным положением Рубцова. Из 280 рублей стипендии 210 рублей он платил за абонемент на трехразовое питание, 10 рублей высчитывали за общежитие, и на все остальные надобности — а сюда входила и одежда, которую все-таки надо было было покупать, и мыло — оставалось 60 рублей.

Так что вполне возможно, что порою Рубцову не на что было купить для своей подружки билет в кино или на танцы в «райсарай» — так назывался пристроенный к школе №1 Кировский районный

¹ Спящая красавица.

клуб, — и он, чтобы не признаваться в своей нищете, изображал из себя равнодушного ко всем юношеским утехам бывалого морского волка, и пока однокурсники веселились, гуляя с девушками, искусно вырезал из дерева разные фигурки...

Но одновременно с этим, чисто житейским, объяснением существует и другое... Мы говорили, что Рубцов жил в Кировске рядом с действующей церковью. И хотя и не сохранилось свидетельств, что он посещал храм, но, с другой стороны, есть записки Шантаренкова, рассказывающие о том, что именно в Кировске, как вспоминают его однокурсники, полюбилась Николаю Рубцову песня «Осennие журавли» на слова Алексея Жемчужникова...

Вот под небом чужим я, как гость нежеланный,
Вновь встречаю гостей, улетающих вдаль.
Сердце бьется сильней, и как хочется плакать,
В дорогие края провожаю вас я... —

часто пел Николай Рубцов.

Вот уж близко летят, и, все громче рыдая,
Словно скорбную весть мне они принесли...
Из какого же вы неприветного края
Прилетели сюда на ночлег, журавли?..

Тут промозглый туман, тут холодная слякоть,
Вид унылых людей и унылых равнин.
Ах, как больно душа! Ах, как хочется плакать!
Перестаньте рыдать надо мной, журавли.

Песня эта, достаточно популярная в те годы, отличалась необыкновенно проникновенной мелодией, и хотя многие слова по-эстрадному приблизительны и необязательны, но Рубцов отчетливо различал в них голоса своих журавлей, которым еще предстоит заполнить его стихи...

И пение песен, свидетельствующих об особо углубленной духовной жизни, и вырезание фигурок из дерева — это достойное бывалого морского волка занятие — Николай Рубцов достаточно успешно совмещал с учебой.

Лучше он успевал по русскому языку и истории, иностранному языку и геологии, хуже — по математике, физике, химии и черчению. Здесь Николай Рубцов не выбивался из троек.

В принципе, тройка тоже удовлетворительная оценка, но тенденция обозначилась довольно четкая. Маркшейдеру, чтобы определить направление, по которому должна вестись выработка, необходимо проводить пространственно-геометрические измерения как на поверхности, так и в недрах земли, и без знания иностранного языка и истории тут обойтись можно, а вот без математики и черчения — никак.

Тем не менее первый курс, как свидетельствуют учебные ведомости, будущему маркшейдеру удалось закончить.

Согласно приказу № 149 от 1 июля 1954 года, «в связи с окончанием учебных занятий» Николаю Рубцову был предоставлен отпуск на период летних каникул до 31 августа 1954 года с выплатой стипендии за июль и август месяцы.

Во время учебного года можно было заниматься поделками — это отвлекало от невеселых мыслей о своей бесприютности и безденежье... Но начались летние каникулы, общежитие опустело, надо было ехать куда-то и Рубцову...

И он поехал...

В Тотьму...

Здесь Рубцов попал на выпускной вечер в педучилище.

Надо сказать, что порою в юношеском романтизме Рубцова — хотя отец и бросил его, но наследственность-то осталась! — явно прорывалась отцовская сметка и хватка...

Увидев на вечере Татьяну Решетову, он не растерялся и объявил девушке, что специально приехал в Тотьму поздравить ее с окончанием техникума.

Это сразило Татьяну.

Теперь уже она не смогла отвергнуть ухаживания и после вечера пошла с Рубцовым гулять. Долго бродили по берегу Сухоны, дожидаясь ночного рейса парохода на Вологду.

У церковных берез,
почерневших от древности,
Мы прощались,
и пусть,
опьяняясь чинариком,
Кто-то в сумраке,
злой от обиды и ревности,
Все мешал нам тогда одиноким фонариком...

Это автобиографическое стихотворение...

Расставаясь, Таня обняла Николая и то ли от скорой разлуки, то ли от сознания, что и ей через несколько дней придется расстаться с беззаботной студенческой жизнью, заплакала.

И так и остался бы Рубцов и эта ночь, проведенная с ним под церковными березами на берегу реки, может быть, самым светлым воспоминанием Тани Решетовой, но Рубцов попытался развить свой успех.

В августе он неожиданно приехал в Космово, где жили Таня и ее подруга Нина Курочкина. Девушки как раз собирались в дорогу. После училища их распределили на работу — учить детей русскому языку в Азербайджане...

Решетовы встретили Рубцова хорошо. Танина

мама, узнав, что Рубцов сирота, постаралась окружить его заботой.

Николай расчувствовался... Однажды он признался Тане, что хотел бы называть ее мать мамой. Сказал, что ему не хочется отсюда уезжать.

Был август, поспела малина. С деревенскими девчатами Николай ходил по ягоды в лес. Татьяна Решетова вспоминает, что для Николая интереснее была дорога в лес, чем сама малина.

— Смотри, какая красота! — то и дело воскликнул он.

Часто сидел на берегу речки Шейбухты или уходил в поле, в рожь.

«Таким я его и запомнила... — вспоминает Татьяна Решетова. — Из-за чего-то мы поссорились с ним, как часто бывает с молодыми людьми в 18—19 лет. Компромиссов молодость не знала. Коля уехал из деревни...»

Тут первая любовь Николая Рубцова, конечно, немножко лукавит. Конечно же, о причинах ссоры она догадывалась. А если не догадывалась, то только потому, что не хотела догадываться, боялась догадываться, потому что снова тяжело колыхнулось возле нее омутное сиротство Рубцова и снова стало страшно молодой девушке...

Еще страшнее стало Тане, когда она снова увидала Рубцова.

Вместе с сокурсницами Таня ехала на работу в Азербайджан. Вначале пароходом до Вологды, а затем поездом через Москву. Каково же было ее удивление, когда в вагоне, едва только отъехали от Вологды, снова возник Рубцов с гармошкой.

«Кажется, до полуночи мы пели под гармошку наши любимые песни. Я с ним не разговаривала, побаивалась, что он поедет за мной до Баку. А ведь там и для нас с подругами были неизвестность и

страх. Коля нервничал, злился. А я еще не понимала, что обманываю себя, играя в любовь. Видимо, это было очередное увлечение. Николай почувствовал это и утром в Москве сказал мне, чтоб я не волновалась, едет он в Ташкент.

Так мы расстались в Москве с нашей юностью...»

Пароход загудел,
возвещая отплытие вдаль!
Вновь прощались с тобой
 у какой-то кирпичной оградины,
Не забыть, как матрос,
 увеличивший нашу печаль,
— Проходите! — сказал.
 — Проходите скорее, граждане!
Я прошел. И тотчас,
 вскользнувши затопленный плес,
Пароход зашумел,
 напрягаясь, захлопал колесами...
Сколько лет пронеслось!
 Сколько выуг отсвистело и гроз!
Как ты, милая, там, за березами?

7

Что делал Рубцов, пересев на ташкентский поезд, известно только из его стихов:

Жизнь меня по Северу носила
И по рынкам знайного Чор-Су.

И вроде бы ничего загадочного в названии рудника, где проходили практику многие студенты Кировского горно-химического техникума, нет, но для Рубцова поездка к товарищам по общаге — это не столько возможность прибиться на лето к своим, сколько возможность исчезнуть. В эти летние месяцы Рубцов как бы растворяется в бескрайней стране и как бы перестает быть материальным телом, нуждающимся в каких-то документах.

Странно, но точно такое — неведомо куда! — исчезновение мы обнаруживаем в эти годы и в юности Василия Шукшина...

И есть, есть в этих исчезновениях великих русских писателей какая-то мистика, как и в прыжках через пролом карниза над черной бездной заброшенного храма.

Ничего не известно из летних месяцев жизни Рубцова... Только одно, только то, что и в солнечно-знойных краях не сумел отогреться поэт.

В 1954 году он написал в Ташкенте:

Да! Умру я!
И что ж такого?
Хоть сейчас из нагана
в лоб!

Может быть,
Гробовщик толковый
Смастерит мне хороший
гроб.

А на что мне
Хороший гроб-то?
Зарывайте меня хоть
как!

Жалкий след мой
Будет затоптан
Башмаками других
бродяг.

И останется все,
Как было
На Земле,
Не для всех родной...
Будет так же
Светить Светило
На заплеванный шар
земной!

Впервые в этом стихотворении обращается Рубцов к теме смерти, ставшей в дальнейшем одной из главных в его творчестве...

С годами придет в стихи всепрощающая мудрость, философская глубина, но отчаянная невозможность примириться, свыкнуться с мыслью о смерти останется неизменной. И через шестнадцать лет, стоя уже на пороге гибели, Рубцов напишет:

Село стоит
На правом берегу,
А кладбище —
На левом берегу.
И самый грустный все же
И нелепый
Вот этот путь,
Венчающий борьбу
И все на свете, —
С правого
На левый,
Среди цветов
В обыденном гробу...

Трудно не заметить внутреннего созвучия этих двух стихотворений, между которыми, как между обложками книги, вместилось все богатство рубцовской лирики.

И еще одно...

В Ташкенте, пусть и неловко, но очень отчетливо впервые сформулирована Рубцовым важная и для его поэзии, и для жизненного пути мысль — осознание, что он находится на «Земле, не для всех родной».

Как мы уже говорили, Рубцов не сразу сумел заговорить о самом главном в себе, не сразу разглядел в своей судьбе отражение судьбы всей России, не сразу сумел осознать свое высокое предназначение поэта. И чудо, что далеко от родных краев, в Ташкенте, в минуту усталости или отчаяния удалось ему на мгновение заглянуть далеко вперед, заглянуть в себя будущего...

Со стихотворением «Да! Умру я!» перекликается

и другое, написанное в последний год жизни поэта стихотворение «Неизвестный».

Ситуация, в которой оказался его герой, в общем, характерна для поэзии Рубцова, почти такая же, как в «Русском огоньке» или стихотворении «На ночлеге». Но стихотворение «Неизвестный» существенно отличается властным, каким-то эгоцентрическим, все замыкающим на личности героя ритмом:

Он шел против снега во мраке,
Бездомный, голодный, больной.
Он после стучался в бараки
В какой-то деревне лесной.

И если герою стихотворения «На ночлеге» почти мгновенно удается найти контакт с хозяином избы:

Подмерзая, мерцают лужи...
«Что ж, — подумал, — зайду давай?»
Посмотрел, покурил, послушал
И ответил мне: — Ночевай! —

то «неизвестного» встречают иначе:

Его не пустили. Тупая
Какая-то бабка в упор
Сказала, к нему подступая:
— Бродяга. Наверное, вор...

На первый взгляд может показаться, что «неизвестному» просто не повезло и он напоролся на бездушных, черствых людей. Но это не так. Ведь хозяина «ночлега» немногое разнит от «тупой бабки»:

Есть у нас старики по селам,
Что утратили будто речь:
Ты с рассказом ему веселым —
Он без звука к себе на печь.

Другое дело, что «неизвестный» слишком со средоточен, зациклен на себе и не понимает, что

в неказистых с виду, угрюмых старухах и стариках живет и гордость, и благородство, — не понимает того, что открыто герою стихотворения «На ночлеге»:

Знаю, завтра разбудит только
Словом будничным, кратким столь,
Я спрошу его: — Надо сколько? —
Он ответит: — Не знаю, сколь!¹

Но ведь такие ответы, такое отношение хозяев ночлега предполагают, что их собеседник и сам погружен в стихию народной жизни, что он расслышит несказанное, не оскорбит беззащитной простоты... А когда вместо него появляется человек с психологией «сына морских факторий», когда ясно, что, кроме тупости и идиотизма, ничего не увидит он в этой почти обескровленной кремлевскими упрыгами жизни, этот человек рискует оказаться в пустыне своей гордыни, где и суждено завершиться избранному им пути:

Он шел. Но угрюмо и грозно
Белели снега впереди!
Он вышел на берег морозной,
Безжизненной, страшной реки!
Он вздрогнул, очнулся и снова
Забылся, качнулся вперед..
Он умер без крика, без слова,
Он знал, что в дороге умрет.

Смерть — бессмысленная и нелепая смерть бродяги...

Однако в романтической антитезе непонятой личности и тупой человеческой массы смерть эта приобретает почти трагедийное звучание. Тем более что согласно романтическому канону даже сама равнодушная природа не остается безучаст-

¹ Старуха в «Русском огоньке» отвечает еще более категорично: «Господь с тобой! Мы денег не берем».

ной к гибели гордого человека: «Он умер, снегами отпетый...»

И только люди:

... вели разговор
Все тот же, узнавши об этом:
— Бродяга. Наверное, вор.

Но странно, первое чувство неприятия человеческого равнодушия, запрограммированное самой ситуацией, быстро проходит, и возникает ощущение совсем другого рода.

Умер чужой человек...

Умер гордец, не знающий смирения, а значит, и сострадания, умер нелепо, глупо, и что же еще сказать, как иначе определить отношение к чужаку людям, которые живут в рамках христианской морали и сострадания, а не в романтических антитезах?

Отношение должно быть сформулировано однозначно, ибо необходимо сразу заявить о своем неприятии произошедшего. Вот и звучит слово: «Бродяга!», а следом — унижительное, не обвиняющее окончательно, но снимающее всякий романтический флер дополнение: «Наверное, вор».

Сказано жестко, но справедливо.

Сам по себе путь, как бы труден он ни был, не представляет нравственной ценности. Уважаем и почитаем только истинный Путь.

Зрелый Рубцов четко понимает разницу между бродягой и Путником. Отчасти понимал это, как мы видим по стихотворению «Да! Умру я!», и молодой Рубцов...

Во всяком случае, в Ташкенте он почувствовал, что превращается в не нужного никому и не несущего в себе ничего, кроме озлобления, бродягу. Он почувствовал, что выбранный им путь — не тот Путь, который назначено пройти ему.

И вот — поражает в Рубцове это мужество, эта внутренняя сила! — вскоре он круто изменит свою жизнь. Осознав гибельность избранного пути, переступив через обиду, смирив свою гордость, попытается он наладить отношения с родными.

Впрочем, произойдет это спустя полгода, когда ему придется уйти из техникума.

Второй курс, как видно из учебных ведомостей, оказался для Николая Рубцова менее удачным.

По-прежнему хорошие отметки у него по истории, по русскому и иностранному языку да еще по предмету «месторождения и минералогия». Зато по математике, геодезии и техническому черчению «сплошные двойки».

Согласно приказу № 24 от 29 января 1955 года Н.М. Рубцов был отчислен из техникума за неуспеваемость.

«Мы уговаривали его сходить пересдать, а он не захотел...» — рассказывает однокурсница Николая Рубцова Маргарита Анатольевна Салтан.

А другая однокурсница, Евгения Константиновна Савкина, вспоминает, что даже в 1981 году, когда бывшие выпускники встречались на 50-летие техникума, многие и тогда не догадывались, что поэт Николай Рубцов — это Коля Рубцов из их группы...

«Теперь-то я понимаю, — говорит Евгения Константиновна, — что Николай Рубцов по жизни был не на три года старше меня, а на порядок выше по развитию. Запомнился он в белом кашне с грустными, всегда грустными глазами».

В январе 1955 года и завершается хибинский период жизни Николая Рубцова.

Рубцов уехал из Кировска, не догадываясь, что одновременно с ним в этом городе жил другой его сверстник — будущий знаменитый писатель Венедикт Ерофеев.

Взрослые жизни их совершились как бы в различных измерениях, но тогда, в юности, сходства в их коротких жизнях было больше, чем отличий.

Как и Рубцов, Венедикт Ерофеев родился и вырос на Севере — на станции Чупа в Карелии.

Как и у Рубцова, отца Венедикта Ерофеева арестовали, но не выпустили, и на свободу он вышел много лет спустя.

Как и Рубцов, Венедикт Ерофеев воспитывался в детдоме...

Наверняка они — Венедикт Ерофеев учился в эти годы в старших классах школы № 1 — встречались друг с другом, хотя бы в том же «райсарае», который был пристроен к школе № 1, но не узнали друг друга.

Впрочем, Рубцов и вообще, кажется, так и не узнал о писателе Венедикте Ерофееве. Знаменитая поэма «Москва — Петушки» В. Ерофеева была написана «на кабельных работах в Шереметьеве осенью 69 года», а в печати появилась, когда Рубцов был уже убит...¹

И все-таки нечто большее, чем просто казус, чудится нам в этой «невстрече» в небольшом городке двух молодых людей, которым предстоит стать гордостью русской литературы.

Есть что-то очень символичное в этом *неузнавании* великими русскими писателями друг друга, что-то очень важное для понимания устройства всей русской жизни...

В марте 1955 года Николай Рубцов приехал в Вологду и разыскал здесь отца.

Отец подарил ему свое фото.

¹ Окончательный вариант поэмы «Москва — Петушки» создавался с 19 января по 6 марта 1970 года. Впервые опубликована поэма была в Израиле в 1973 году, затем в 1977 году в Париже и только в 1988 году в Москве.

На фотокарточке была надпись: «На долгую память дорогому сыночку Коле. Твой папка. 4/III — 55. М. Рубцов».

Как проходила первая встреча с отцом, Николай Рубцов никому не рассказывал.

Он вообще мало рассказывал о своей жизни.

И не из-за замкнутости или необщительности, а просто трудно было говорить об этом...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Любовь и море

Про встречу Рубцова с отцом мне рассказала много лет спустя в Невской Дубровке Валентина Алексеевна Рубцова — жена Альберта, старшего брата Николая Михайловича...

С Альбертом Валентина Алексеевна познакомилась в 1954 году в Сестрорецке, там они и расписались.

Валентина работала на заводе имени Семена Воскова, а Альберт — на телефонной станции. Несколько месяцев жили в комнате на почте, но пришел новый начальник, и комнату отобрали. Жить стало негде. Родители Валентины Алексеевны тоже не имели тогда своего угла, они еще только устраивались под Ленинградом, в поселке Приютино...

Все эти подробности важны, потому что они и определят дальнейшую географию юности Николая Рубцова.

В 1955 году в Сестрорецк приезжал Михаил Андрианович.

Посмотрел, как мыкается по чужим квартирам сын, пожалел молодых и пригласил переехать к себе, в Вологду.

Трудно сказать, чем руководствовался Михаил Андрианович, делая свое предложение. Незадолго



История случилась темная — пропал вагон с яблоками...

До суда над растратчиком, который «за партию горло был готов перегрызть», дело не дошло, но со снабженческой работой Михаилу Андриановичу пришлось расстаться теперь уже навсегда.

Поначалу Михаила Андриановича пристроили командовать транспортом на пивзаводе, потом заведовать пекарней, но и тут он залетел. 18 марта 1953 года ему объявили строгий партийный выговор за выпивку в рабочее время и низвергли в плотники.

Так что, возможно, теперь, когда на сытой, привольной жизни оказался поставлен крест, Михаил Андрианович вспомнил, как хорошо жили в прежние времена большими семьями, сообща огоревая свалившуюся беду.

И позабыл, позабыл Михаил Андрианович, что и время стало другим, да и сам он тоже изменился.

— У меня совсем ума не было, так поехали... — вздыхала, вспоминая об этой авантюре, Валентина Алексеевна.

Забегая вперед, скажем, что ничего хорошего из этого не получилось, и через пару месяцев Альберт Михайлович и Валентина Алексеевна ушли из отцовского дома на частную квартиру, а потом и вообще уехали из Вологды, прожив там чуть больше года...

Но еще до этого Валентина Алексеевна стала свидетелем встречи Николая Рубцова с отцом, с братом...

1

Зима 1955 года выдалась холодная.

Вот уже и март наступил, а морозы не ослабевали...

Только что спровадила Валентина Алексеевна цыган, выпрашивавших сахар, — сахара тогда совсем не стало в Вологде, — как снова заскрипел снег под окнами.

Валентина быстро выскочила на крылечко. У калитки стоял черненький, худенький парнишка в осеннем пальто, в ботинках.

— Чего? — спросила Валентина. — От своих отстал?

— Не отстал... — засмеялся парнишка. — Я вообще не цыган. Я брата разыскиваю. А вы... — Он постучал нога об ногу, пытаясь согреться. — Вы не жена Альберта будете?

— Жена! — сказала Валентина. — А ты откуда знаешь?

— Я в справке адрес сестры спрашивал, Галины... А мне сказали, что только Валентина Рубцова есть. И адрес этот дали. А здесь у меня отец живет.

— Михаил Андрианович?

— Ага...

— А чего же тогда в дом не заходишь?

— А можно?

— Заходи. А то я замерзла с тобой.

— А эта... Жена его... Она дома?

— Сейчас должна прийти, в магазин пошла.

— Я тогда посижу немного, погреюсь, — сказал Николай. — Ты, Валя, когда Альберт придет, покажи мне... Я ведь и не помню его...

Пока говорили, пока отогревался в домашнем тепле Николай, вернулась мачеха — высокая, светлоглазая женщина. Только взглянула на Николая и даже раздеваться не стала — вышла, хлопнув дверью.

— Куда это она?! — удивилась Валентина.

— Отца предупредить, чтобы не оставлял меня здесь.

— А ты откуда знаешь?

— Знаю... Ты мне подмигни, Валентина, когда Альберт придет... Я боюсь, что и не узнаю его...

«И вот пришел отец, — вспоминала Валентина Алексеевна. — И ведь не обнялись даже.

Сел на лавку, и сидят, разговаривают с Николаем, ну так, будто вчера расстались.

Альберт только к пяти часам пришел...

Николай-то попросил меня подмигнуть, а только я и сообразить ничего не успела, они уже обнимаются»...

— Николай!

— Олег!

На следующий день утром Михаил Андрианович подошел к Валентине Алексеевне и сказал:

— Ты скажи Николаю, чтобы не задерживался. Пускай уезжает.

— А почему я должна ему это говорить?!

— Да потому... — ответил Михаил Андрианович, — что отец я. Мне неудобно. А тебе-то чего? Скажи...

Когда проснулся Николай, Валентина Алексеевна передала ему просьбу отца.

Думала, что рассердится, но Николай спокойно выслушал все, а потом сказал:

— Ты, Валентина, не беспокойся. Я все знаю. Я брата нашел и уеду теперь, не буду стеснять никого. А на отца ты не обижайся. Он всю жизнь на легкой работе был, а теперь старый, больной, с ломом ходит... А я уеду. Я брата нашел, теперь не потеряю его.

«Вот ведь, — утирая платком слезы, рассказывала Валентина Алексеевна, — моих годов был, а уже такой умный. Не стал никого осуждать. Серьезно так рассудил. Я уже после подумала, какой он молодец, что не дал мне разругаться. Дала ему мамин адрес

в Приютино. Какие у меня копейки были, отдала, и он уехал. А мы потом с Альбертом тоже ушли на частную квартиру...»

О взаимоотношениях братьев Рубцовых разговор впереди, а пока вернемся в 1955 год, к Николаю Михайловичу Рубцову, разыскавшему наконец и отца, и брата...

Подросток с чуть оттопырившимися ушами, с густыми и широкими, но короткими бровями — таким Рубцов запечатлен на фотографии в паспорте — настороженно смотрел на незнакомого, возбужденно-веселого мужчину, который был его отцом.

Михаил Андрианович, должно быть, не очень-то уютно чувствовал себя под острым, напряженным взглядом сына.

В прежние времена он занимал разные должности, знал, как надо поставить себя, как говорить с начальством и подчиненными, но этих знаний не хватало для того, чтобы понять, как вести себя в разговоре с преданным им сыном.

К тому же то и дело заглядывала в комнату Женя.

Неприязненно смотрела на пасынка — взыхала тяжело.

И вот вроде бы и дом у Михаила Андриановича был свой, но Рубцову места в нем не нашлось. Светлоглазая мачеха не собиралась принимать пасынка.

— Я твоих всех обстирывать не собираюсь! Не для этого я выходила замуж за тебя... — предупредила она Михаила Андриановича, когда вела его домой со станции.

Она хотела добавить еще, что и не за разнорабочего выходила она замуж, а за начальника ОРСа,

но только взглянула на понурившегося мужа и поняла, что этого не надо говорить, что об этом Михаил Андрианович и думает сейчас.

— В общем так... — смягчилась она. — До утра пусть ночует у нас, но утром ты ему скажи: до свидания... А не захочет уходить, я ему сама скажу все, что про вас думаю...

Однако до скандала, как мы знаем из рассказа Валентины Алексеевны, дело не дошло.

Выручил отца сам Рубцов.

Он ушел из дома, в котором уже во второй раз не нашлось ему места. Николай, как свидетельствует Валентина Рубцова, все понимал.

Но понимать и прощать — разные вещи...

Простить отца Рубцов не мог, и поэтому в 1957 году в стихотворении «Березы» он снова «похоронит» его:

На войне отца убила пуля,
А у нас в деревне у оград
С ветром и с дождем шумел, как улей,
Вот такой же желтый листопад...

И тем не менее ташкентский порыв, смирение и великодушие, проявленные Рубцовым при встрече с отцом, не пропали даром.

Сработал принцип, который еще предстоит сформулировать ему: «За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся любовью».

Не сумев сблизиться с отцом, Николай подружился с Альбертом.

Тот и помог на первое время младшему брату хоть как-то устроиться на этой «не для всех родной» земле.

2

Если сосчитать, где и сколько жил Рубцов, получится, что в деревне в общей сложности поэт провел не более десяти лет, считая и детдомовские годы.

Три года прожиты в Ленинграде, два — в Москве, пять — в Вологде. Всего на большие города падает десять лет. Плюс пять лет службы на флоте и работы на тральщике...

Оставшиеся двенадцать лет — самый долгий срок — пришлись на небольшие города и поселки...

И в этом тоже судьба Рубцова перекликается с событиями, происходившими в стране.

На протяжении всех лет советской власти планомерно уничтожалась, сводилась на нет корневая, деревенская Россия.

Сталинские этапы раскулаченных мужиков и эшелоны спецпереселенцев в хрущевско-брежневские десятилетия сменились еще более мощными потоками мигрантов из деревень. Вчерашние хлеборобы пополняли в больших городах армии лимитчиков, заселяли разбухающие от великих строек городки и поселки.

В таком поселке под Ленинградом и обосновались родители Валентины. Сюда, в Приютино, перебралась с Альбертом и сама Валентина, когда выяснилось, что со свекром и его молодой супругой ей не ужиться.

Альберт устроился слесарем на артиллерийский полигон, а жить его определили в семейное общежитие, разместившееся в старинном барском доме...

Это была знаменитая усадьба Алексея Николаевича Оленина, первого директора Императорской

Публичной библиотеки, президента Академии художеств, секретаря Государственного совета...

Здесь гостили Александр Пушкин и Карл Брюллов, Михаил Глинка и Иван Мартос, Адам Мицкевич и Федор Толстой...

Но все это было давно... Давно пришел в запускение прекрасный английский парк, давно заросла камышами речка Лубья... Над усадьбой и над поселком в пятидесятые годы рас простер свои крылья испытательный артиллерийский полигон. Все строения оленинской усадьбы — господские дома, людская, кухня-прачечная — принадлежали ему.

Во флигеле, напротив бывшего барского дома, было еще одно общежитие: в большой — 96 квадратных метров — комнате, перегороженной шкафами и занавесками, разместились двенадцать человек. Двое — с семьями. Здесь, в этой комнате, поселили и Николая Рубцова. Он тоже устроился на полигон слесарем-сборщиком. Произошло это, если судить по «Личному листку по учету кадров СП СССР», в марте 1955 года...

Когда я первый раз приехал в Приютино, старого (1955 года) поселка уже не существовало. Давно были выселены прежние жители, но — странно! — самые близкие Николаю Рубцову все еще жили в Приютине...

Уточняя, где находится дом номер два, Николай Тамби, мой товарищ, с которым мы приехали в Приютино, обратился к парню, возившемуся во дворе другого, запущенного, но еще не взятого в капитальный ремонт флигеля.

— А вы подождите немного... — ответил тот. — Сейчас Николай приедет. Вроде он жил в том доме...

— Ему не Беляков фамилия? — спросил я.

— Беляков... — ответил парень и удивленно посмотрел на меня. — А вы откуда его знаете?!

О Николае Белякове я знал из книг Николая Рубцова, из его стихотворения, написанного в Приютине в 1957 году:

Не подберу сейчас такого слова,
Чтоб стало ясным все в один момент.
Но не забуду Кольку Белякова
И Колькин музыкальный инструмент...

— А-а... — сказал парень. — Вон там Колькина мать сидит. Поговорите, если желание имеется.

Действительно, в глубине двора грелась на солнце древняя старушка, а у ног ее, теребя сплюзшие чулки, крутился толстый, похожий на мячик щенок.

— Колюшка-то? Рубцов-то? — переспросила старушка, когда нам удалось докричаться до нее. — Как же, как же не помнить... А где он сейчас-то? Я уже давно его не встречала чего-то...

Мы не стали рассказывать, что — увы! — уже давно умер Николай Рубцов и его именем названа улица в Вологде... Бронзовый, сидит сейчас Николай Михайлович на берегу холодной реки...

Восьмидесятичетырехлетняя старушка уже неспособна была постигнуть такое. Она вообще лучше помнила, что было в 1955 году, чем то, что случилось вчера.

Она и нас, похоже, приняла за приятелей Рубцова.

— Дружил Рубцов с Колькой моим... — сказала она. — Такой паренек хороший...

Зато Николай Васильевич Беляков разговорился не сразу. Жизнь у него сложилась нелегко, да и не очень-то он готов был к разговору...

Хотя и слышал Николай Васильевич о Рубцове по радио, но настоящая слава поэта в конце восьмидесятых годов, похоже, еще не докатилась до Приютина.

Разговорился Николай Васильевич в парке, когда вспомнил вдруг — слышанное еще тогда, в пятьдесят пятом году — рубцовское четверостишие:

И дубы вековые над нами
Оживленно листвою трясли.
И со струн под твоими руками
Улетали на юг журавли...

— Ну, как жили? — рассказывал он. — Бродили, колобродили, по ночам не спали. Рубцов много рассказывал, стихи читал, вспоминал детство свое, какое оно у него было плохое — рано остался без родителей. У них было два брата: он и Олег...

— Альберт... — поправил я.

— Олег, по-моему... — сказал Беляков. — Он уже женат был, жил тут, в господском доме, у них там типа комнаты было... А Николай в нашем доме поселился, в общежитии. Я ему понравился, он мне понравился, в общем, подружились. Другие-то на Николая не обращали внимания, потому что он привязчивый был, все старался свои стихи прощать... А у людей свои заботы... Ну, а нашел меня, так мы с ним частенько в этом парке сидели, разговаривали...

Часто Рубцов читал Белякову свои новые стихи. Потом обязательно спрашивал: нравится?

— Нравится, — отвечал Беляков. — Нормально, конечно...

— Пойдем тогда, — говорил Рубцов. — Я еще тебе почитаю.

— Так и ходим всю ночь с ним... — рассказывал

эму свою читал. В ней все с самого малого детства, как он из детдома. Про себя и про брата. Они как раз вместе и росли там. Кормиться было трудно, так они убегали с братом. В общем, читал там о каждой корочке хлеба. Рассказывал эту поэму очень долго... А вообще нормальный парень был. Дружбу любил настоящую. Не любил, когда изменяют ему... Он верил в человека...

Этот бесхитростный рассказ Николая Васильевича Белякова я записал на магнитофон, и только дома, перенося на бумагу, услышал громкие, порою заглушающие нашу беседу голоса птиц.

Такие же птицы пели здесь, наверное, и Николаю Рубцову...

3

В Государственном архиве Вологодской области, в фонде Рубцова, хранятся фотографии Таи Смирновой — красивой девушки, которые Рубцов сберег в своих бесконечных странствиях.

История этого юношеского романа Рубцова обыкновенна, почти банальна...

— Рубцов веселый был, — рассказывала Таисия Александровна, ставшая в замужестве Голубевой. — Такой веселый, ой! Выйдешь, бывало, на крыльце, а он уже на гармошке играет. И на танцах играл. Тут парк такой хороший был, так народ к нам даже из города приезжал. Это сейчас он заросший. Но както у нас ничего серьезного и не было... Почему-то не нравился мне Рубцов... Девчонка была, чего понимала? Мы же не знали тогда, что он такой знаменитый станет. Ничего у нас с ним не было. В армию проводила, и все... А потом? Потом я встретилась с одним человеком...

Но это было потом, а перед уходом в армию Николай Рубцов подарил Тае две фотографии...

В «москвичке», с белым воротником, перепоясанный ремнем с неуклюжей, бросающейся в глаза пряжкой, девятнадцатилетний Рубцов крутит в руках травинку и смотрит прямо в объектив фотоаппарата.

Через несколько дней ему идти в армию. Но это не пугает его. Растерянности нет в его взгляде. Здесь, в Приютине, его будут ждать родные, друзья, любимая девушка...

На другой фотографии Рубцов все в той же куртке-москвичке с белым воротником, с густыми еще, зачесанными набок волосами лежит перед кустом в траве и чуть усмехается. На обороте его рукой написано:

«Мы с тобою не дружили,
Не встречались по весне,
Но того, что рядом жили,
Нам достаточно вполне!»

*Tae от Коли.
29/VIII – 55 г. Приютино»*

В ответ Таи на следующий день подарила Рубцову свою фотографию, ту самую, которую он сумел сохранить в своих странствиях по свету и которая хранится сейчас в ГАВО в рубцовском фонде. На ее обороте надпись:

«На долгую и вечную память Коле от Таи.
30/08 – 55 г.

Красоты Приютино здесь нет,
она не всем дается,
зато душа проста
и сердце просто бьется».

С этой фотографией и ушел Николай Рубцов в армию. Остальные его фотографии присланы уже с Северного флота.

На одной — снова стихи:

«Не стоит ни на грош
Сия открытка...
Все ж,
Как память
встреч случайных,
Забытых нами встреч,
На случай грусти тайной
Сумей ее сберечь.

*1/1 — 1956 г.
Тая от Коли».*

И не случайно, что на побывку в 1957 году Рубцов поехал в Приютино, как некогда ездил на каникулы в Николу...

Соловьи, соловьи заливались, а ты
Заливалась слезами в ту ночь;
Закатился закат — закричал паровоз,
Это он на меня закричал!..

.....

Да, я знаю, у многих проходит любовь,
Все проходит, проходит и жизнь,
Но не думал тогда и подумать не мог,
Что и наша любовь позади.

А когда, отслужив, воротился домой,
Безнадежно себя ощущил
Человеком, которого смыло за борт:
«Знаешь, Тайка встречалась с другим!»

Разумеется, в лирическом стихотворении свои законы отражения действительности. Поэт изменяет, деформирует на свой лад реальные события, как того требует драматургия стиха, но живая, не стихающая боль оживает в душе и, сминая напевно-лирический настрой, взрывается криком: «Знаешь, Тайка встречалась с другим!»

Кто знает, любила ли Тая Рубцова... Скорее всего, любила... И, изменив, боялась.

Этот страх Таисия Александровна запомнила навсегда:

«С армии-то когда пришел Рубцов, так он идет по дороге с чемоданом, а я убежала из дома — спряталась».

А может быть, все было, как в стихах Рубцова:

Закатился закат. Задремало село.
Ты пришла и сказала: «Прости».
Но простить я не мог, потому что всегда
Слишком сильно я верил тебе!

Ты сказала еще: — Посмотри на меня!
Посмотри — мол, и мне нелегко.
Я ответил, что лучше на звезды смотреть,
Надоело смотреть на тебя!

Соловьи, соловьи заливались, а ты
Все твердила, что любишь меня.
И, угрюмо смеясь, я не верил тебе.
Так у многих проходит любовь...

В трудный час, когда ветер полощет зарю
В темных струях нагретых озер,
Птички гнезда ишу, раздвигая ивняк,
Сам не знаю, зачем их ишу.

Это правда иль нет, соловьи, соловьи,
Это правда иль нет, тополя,
Что любовь не вернуть, как нельзя отыскать
Отвихрившийся след корабля?

Эти риторические, обращенные то к соловьям, то к тополям вопросы совсем не риторичны для Рубцова, который ощущает себя человеком, «которого смыло за борт».

Нетрудно заметить, что история приютинской любви Рубцова, по сути дела, во многих деталях повторяет рисунок юношеского романа с Татьяной Решетовой...

Увы... Детдомовское детство было тяжело еще и тем, что даже элементарного представления об азбуке человеческих отношений выходящему в самостоятельную жизнь воспитаннику не давало.

Для молодого Рубцова характерно суровое неприятие даже малейших компромиссов, полное отсутствие умения подлаживаться под характер другого человека. Разумеется, качества, может быть, и не самые плохие, но доставляющие обладателю их массу хлопот. Тем более такому ласковому и влюбчивому, каким был Рубцов.

Бушующая в душе любовь не способна смягчить его. Наоборот, Рубцов словно бы упивается своей горечью.

Стихотворение «Соловьи» написано в 1962 году, когда время все-таки смягчило боль разрыва, а в 1957 году свой гнев Рубцов выплеснул в есенинском дольнике. Над стихами стоит посвящение — «Т.С.» — Таисии Александровне, носившей в девичестве фамилию Смирнова.

Хочешь, стих сочиню сейчас?
Не жаль, что уйдешь в обиде...
Много видел бесстыжих глаз,
А вот таких не видел!
Душа у тебя — я знаю теперь —
Пуста и темна, как сени...
«Много в жизни смешных потерь», —
Верно сказал Есенин¹.

Не лучший, конечно, избрал путь Николай Рубцов, чтобы вернуть расположение возлюбленной...

4

Невеселым оказался отпуск матроса Рубцова в 1957 году...

Разрыв с Таей он переживал так тяжело еще, может быть, и потому, что все рушилось, ничего не оставалось от жизни, которую он сам для себя придумал:

¹ Стихотворение цитируется по книге В. Кожинова «Николай Рубцов», серия «Писатели Советской России». М., 1976. С. 47.

Когда-то я мечтал под темным дубом,
Что невеселым мыслям есть конец,
Что я не буду с девушками грубым
И пьяниствовать не стану, как отец.

Мечты, мечты... А в жизни все иначе.
Нельзя никак прожить без кабаков.
И если я спрошу: «Что это значит?» —
Мне даст ответ лишь Колька Беляков.

Но — увы — и с другом было не посоветоваться,
друг тянул свой срок в лагерях.

Да и брату, Альберту, который с каждым годом
все сильнее ощущал, что вся жизнь у него «в тумане»,
тоже было не до Николая.

Ты говорил, что покидаешь дом,
Что жизнь у тебя в тумане,
Словно о прошлом, играл потом
«Вальс цветов» на баяне...

«Словно о прошлом» нужно было научиться и Рубцову думать о Приютине, которое уже привык он считать родным. Еще одна местность могла стать его домом и не стала им, еще один вариант благополучной жизни был перечеркнут безжалостной судьбой.

Я люблю, когда шумят березы,
Когда листья падают с берез.
Слушаю — и набегают слезы
На глаза, отвыкшие от слез...

Альберт исполнил свое обещание. Перебрался в поселок Невская Дубровка...

А Николай Рубцов хотя и приезжал после пятьдесят седьмого года в Приютино, но только в гости.

Об этом и думал я, разговаривая с Таисией Александровной Голубевой.

— А больше, после того, вы его не видели?

— Нет... — вздыхая, ответила она. — Больше не приезжал сюда...

Не приезжал...

Зато сколько раз вспоминал о Приютине, сколько раз переносился душой в эти места, которые могли стать его домом. И разве не о старинном приютинском парке вспоминал Рубцов за три года до смерти, когда писал:

Песчаный путь
В еловый темный лес.
В зеленый пруд
Упавшие деревья.
И бирюза,
И огненные перья
Ночной грозою
Вымытых небес!

5

В рубцовском фонде в Государственном архиве Вологодской области хранится снимок: мельтешащие над морем чайки, а вдалеке — крохотное, как эти чайки, суденышко.

На обороте фотографии рукой Рубцова написано:

Море черного цвета,
Снег на горах.
Это начало лета
В наших местах!

г. Североморск.

В Североморске, визирщиком на эскадренном миноносце «Острый», и проходила флотская служба Николая Михайловича Рубцова...

Флотская служба была суровой, суровыми были и края, где приходилось служить, но — странно! — такое веселое лицо у Рубцова только на флотских фотографиях.

Об этом же и воспоминания людей, знаявших Николая Рубцова в те годы...

«Думаю, что время службы на флоте, — пишет Борис Романов, — было для него самым благополучным — в бытовом отношении — за всю-то его несладкую жизнь...»

Психологически объяснимо, почему именно в эти годы Рубцову удалось преодолеть комплекс «несчастливости».

На флоте он впервые оказался в равном положении со своими сверстниками. Годы детдома — там равенство было заведомо ущербным — не в счет... А здесь, на службе, хотя и имели товарищи Рубцова свой дом, любящих родителей, но это не создавало им никаких преимуществ по сравнению с Рубцовым. Конечно, они грустили, тосковали о близких, но грустить было не заказано и Рубцову. Более того, погружаясь мечтами в выдуманную жизнь, он грустил еще слаще:

Как живешь, моя добрая мать?
Что есть нового в нашем селенье?
 Мне сегодня приснился опять
 Дом пустой, сад с густою сиренью.

Ни в коей мере не идеализируя ранние стихотворные опыты Рубцова, все же надо сказать, что до армии он писал иначе.

Может быть, корявее, но честнее...

Самообман, опасный для любого человека, для такого поэта, как Рубцов, был опасен вдвое.

Конечно, Рубцов играл...

Хотя бы в стихах, хотя бы в словах пытался примирить на себя облик человека, у которого есть мать, семья... Но в том-то и беда, что в этой игре легко перескользнуть через запретную черту.

Даже родной язык начинает изменять Рубцову,

и нечто немецкое — «что есть нового?» — появляется в его стихотворных конструкциях.

Понятно, что так играть нельзя.

Игра эта опасна прежде всего для собственной души, и — случайно ли? — флотские стихи Рубцова поражают своей внутренней пустотой:

Улыбку смахнул
командир с лица:
Эсминец в атаку брошен.
Все наше искусство
и все сердца
В атаку брошены тоже.

Чужие слова, отработанные, ставшие штампами, мертвые схемы полностью вытесняют из стихов голос самого Рубцова, превращают стихи в графоманские опусы:

Я труду научился на флоте,
И теперь на любом берегу
Без большого размаха в работе
Я, наверное, жить не смогу...

Кощунственно говорить такое о Рубцове, но мы пытаемся проследить, насколько это возможно, подлинный Путь поэта.

А идти по этому Пути было трудно...

И — увы — часто сворачивал Рубцов на уводящие вбок кривые тропинки, и только чудом — вот оно, истинное Чудо! — удавалось ему вернуться назад.

Здесь, наверное, позволительно будет небольшое отступление.

У нас сложился своеобразный жанр воспоминаний-биографий, где в лучших традициях житийной литературы рисуется облик этакого ортодоксально-советского, благостно-русского человека.

Традиция, в принципе заслуживающая внимания, но такие фигуры, как Рубцов, невзирая на все

потуги его фанатов, в подобные схемы не вмещаются.

И прежде всего потому, что в биографии Рубцова при всем желании невозможно обнаружить благостного единения поэта с народом...

Напротив, отслеживая его контакты не с приятелями, не со знакомыми, а с народом вообще, обнаруживаешь, что всегда в такие минуты Рубцов чувствовал себя неуютно...

Но кто решил, будто народ врачует душу художника, утешает его?

Представление это тем более неверное, что понятие «вечный народ» (тот народ, который был, есть и будет) наши идеологи склонны порою загруживать.

Народом они называют лишь современников поэта.

А этот, *нынешний, сиюминутный* народ не бережет и не может сберечь художника. Современникам не хватает дистанции времени, чтобы по достоинству оценить его.

И надо сказать, что это «небрежение» необходимо и самому художнику, ведь не в приятственно-маниловском диалоге прозревает душа, а в столкновении, в жесткой и беспощадной ломке судьбы.

Разумеется, у девятнадцатилетнего Рубцова не было бесстрашия, необходимого для решительно-го выбора единственного Пути. Это мужество появится позднее, в 1964 году, а пока... Пока он просто стремится быть таким же, как все.

Но в армии как раз и требуют, чтобы ты был таким, как все.

Так что гармония получалась полная — внутренний настрой сливался с требованиями действительности... Поэтому-то, наверное, и чувствовал себя Рубцов все годы службы счастливым...

Рубцов отличался на флоте веселостью и общительностью.

Смело вступал в любой разговор о литературе, о поэзии... И замыкался, только когда начинали спрашивать его о семье, о родителях.

Однажды Рубцов спросил у Валентина Сафонова:

— У тебя они живы?

— Живы.

— Отец воевал?

Сафонов молча кивнул, испытывая, как он вспоминает, странное стеснение и не решаясь рассказать, что не только отец — вся семья у них, включая и его, и брата Эрика, прошла через войну начиная с самого первого дня. И пережили многое... И за колючей проволокой им довелось посидеть, и в партизанском отряде побывать...

— Ты счастливый: отец и мать есть — не пропадешь! — сказал Николай. — А я вот всю жизнь один. И всю жизнь боюсь затеряться. В детдоме боялся... И потом, когда бродяжил, менял адреса и работу. И в учебке тоже, когда выдернули из привычной одежки...

Зато самой службы Рубцов не боялся. Благодаря детдомовскому опыту к флотской жизни он был подготовлен лучше других.

Московский прозаик Евгений Чернов, человек весьма наблюдательный, запомнил драку в общежитии Литинститута, в которой участвовал и Николай Рубцов... Более всего поразило Чернова, как щедрый Рубцов «держал удар». То есть ни на мгновение не терялся от боли и по мере своих сил наносил удары более мускулистым противникам.

Что и говорить, «держать удары» жизнь научила Рубцова, и суровость флотской службы не пугала его...

Тем более что складывалась она вполне благополучно.

Адмирал Иван Матвеевич Капитанец, командовавший в 1958 году эсминцем «Острый», хорошо запомнил старшину 2-й статьи Рубцова.

«Среднего роста, худощавый, подтянутый, скромный и вежливый, готовый всегда выполнить приказ. Он был душою коллектива в кубрике, к нему тянулись моряки, он им читал стихи. Рубцов был очень собран и организован, флотскую службу любил, особенно дальние походы...

Он любил море».

Таким же запомнил его и Валентин Сафонов.

«Рука небольшая, аккуратная, и пальцы сухие, тонкие, а рукопожатие сильное. Роста морячок невыдающегося, но скроен крепко, влито лежат на плечах погонычики с литерами «СФ». Пышные усы, лоб с изрядными залысинами, бережная — волос к волосу — прически. И внимательный, цепкий взгляд».

Очень скоро, как отличник боевой и политической подготовки, старшина Рубцов получил право посещать занятия литературного объединения при газете «На страже Заполярья».

6

Чему учили на занятиях литобъединения, видно из заметки, напечатанной в газете:

«У ФЛОТСКИХ ПОЭТОВ И ПРОЗАИКОВ

В минувшее воскресенье члены литературного объединения при газете «На страже Заполярья» собрались на очередное занятие...

С поэтами беседовал Зелик Яковлевич Штейман, уже знакомый членам литобъединения по встрече в прошлом году. Он конкретно разо-

брал некоторые произведения старшего матроса Николая Рубцова... Речь шла о поэтическом мастерстве, о борьбе за образность и действенность стихов, о точности словоупотребления, о необходимости высокого душевного накала при создании каждого произведения и большей требовательности к себе — требовательности в свете решений Коммунистической партии».

Стоит ли удивляться, что Рубцов — этот тончайший лирик, лирик по самой природе своей, писал тогда:

От имени жизни,
идущей
в зенит
Расцвета, —
в заветное
завтра,
Это же
сила
мира
громит
В наших
учебных
залпах.

Впрочем, в газете «На страже Заполярья» публиковались и не такие шедевры Николая Рубцова. Политуправление постоянно поручало кружковцам подготовку различных «политических» листовок, и Рубцов отличился и на этой стезе.

3 апреля 1959 года вместе с капитаном В. Лешкиновым, старшиной второй статьи Р. Валеевым, матросом К. Орловым Рубцов напишет «Открытое письмо начальнику штаба ВМС США адмиралу Арлейгу Бэрку»:

Известно всем — СССР
Ракетами силен.
И можем мы, почтенный сэр,
Любой достать район.



Трудно поверить, что они принадлежат перу тончайшего русского лирика, лирика по самой природе своей. Такое ощущение, что автор полностью освободился от ненужного груза человеческих чувств и ощущений...

Но вместе с тем, когда рассеивался морок политбесед, и во время службы на флоте в стихах Рубцова прорывалась порою пророческая пронзительность, так характерная для его зрелого творчества...

Но очнусь, и выйду за порог.
И пойду на ветер, на откос
О печали пройденных дорог
Шелестеть остатками волос...

Другое дело, что для окружающих смысл внутренней работы, происходившей в Рубцове, был непонятен, и неудивительно, что, судя по воспоминаниям, процитированные нами стихи были восприняты товарищами по литеобъединению как шутка.

«Очень уж не вязалась печальная наполненность этих строк с обликом автора — жизнерадостного морячка, — вспоминает Валентин Сафонов. — Впрочем, даже не то что не вязалась — противоречила ему. Был Николай ростом невысок, некрепок. Пышные усы носил — они ему довольно задиристый, этакий петушковатый вид придавали. Короткую, по уставу, прическу, в которой если и содержался намек на будущую лысину, то весьма незначительный. Аккуратен, подтянут — флотская форма очень шла ему...»

Впрочем, и стихи, написанные в 1957 году в Приютине, тоже не очень-то вяжутся с обликом «жизнерадостного морячка»...

Удивительно, как меняется лицо Николая Рубцова за годы службы...

Бесследно исчезает мальчишка в бескозырке, что запечатлен на фотографии «Привет из Североморска»... Вместо него незнакомый нам человек со значком отличника ВМФ на суконке...

И все-таки, понимая, что во время службы на флоте Рубцов почти вплотную подошел к границе, за которой начинался уже совсем другой человек, не имеющий никакого отношения к Рубцову, которого мы знаем, что-то удерживает назвать его флотские годы потерянными для русской литературы.

Нет... Здесь, на флоте, Рубцов впервые в жизни почувствовал, что он может преодолеть собственную несчастливость, впервые почувствовал в себе силу, позволяющую перешагнуть через детдомовские комплексы и стать хозяином собственной жизни.

«О себе писать ничего пока не стану, — сообщает он Валентину Сафонову. — Скажу только, что все чаще (до ДМБ-то недалеко!) задумываюсь, каким делом заняться в жизни. Ни черта не могу придумать! Неужели всю жизнь придется делать то, что подскажет обстановка? Но ведь только дохлая рыба (так гласит народная мудрость) плывет по течению!»

За несколько месяцев до «дембеля» Рубцов «некстати» (так он выразился в стихотворении «Сестра») угодил в госпиталь.

Разлучив «с просторами синих волн и скал», его увезли в Мурманск на операцию. Что именнорезали Рубцову, неизвестно. На все расспросы о болезни он отвечал, что все это ерунда и операция была легкой...



«Дня три-четыре мучился, — сообщает он в письме, — потом столько же наслаждался тишиной и полным бездействием, на корабль не очень-то хочется, но и здесь чувствуешь себя не лучше, чем собака на цепи, которой приходится тякать на кошку или на луну...

Ночами часто предаюсь воспоминаниям. И очень в такие минуты хочется вырваться наконец на простор, поехать куда-нибудь, посмотреть на давно знакомые памятные места, послоняться по голубичным болотам да по земляничным полянам или посидеть ночью в лесу у костра и наблюдать, как черные тени, падающие от деревьев, передвигаются вокруг костра, словно какие-то таинственные существа.

Ужасно люблю такие вещи.

С особенным удовольствием теперь слушаю хорошую музыку, приставив динамик к самому уху, и иногда в такие минуты просто становлюсь ребенком, освобождая душу от всякой скверны, накопленной годами...»

Любопытно тут, как — почти цитатно — перекликается это письмо, отправленное из мурманского госпиталя, с сочинением «О родном уголке», написанном еще в тотемском техникуме.

Совсем немного и потребовалось покоя и уединения, чтобы зашевелилась, ожила душа Рубцова, отзывалась грустью на воспоминания о родном, зазвенела, словно струна...

И одновременно с этими щемяще-сладкими видениями зашевелились, ожили в душе прежние детские страхи...

Осенью 1959 года Николай Рубцов демобилизовался.

Перед отъездом он заезжал в Североморск к Валентину Сафонову попрощаться.

— Куда проездной выписываешь? — спросил тот.

— Еще не думал... — грустно ответил Рубцов. — Может, в Вологду, в деревню подамся, а может, в Ленинград. Там у меня родственник на заводе работает. Приютит на первый случай. Ты все-таки питерский адрес запиши — оно вернее...

И с той же грустью добавил:

— Четыре года старшина голову ломал, как меня одеть-обуть и накормить... Теперь самому ломать придется... Да не о том печаль. Ждал я этого дня, понимаешь! Долго ждал. Думал, радостным будет. А вот грызет душу тоска. С чего бы?

«Я проводил его к причалу... — вспоминает Сафонов. — Мы стояли на берегу. Был час прилива. Тугая волна медленно наступала на берег, закрывая отмели, тинистое дно, весь тот травяной, древесный и прочий хлам, который годами скапливался в море...»

— Ты долго на Севере задержишься? — спросил Рубцов.

— Не знаю... — пожал плечами Сафонов. — Учиться нам надо.

— Надо, еще как надо! Только получится ли сразу?.. Все думаю, к какому берегу волна меня прибьет... Ну, будь...

— Будь...

ГЛАВА ПЯТАЯ

На Кировском заводе

Рубцов не сразу решил, где ему осесть и чем заниматься на «гражданке».

— Может быть, в деревню подамся... — прощаешься, сказал он Валентину Сафонову.

Трудно судить, насколько серьезными были эти слова, но, как вариант, обдумывал Рубцов и такую перспективу. В деревне он не был уже более восемьми лет, и сейчас, после всех преобразований Никиты Сергеевича Хрущева, ему могло казаться, что жизнь там стала лучше.

Демобилизовался Николай Рубцов двадцатого октября, а в ЖКО Кировского завода устроился только 30 ноября 1959 года. Почти полтора месяца он «осматривался» — гостил у брата в Невской Дубровке, у друзей в Приютине.

Еще, по-видимому, побывал в Николе...

Косвенно свидетельствует об этом стихотворение Рубцова «Загородил мою дорогу», написанное тогда же, в 1959 году.

1

Готовя это стихотворение к публикации в «Юности» в 1964 году, Николай Рубцов — то ли по настоянию редакции, то ли по собственной воле — до неузнаваемости переработал текст. В первоначальном варианте стихотворение звучало иначе:

Загородил мою дорогу
 Грузовика широкий зад.
 И я подумал: слава Богу, —
 село не то, что год назад!
 Теперь в полях везде машины
 И не видать худых кобыл.
 Один лишь древний дух крушины
 все так же горек, как и был.
 Да, я подумал: «Слава Богу!»
 Но Бог-то тут при чем опять?
 Уж нам пора бы понемногу
 От мистицизма отвыкать.
 Давно в гробу цари и боги,
 И дело в том — наверняка, —
 что с треском нынче демагоги
 летят из Главков и ЦЭКа!

По сравнению с тем, что печатал Рубцов на страницах «На страже Заполярья», поэтом сделан шаг вперед. В полном соответствии с требованиями модной эстрадной поэзии голос его легко возвышается до самых верхних этажей власти и с безбожной, эстрадной легкостью смахивает всю нечисть, скопившуюся там.

Вопрос в другом — в какую сторону сделан этот шаг?

Напомним, что уже год миновал со времени выхода секретного постановления ЦК КПСС, предписывавшего развернуть наступление на «религиозные пережитки».

Во главе наступления тогда был поставлен советский «философ» Леонид Федорович Ильичев, который разработал план агитационной подготовки, отличавшийся от антиправославных проектов Ильича №1, пожалуй, только особым цинизмом. Многие тайные сотрудники КГБ, работавшие внутри Русской православной церкви, получили тогда указание открыто порвать с церковью и публично выступить с «саморазоблачениями». Эти провокации и стали стержнем агитационной кампании,

имевшей необыкновенно сильное воздействие на недостаточно полно воцерковленных прихожан.

Стихотворение демобилизовавшегося Рубцова — «давно в гробу цари и боги» — безусловно, можно отнести к свидетельствам, подтверждающим успех этой кампании. И вместе с тем мы видим, что стихотворение словно бы разрывают две противоборствующие силы.

«Древний дух крушины», горько растекающийся над полями, не только не вяжется с призывом «от мистицизма отвыкать», явно заимствованным у новоявленных эстрадных политруков, но и разрушает, сводит на нет картину положительных перемен, что якобы произошли в деревне.

Кстати сказать, в 1964 году Рубцов попытался переработать стихотворение и, безжалостно жертвуя эффектной концовкой, изъял эстрадно-атеистические строки, но стихотворение (тем более что в редакции заменили «худых кобыл» на «плохих», а строку «село не то, что год назад» — на оптимистическое заверение, дескать, «дела в селе идут на лад») лучше не стало, оно поблекло, превратилось в малозначащую пейзажную зарисовку...

Причина неудачи понятна.

Хотя и отвратительна была для зрелого Рубцова эйфория атеистического, шестидесятнического пафоса, но ведь именно это он и чувствовал, именно так и думал, демобилизовавшись с флота. А изымать самого себя из стихов — занятие заведомо бесперспективное.

2

Что же думал, что чувствовал Рубцов в 1959 году — на вершине хрущевского десятилетия?

Два года назад отшумел в Москве фестиваль, когда словно бы распахнулись окна во все концы света. Еще два года, и этот необыкновенный подъем

завершится триумфом — полетом в космос Юрия Гагарина.

Ощущение свободы, предчувствие перемен захлестывали тогда страну, и как же остро должен был ощущать это Рубцов после тесноты корабельных помещений и свинцовой тяжести политбесед...

Сугубо личные ощущения опять совпали с доминантой времени, и, быть может, если бы из Североморска Рубцов сразу поехал в Ленинград, он бы и не уловил никакого противоречия, смело двинулся бы по эстрадному пути, и кто знает, какая судьба ожидала бы его...

Наверное, в личностном плане более счастливая, более благополучная, ибо труден Путь человека, который идет не так, как все, а так, как определено ему.

Но Николаю Рубцову «не повезло».

Из Североморска он поехал не в Ленинград, а в деревню, за счет окончательного разорения которой и оплачивались блестательные триумфы хрущевского десятилетия. Те первые реформы, что вызывали надежды на улучшение деревенской жизни, уже давно были обесценены кукурузными аферами Никиты Сергеевича, а широкомасштабное движение страны к коммунизму, начавшееся с разорения личных хозяйств и приусадебных участков колхозников, вообще отбросило деревню к временам коллективизации. Прилежный воспитанник Иосифа Джугашвили, Хрущев планомерно продолжал политику геноцида русского народа.

Конечно, сразу понять это человеку, которому четыре года вдябливали на политзанятиях мысль о правильности и разумности политики партии, невозможно... Вот Рубцов и замечает обнадеживающие перемены, надеется, что в скором времени, когда выгонят из главков и ЦК еще несколько де-



сятков демагогов, будет еще лучше, почти совсем хорошо...

Только вот никак не отвязаться от всепроникающей горечи крушины, которой пропиталась вся здешняя жизнь, но, может, просто кажется, просто мерещится этот «древний дух»?

Наверное, с этими мыслями и уехал Рубцов из деревни...

И снова, как и в годы юности, едет Рубцов к брату Альберту, который обосновался теперь в поселке Невская Дубровка...

Здесь провел Рубцов несколько недель, побывал в Приютине, зашел в районную газету «Трудовая слава» и записался там в литобъединение...

1 ноября 1959 года «Трудовая слава» опубликовала первое стихотворение Рубцова. Называлось оно «Быстрее мечты» и рассказывало о том, как «с земли, быстрей, чем ураган», понес поэта «ракетоплан».

Как школьный глобус, надо мной
В кольце туманов и ветров
Вращался древний шар земной,
Светясь огнями городов.
Пропала вдруг пределов власть.
Лишь мрак. И звездные костры.
Ошеломленно сторонясь,
Мне уступали путь миры.
Хотелось крикнуть им, что я
Посланец русских нив и рек,
Влюбленный в труд, в свои края,
Земной, советский человек!

Но еще до публикации этого «шедевра» Рубцов поселился по лимитной прописке в Ленинграде.

Он устроился кочегаром на Кировский завод...

И хотя и перебрался наконец «посланец русских нив и рек» в большой город, где совсем не слышно было горечи деревенской жизни, трещинка в его вере в благотворность хрущевских перемен никуда не исчезла.

3

Трещинка эта пугала Рубцова.

Очень хотелось позабыть увиденное в вологодской деревне и в Невской Дубровке... Словно стремясь вернуться в прежнюю, флотскую простоту и ясность жизни, он пишет:

И с таким работал жаром,
Будто отдан был приказ
Стать хорошим кочегаром
Мне, ушедшему в запас!

Приказ такой отдавал себе сам Рубцов, но сам же и не подчинялся ему, не мог подчиниться. И такие стихи, как «В кочегарке», не только не проясняли жизнь, но вызывали еще большую неудовлетворенность собой. Не подвластные самому Рубцову процессы шли в нем, и духовное прозрение совершилось как бы против его воли...

О все нарастающем чувстве неудовлетворенности свидетельствует письмо Валентину Сафонову, отправленное Рубцовым в июле 1960 года:

«Хочется кому-то чего-то доказать, а что доказывать — не знаю. А вот мне сама жизнь давненько уже доказала необходимость иметь большую цель, к которой надо стремиться».

Сходные мысли звучат и в стихотворении о детстве, когда

...мечтали лежа,
о чем-то очень большом и смелом,
смотрели в небо, и небо тоже
глазами звезд на нас смотрело...

Но и обращение к детству — эта спасительная для многих палочка-выручалочка — не помогает Рубцову преодолеть неудовлетворенность. Ловко подогнанные друг к другу строчки:

Я рос на этих берегах!
И пусть паром — не паровоз.

Как паровоз на всех парах,
Меня он в детство перевез... —

не способны удержать образы реальной жизни.

В результате стихи Рубцова этих месяцев все более заполняются словесной эквилибристикой:

Буду я жить сто лет,
и без тебя — сто лет.
Сердце не стонет, нет,
Нет, сто «нет»!

В своей антологии новейшей русской поэзии «У Голубой лагуны» Константин Кузьминский сообщает, что именно в 1961 году Рубцов увлекся перевертышами:

«Интерес к вывескам наблюдался у поэта Коли Рубцова, который писал мне в 1961 году, что ходит по городу и читает вывески задом наперед. Элемент прикладного абсурда, о котором, в приложении к Рубцову, ни один из его биографов не сообщает. Тем не менее это литературный факт. Письмо я натурально потерял. В письме еще были стихи, но они где-то приводятся по памяти».

Наверное, эту словесную эквилибристику конца пятидесятых — начала шестидесятых годов можно объяснить данью моде¹.

¹ Справедливости ради надо сказать, что интерес к словесной игре сохранялся в Рубцове до конца жизни. Многие вспоминают, как по утрам придумывал он «хулиганские» стихотворения.

В провинциальном магазине
Вы яйца видели в корзине,
Вы подошли к кассирше Зине
И так сказали ей, разине:
— Какого х.. эти яйца
Гораздо мельче, чем у зайца?
Она ответила не глядя
— Зато крупнее ваших, дядя!

Но это было своеобразной гимнастикой...

Подобные шутливые экспромты часто воспроизводятся в воспоминаниях о поэте, но сам Рубцов редко записывал их. Придумывались подобные шутки для разминки, для «разогрева» и самоцелью для Рубцова не являлись.



Напомним, что тогда (еще одно следствие фестиваля) в столицах начало входить в советский быт слово «стиляга». Узкие брюки сделались знамением времени. Одни утверждали с их помощью свою свободу, свое право на собственное, отличное от общественного мнение; другие восприняли невинные отклонения в одежде как угрозу всей советской морали. На улицах городов появились комсомольские патрули, вылавливающие стиляг...

Появились и музыкальные «стиляги».

В 1956 году Борис Тайгин (тот самый, который «издаст» потом первую книжку Николая Рубцова) «схлопотал», например, пять лет за «музыку на ребрах». Кто-то придумал записывать музыку на старых рентгеновских снимках, и Ленинград заполонили самодельные пластинки, на которых можно было разглядеть изображение человеческих костей. Музыка тоже была похожей на рентгеновские снимки:

Зиганшин — буги!
Зиганшин — рок!
Зиганшин съел
Второй сапог!¹¹

Такое это было время, когда Николай Рубцов поступил в девятый класс вечерней школы № 120 рабочей молодежи.

Кочегаром он работал недолго.

В мае 1961 года перешел шихтовщиком в кировский цех и поселился в заводском общежитии на Севастопольской улице.

— Везучий я в морской жизни... — шутил он. — Служил на Баренцевом море, а живу на Севастопольской...

¹¹ В 1960 году унесло в океан советскую баржу. 49 дней военнослужащие А. Зиганшин, Ф. Поплавский, Н. Федотов, А. Крючковский болтались в океане, пока их не спасли американцы.

В молодости общежитский неуют переносится легче, но не таким уж молодым был Рубцов, да и все двадцать пять скитальческих лет, оставшихся за спиной, тоже брали свое, и временами в стихах прорывалась горечь:

Что делать? —
весь ножик в себя не вонжу,
и жизнь продолжается, значит.
На памятник Газа в окно гляжу:
железный! А все-таки... плачет.

4

В таком большом городе, как Ленинград, даже узкий круг пишущих людей весьма велик и неоднороден.

Первое время Николай Рубцов активно посещал здесь литературный кружок при многотиражке «Кировец» и занятия литературного объединения «Нарвская застава».

Руководитель «Нарвской заставы» поэт Игорь Михайлов вспоминал:

«Странно сейчас перебирать пожелтевшие листки со стихами Коли Рубцова — те экземпляры, которые давались на обсуждение в «лито». Вот шесть стихотворений, украшенных решительным минусом его оппонента: «На родине», «Фиалки», «Соловьи», «Видения в долине», «Левитан» и «Старый конь». Может быть, иногда чрезмерно суровы и требовательны к молодому поэту были его друзья, но отчетливо видишь, что в своих оценках они редко ошибались...»

Зато: «Очень понравился «литовцам» своеобразный юмор Рубцова. И характерно, что именно здесь впервые на ура были приняты те его стихи («В океане», «Я весь в мазуте, весь в тавоте, зато

работаю в тралфлоте»), которые стали его первыми публикациями и сразу составили ему добрую репутацию... И уж совершенный восторг вызвало у товарищей Рубцова одно из самых улыбчивых его стихотворений — «Утро перед экзаменом»: для ошалевшего школьара скалы стоят «перпендикулярно к плоскости залива», «стороны зари равны попарно», облако несется «знаком бесконечности» и даже «чья-то *равнобедренная дочка*» двигается, «как радиус в кругу»...

Обсуждение стихов Николая Рубцова прошло 14 декабря 1960 года.

Игорь Михайлов писал, что «товарищи по «лито» четко «засекли» тот момент, когда из-под пера Рубцова стали появляться зрелые художественно совершенные стихи».

Вывод неожиданный...

Ведь отвергнутыми, как мы видим, оказались — обсуждение прошло 14 декабря 1960 года — лучшие стихи Рубцова, а «принятыми на ура» — случайные, к зреому Рубцову не имеющие никакого отношения.

Увы... И сейчас для многих профессиональных литераторов Рубцов остается всего лишь автором забавных стишков о «равнобедренной дочке», и эти люди искренне недоумевают, почему вдруг Рубцова объявили классиком...

Подобный «Нарвской заставе» круг общения если и устраивал Рубцова, то только на первых порах. Очень скоро он начал тяготиться им...

Впрочем, справедливости ради отметим, что и в «Нарвской заставе» не особенно-то дорожили Николаем Рубцовым.

И тут не так уж и важно, что «Нарвская застава» не являлась объединением заводских поэтов и что

время шестидесятых годов существенно отличалось от эпохи рабфаков и пролеткульга...

Санкт-петербургский критик и переводчик Виктор Топоров в книге «Двойное дно. Признания скандалиста» вспоминает о «странных и жутковатой компании поэтов, крутившихся в кафе «Электрон» при заводе «Электросила»...

«В отличие от знаменитого Кафе поэтов на Полтавской это было захолустье, и собирались там заводская, если не просто дворовая команда. В «шестерках» у этих бездарей почему-то ходил великолепный поэт Николай Рубцов»...

Сказано, конечно, зло, с гротескным преувеличением, но ничуть не противоречит той «чрезмерной суровости и требовательности к молодому поэту», о которой писал Игорь Михайлов...

Если эти малоталантливые стихотворцы с рабочей окраины украшали «решительным минусом» лучшие стихи Николая Рубцова, то могли ведь и за водкой его посыпать, утверждаясь таким образом в собственных глазах.

В рубцовском фонде в Государственном архиве Вологодской области сохранилась записная книжка поэта, растрепанная и прошитая суровой нитью — косо, но прочно. Верой и правдой — почти двадцать лет — служила она Николаю Михайловичу, была единственным свидетелем многих дней его жизни.

Страницы, аккуратно заполненные красивым рубцовским почерком, залиты вином, многие записи расплылись, новые адреса зачастую записаны поверх старых — толкучка и мешанина фамилий, городов, телефонов такая же невообразимая, как и в самой жизни поэта.

Есть здесь и литературные записи...

Смешные диалоги...

То ли придуманные самим Рубцовым, то ли услышанные где-то сентенции: «Жизнь хороша. Нельзя ее компрометировать»...

Записи для памяти: «Купить трубку»...

На семнадцатой странице начало какой-то прозы:

«Он сильнее всего на свете любил слушать, как поют соловьи. Часто среди ночи он поднимал меня с койки и говорил: «Давай бери гитару — и пойдем будить соловьев. Пусть они попоют. Ночью они умеют здорово это делать...»

Запись обрывается, восемнадцатой страницы в книжке нет (нумеровал сам Рубцов), и не узнать, разбудил ли Рубцов соловьев, как никогда не узнать и много другого из его жизни.

Но главное в этой книжке — фамилии...

Саша Кузнецова, Надя Виноградова, Нина Токарева, Надя Жукова, В.В. Васильев, Жора (в скобочках — друг В. Максимова), Борис Новиков, В. Гариков, Зоя, А-р Кушнер, Н.О. Грудинина, К. Кузьминский, И. Сергеева, Бахтин, Ю. Федоров, М.Л. Ленская, С. Орлов, Д. Гаврилов, Вильнер, Люся Б., Петя, Бродский, Г. Семенов, Зина, Ю. Логинов, Кривулин, Катя...

Список можно продолжать, но и перечисленных фамилий вполне достаточно, чтобы получить представление о круге общения Николая Рубцова в Ленинграде. Немало здесь профессиональных литераторов, но много и поэтов, назвавших себя в семидесятые годы «второй литературной действительностью»...

Сближение с ними в поиске единомышленников — литературный, как любят говорить господин Кузьминский, факт...

Рубцова многое роднило с поэтами этого круга.

Ведь хотя эти литераторы и овладели в совершенстве техникой эстрадно-популярного стиха, но поэтами «поколения» так и не стали. Поколение шестидесятников пошло по другому пути, их певцы призывали быстрее «возводить» коммунизм, пытались возродить романтику чекистских будней и «комиссаров в пыльных шлемах», подогревали энтузиазм строителей сибирских гидроэлектростанций и чернобылей.

Отчасти это разнопутье объясняется тем, что идеология шестидесятничества, столь ярко выразившаяся в поэзии Евтушенко, Вознесенского, Рождественского, только в Москве, вблизи к кремлевским распределителям, и могла иметь успех.

Ленинград в силу своей удаленности от цековских кормушек этого искусства уберегся. Питерские поэты не очень-то грешили дифирамбами палачам-комиссарам, не воспевали великие стройки коммунизма. Но, уберегшись одного искусства, далеко не все сумели уберечься от другого, быть может, еще более опасного — от так называемого «кривостояния, при котором прямизна кажется нелепой позой»¹.

Отношение ленинградских поэтических диссидентов и полудиссидентов к Николаю Рубцову — типичный образчик этого «кривостояния».

В кругу новых знакомых, как и на занятиях литобъединения «Нарвская застава», на ура принимались хотя и несколько другие стихи, но тоже не те, которые Рубцов считал для себя главными.

«Николай Рубцов, — вспоминает Борис Тайгин, — на сцену вышел в заношенном пиджаке и

¹ Вестник РСХД, № 97.

мятых рабочих брюках, в шарфе, обмотанном вокруг шеи поверх пиджака. Это невольно обратило на себя внимание. Аудитория как бы весело насторожилась, ожидая чего-то необычного, хотя здесь еще не знали ни Рубцова, ни его стихов.

Подойдя к самому краю сцены, Николай посмотрел в зал, неожиданно и как бы виновато улыбнулся и начал читать... Читал он напевно, громко и отчетливо, слегка раскачиваясь, помахивая правой рукой в такт чтению и почти не делая паузы между стихотворениями.

Стихи эти, однако, были необычными. Посвященные рыбакской жизни, они рисовали труд и быт моряков под каким-то совершенно особым углом зрения. И насквозь были пропитаны юмором, одновременно и веселым и мрачным. Аудитория утомонилась, стала внимательно слушать. И вот уже в зале искренний смех, веселое оживление после очередных шуточных строк. И искренние шумные аплодисменты после каждого стихотворения.

— Читай еще, парень! — кричали с мест.

И хотя время, отведенное для выступления, уже давно истекло, Николаю долго не давали уйти со сцены¹.

Столь же теплый прием вызывали стихи «Сколько водки выпито...» и подобные им шедевры.

Этими стихами можно было эпатировать публику, можно восторгаться ими, но считать это озорство главным в наследии Рубцова, конечно, нельзя.

Представление о том, чего ждали от Рубцова в кругу его новых знакомых, дает стихотворение

¹ «Мемуары Бори Тайгина были опубликованы после моего отъезда. И Боря, как всегда, врет», — пишет по поводу этих воспоминаний Константин Кузминский. Однако нам эта оценка представляется излишне суровой. Кроме того, для нас важнее тут не то, как на самом деле выступал Рубцов, а каким запомнил выступление Николая Рубцова сам Тайгин.



«Жалобы алкоголика», помеченное январем 1962 года:

Ах, что я делаю, зачем я мучаю
Больной и маленький свой организм?
Ах, по какому же такому слушаю?
Ведь люди борются за коммунизм!

Скот размножается, пшеница мелется,
И все на правильном таком пути...
Так замети меня, метель-метелица,
Ох, замети меня, ох, замети!

Я жил на полюсе, жил на экваторе.—
На протяжении всего пути,
Так замети меня, к едрене матери,
Метель-метелица, ох, замети...

Если сравнить это стихотворение с «Добрый Филем», станет очевидной разница между «крайностями» и прямым Путем, который все-таки изберет для себя поэт Николай Рубцов.

Ерничанье и дешевый эпатаж не способны были выразить то, что чувствовал, что думал Рубцов.

Очень точно подметил это Глеб Горбовский:

«Нельзя сказать, чтобы Николай Рубцов в Ленинграде выглядел приезжим чудаком или душевным сироткой. Внешне он держался независимо, чего не скажешь о чувствах, скрывавшихся под вынужденным умением постоять за себя на людях, умением, приобретенным в детдомовских стенах послевоенной Вологодчины, в морских кубриках трансфлита и военно-морской службы, а также в общаге у Кировского завода, где он тогда работал шихтовщиком, то есть имел дело с холодным, ржавым металлом, идущим на переплавку. Коля Рубцов, внешне миниатюрный, изящный, под грузчицкой робой имел удивительно крепкое, мускулистое тело. Бывая навеселе, то есть по пьяному делу, когда никого, кроме нас двоих, в «дупле» не было, мы

не раз схватывались с ним бороться, и я, который был гораздо тяжелее Николая, неоднократно летал в «партер».

Рубцов *не любил* (выделено мной. — *Н.К.*) заставлять у меня кого-либо из ленинградских поэтов, *все они казались ему декадентами*, модернистами (из тех, кто ходил ко мне), пишущими от ума кривляками. Все они — люди, как правило, с высшим образованием, завзятые эрудиты — невольно отпугивали выходца «из низов», и когда Николай вдруг узнал, что я — недоучка и в какой-то мере скиталец, бродяга, то проникся ко мне искренним уважением. Не из солидарности неучи к неучу (в дальнейшем он закончил Литинститут), а из солидарности неприкаянных, причем неприкаянных сызмальства.

Зато, обнаружив кого-либо из «декадентов», сидел, внутренне сжавшись, с едва цветущей на губах полуулыбкой, наблюдал, но не принимал участия и как-то мучительно медленно, словно из липкого месива, выбирался из комнаты, виновато и одновременно обиженно склоняя голову на ходу и пряча глаза. А иной раз шумел. Под настроение. И голос его тогда неестественно звенел. Читал стихи, и невольно интонация чтения принимала оборонительно-обвинительный характер».

Кстати говоря, на машинописной копии, по которой воспроизводим мы «Жалобы алкоголика», под стихотворением стоит подпись: «Коля Рубцов». Слово «Коля» зачеркнуто и сверху от руки написано «Н».

Не случайно и Кузьминский, цитируя стихотворение «Сколько водки выпито...», называет Рубцова Колей. Как и «Жалобы алкоголика» — это стихотворение действительно написано Колей Рубцовым...

о провале обновленчества в двадцатые годы, хрущевцы лишили Православную церковь какой-либо возможности для защиты. Изуверская подлость хрущевских гонений на Русскую православную церковь усиливалась тем, что гонители всячески эксплуатировали союз, заключенный церковью с государством в тяжелые годы войны. Все карательные акции исходили как бы от самой церкви. Это касалось и увольнения на покой виднейших иерархов, и закрытия монастырей и семинарий, и других больших и малых нападок.

В книге «Облеченный в оружие света» на примере служения митрополита Иоанна (Снычева) я попытался показать, насколько безоружными были в противостоянии гонителям наши иереи.

«Надо быть ко всему готовым... — записывал тогда в дневнике будущий митрополит Иоанн. — Я как-то покойен. Страдать так страдать»...

«Приезжала матушка из Сорочинска. Плачет, бедная: уполномоченный отобрал у ее мужа на четыре месяца регистрацию. И за что? За то, что крестил ребенка партийного отца. И хотя было согласие последнего, подтвержденное справкой, все равно уполномоченный не посмотрел на это»...

«Как больно видеть и слышать отражение в детях современного воспитания! Возвращался я сегодня из храма домой, и вот на пути встретились дети (трое ребят) лет по 8—10, которые начали смеяться надо мной и, следя стороной от меня, кричать: «Мракобес! Мракобес!»

Я спросил их: «Кто вас этому научил?»

«Сами себя выучили», — ответили они...»

«Душа вся горит от волнения, а сердце плачет. Тяжело. Враг досаждает. Привели девочку восьми лет крестить. Отказали. Запрет наложен уполномоченным: школьного возраста детей не крестить».

Поразительно, но хотя в начале шестидесятых в жизни нашей страны происходило множество важных и масштабных событий¹, в дневниках будущего митрополита Иоанна при всем желании невозможно найти и намека на эти события, как будто происходили они совсем в другой стране.

Но это ведь так и было...

Все десять лет своего правления Хрущев сосредоточенно добивался, чтобы снова, как при Ленине и Троцком, почувствовали себя русские православные люди чужими в своей собственной стране, которую отстояли они в страшной войне, которую подняли из послевоенных руин...

И ему почти удалось добиться, чтобы в *этой*, как полюбили потом говорить демократы, *стране* советские люди почти вытеснили русский народ...

«Как тяжело становится жить на земле! — восклицает в своих дневниках будущий митрополит Иоанн. И спрашивает себя: — Неужели мы — христиане последнего времени?»

Это ощущение безвыходности, которое удалось заронить в души православных иереев хрущевским идеологам, и следует считать главным успехом антирелигиозной кампании конца 50 — начала

¹ Напомним, что в 1961 году прошла денежная реформа, состоялся первый в мире полет Ю. Гагарина в космос, была возведена Берлинская стена, отделившая Западный Берлин от Восточного, прошел XXII съезд КПСС, на котором Никита Сергеевич пообещал «догнать и перегнать» США и построить в стране коммунизм «в основном» через 20 лет, вынесли ночью из Мавзолея тело И.В. Сталина и захоронили у Кремлевской стены, провели ядерный взрыв мощностью в 50 мегатонн на Новой Земле, на высоте четыре километра — самое крупное испытание в атмосфере.

А в 1962 году произошел конфликт с китайскими войсками на острове Даманском, расстрел в Новочеркасске по приказу Н.С. Хрущева демонстрации рабочих, протестовавших против повышения цен на мясо и масло, наконец, Карибский кризис, едва не приведший к новой мировой войне.



60-х годов. Не случайно за успехи в своей работе Л.Ф. Ильичев в 1961 году был избран секретарем ЦК КПСС.

И конечно же, если и ждала тогда помощи Православная Русь, то никак не от заведующего кафедрой советской литературы ЛГУ, члена КПСС Ф.А. Абрамова, или от секретаря Грязовецкого райкома комсомола В.И. Белова, или от шихтовщика Кировского завода комсомольца Н.М. Рубцова...

Поразительно, но именно в 1958 году, когда вышло секретное постановление ЦК КПСС, заведующий кафедрой Ленинградского университета, коммунист Федор Александрович Абрамов выпустил первый том тетralогии «Пряслины», названный «Братья и сестры».

Уже само название романа, посвященного «бабьей, подростковой и старицкой войне в тылу», отсыпало читателя, с одной стороны, к знаменитой речи И.В. Сталина, когда перед лицом смертельной опасности, нависшей над страной, сорвались с его языка слова, напоминающие о православной сущности нашего государства, слова, следование которым и помогло Генеральному секретарю ВКП(б) превратиться в Верховного главнокомандующего, приведшего наш народ к великой Победе.

Ну а с другой стороны, совершенно очевидно, что как название романа, так и его содержание напрямую апеллировало к совести читателя, к его нравственному чувству. Более того... Можно с полным правом утверждать, что и роман «Братья и сестры», и вся тетralогия «Пряслины», и сам Абрамов как писатель рождались во внутреннем противостоянии антиправославной вакханалии, развернувшейся в стране.

Но если тридцативосьмилетний Федор Александрович Абрамов в 1958 году достаточно ясно

осознавал, к каким последствиям может привести страну новый виток борьбы с православием, то Василию Ивановичу Белову, избранному в этом году секретарем райкома комсомола, быть воинствующим атеистом полагалось по самой его должности...

И Белов, в принципе, готов был к этому, ибо, как он писал в стихах того времени:

Идет человек от порога,
В тревожные дали идет...

Однако от далей атеизма, за которыми неизбежно открываются дали русофобии, Господь уберег писателя.

О том непростом пути духовного прозрения, по которому, подобно великому множеству русских людей, шел он в своей жизни, сам Василий Иванович Белов рассказал в очерке «Дорога на Валаам».

«Лет сорок тому назад, будучи атеистом, я наконец отслужил срочную службу... Отравленным, вымотанным, но полным смутных надежд на будущее, я приехал в Тимониху, к материнскому крову...

По-видимому, Создатель долго, осторожно и, может быть, бережно пробуждал мою совесть, по-немногу приближая к Себе: сперва болью за крестьянскую участь, жалостью к матери»...

Далее, как скажет В.И. Белов, его жизнь «украсится» интересом к русской деревянной архитектуре, к сочинительству, к хору Юрлова и к «Черным доскам» Вл. Соловчука, но все же первыми шагами к Богу он ставит боль за крестьянскую участь и жалость к матери...

Это признание — беспощадно точное писательское определение того, что мы теряли в хрущевскую одиннадцатилетку, в годы такой «студеной» для православия оттепели.

Говоря о «боли» и «жалости», Василий Иванович Белов не просто сочувствует, но и страдает сам: ведь вместе с крестьянством уничтожается, изводится он сам, то самое главное в нем, что и отличает его бессмертную душу от безликих обитателей комсомольских и партийных коридоров.

Холодное сочувствие легко погасить рассуждениями о конечной пользе, о жертвах во имя великой цели. Пробудить совесть, а следовательно, и приблизить к Богу способно лишь сострадание, которое ощущается как собственная боль.

Белов еще не осознает, что происходит с ним, но боль обжигает его. Эта боль уже не вмещается в те стихи, что сочинял Белов, она выплеснется в его прозу, зазвучит в написанных им в конце пятидесятых годов рассказах.

6

Случившееся с Василием Беловым прозрение пришло к Николаю Рубцову в самом начале шестидесятых, вероятно, во время поездки на родину.

Едва ли стихотворение «Видения на холме» (первоначальное название «Видения в долине») осознавалось самим Рубцовым как начало принципиально нового периода в творчестве.

Стихотворение задумывалось как чисто историческое, но, обращаясь к России:

Россия, Русь —
Куда я ни взгляну!
За все твои страдания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы... —

поэт вдруг ощутил в себе силу родной земли, и голос его разросся, обретая привычные нам рубцовские масштабы:

Люблю твои избушки и цветы,
 И небеса, горящие от зноя,
 И шепот ив у омутной воды,
 Люблю навек, до вечного покоя...

Надо сказать, что произошло это не сразу. В первоначальном варианте строфа выглядела иначе:

Люблю твою,
 Россия,
 старину,
 Твои огни, погосты и молитвы,
 Твои иконы,
 бунты бедноты,
 и твой степной
 бунтарский
 свист разбоя,
 люблю твои священные цветы,
 люблю навек,
 до вечного покоя...

Но в этом и заключается поэзия Рубцова, что «иконы, бунты бедноты» — это перечисление, больше напоминающее школьный учебник, превращается вдруг в «шепот ив у омутной воды» — нечто вечное, нечто существовавшее, существующее и продолжающее существовать в народной жизни.

Точно так же, как «степной, бунтарский свист разбоя» превращается в «небеса, горящие от зноя», связывая упования на улучшение народной жизни не с новоявленным Стенькой Разиным, а с Господом Богом.

Поэтому-то, возвышаясь до небес, и растет голос, становится неподвластным самому поэту, словно это уже не Рубцова голос, а голос самой земли. И случайно ли строки, призванные, по мысли поэта, нарисовать картину военного нашествия давних лет, неразрывно сливаются с картиной хрущевского лихолетья:

Россия, Русь! Храни себя, храни!
 Смотри, опять в леса твои и долы
 Со всех сторон нагрянули они,
 Иных времен татары и монголы,
 Они несут на флагах черный крест,
 Они крестами небо закрестили,
 И не леса мне видятся окрест,
 А лес крестов в окрестностях России.

И вместе со стихотворением рождается искупительное прозрение:

Кресты, кресты...
 Я больше не могу!
 Я резко отниму от глаз ладони
 И вдруг увижу: смирно на лугу
 Траву жуют стреноженные кони.
 Заржут они — и где-то у осин
 Подхватит эхо медленное ржанье,
 И надо мной — бессмертных звезд Руси,
 Спокойных звезд безбрежное мерцанье...

В «Видениях на холме» можно обнаружить не только интонации и образы, характерные для зрелого Рубцова, но и характерное только для него восприятие мира, понимание русской судьбы как судьбы православного человека, православного народа.

Разумеется, ни Федора Абрамова, ни Василия Белова, ни Николая Рубцова никак не причислишь к церковными писателям... Но так получилось, что именно им — а сюда можно включить и других русских писателей! — и удалось защитить в своих произведениях православную нравственность русского народа, которую пытались выкорчевывать хрущевские идеологи. Эти писатели своими книгами, своими стихами, своими жизнями противостояли тому, чтобы русские православные люди чувствовали себя чужими в своей собственной стране.

И, защищая нравственность, отстаивая русские традиции и культуру, писатели защищали и церковь, более того, в церкви, если не ограничивать церковь только церковными службами, черпали они силы для своего творчества, для своего служения.

7

Существует немало исследований, доказывающих, что Рубцов в значительно меньшей степени, чем, например, Есенин, испытал на себе влияние фольклора. Возможно, исследователи и правы, пока речь идет о чисто внешнем влиянии, но если проанализировать более глубокие взаимосвязи, то обнаружится, что все не так просто.

Для поэзии Рубцова характерно особое, какое-то древнерусское, сохраняющееся в некоторых былинах восприятие времени...

Прошлое, настоящее и будущее существуют в его стихах одновременно, и если и связываются какой-либо закономерностью, то гораздо более сложной, нежели причинно-следственная связь. Для того чтобы разобраться в природе этого явления, надо кое-что вспомнить о самой природе русского языка.

Давно сказано, что о русском языке надо говорить как о храме.

В фундаменте его — труд равноапостольных Кирилла и Мефодия, создававших древнерусский литературный язык как **средство выражения Богооткровенной истины**, заключенной в греческих текстах.

Особое значение «первоучители словенские» придавали аористу, который обозначал действие в чистом виде; действие, не соотнесенное со време-

нем; действие вне времени, в вечности... При описании обычной жизни аорист не требовался, но когда речь шла о действиях Бога, который неподвластен времени, который сам Владыка и Господин времени, аорист становился необходимым.

Как свидетельствует Житие Константина-Кирилла, первыми словами, написанными по-славянски, были евангельские слова: «исконы бе Слово, и Слово бе от Бога, и Бог бе Слово».

Наличие аориста в церковно-славянском языке отвечало свойственной христианскому мышлению системе тройственных сопоставлений: «божеское — человеческое — бесовское»; «духовное — душевное — плотское», «аорист — имперфект — перфект». В этом выражалась самая суть христианской антропологии: человек с его свободной волей, находящийся на тончайшем средостении между бездной божественного бытия и адской бездной.

«Этому, — отмечает в своей статье «О содержании наследия равноапостольных Кирилла и Мефодия и его исторических судьбах» А.А. Беляков, — соответствует и *несовершенство, имперфект* человеческой жизни и человеческой истории, которые совершаются тогда, когда «времени не будет к тому», в последнем суде Божием и воздаянии «комуждо по делам его». Сатана же проклят от самого его отпадения, то есть еще до начала исторического времени. И все действия его уже осуждены, а потому всецело принадлежат к прошлому и выражаются исключительно перфектом».

Очень точно сформулировал похожую мысль еще в шестнадцатом веке Иоанн Вишенский, который заметил, что «словенский язык... простым прилежным читанием... к Богу приводит... Он истинною правою Божией основан, збудован и огорожен есть... а диавол словенский язык ненавидит...»



Целое тысячелетие православное мировоззрение перетекало в наш, «истинною правдой Божией» основанный язык, формируя его лексику, синтаксис и орфографию, и в результате возник Храм, оказавшийся прочнее любого каменного строения.

После победы в семнадцатом году, разрушая и оскверняя церкви, расстреливая священников, большевики постарались разрушить и этот храм русского православия.

В полном соответствии с планом — спрятать Россию от русских, сделать Русь непонятной и непостижимой для русских — велась реформа орфографии (тут большевики успешно продолжили дело, начатое патриархом Никоном и продолженное Петром I), шла интервенция птичьего языка аббревиатур, насаждался полублатной одесско-местечковый сленг.

Велась ожесточенная, как и со священнослужителями, борьба с православными корнями языка.

Но языковой храм выстоял.

Аорист, приравненный никоновскими грамотеями и справщиками к перфекту и, казалось бы, окончательно вытесненный из языка последующими петровскими и большевистскими реформами, подобно ангелу-хранителю продолжал охранять светоносную **Богооткровенную** суть языка.

Слово Божие продолжало жить в русском языке и в самые черные для православных людей дни. Равнодушные, казалось бы, давно умершие для православия люди против своей воли поминали Бога, произносили спасительные для души слова...

Атеистическая тьма, сгущавшаяся над нашей Родиной во времена владычества ленинской гвардии и хрущевской «оттепели», так и не сумела перебороть православной светоносности нашего языка.

И происходило чудо.

Прошедшие через атеистические школы и институты люди, погружаясь в работе со словом в живую языковую стихию, усваивали и начатки православного мировоззрения.

Мы еще будем говорить, как поразительно зорко различал пути, ведущие к спасению и гибели, не знающий церковной защиты лирический герой Николая Рубцова.

Страшному, сопровождаемому грохотом и воем, лязганьем и свистом пути, по которому движется «Поезд», в поэзии Николая Рубцова всегда противостоит путь «Старой дороги», где движение — это ли не попытка воссоздания поэтическими средствами аориста? — осуществляется как бы вне времени: «Здесь русский дух в веках произошел, и ничего на ней не происходит». Вернее, не вне времени, а одновременно с прошлым и будущим.

Еще более открыто эта молитвенная, «аористическая» одновременность событий обнаруживается в стихотворении «Видения на холме», где разновременные глаголы соединяются в особое и по-особому организованное целое...

В самом деле...

Они — «иных времен татары и монголы» — крестами небо закрестили в прошлом времени, но «не леса... окрест, а лес крестов в окрестностях России» видятся сейчас, в настоящем времени, зато когда-нибудь, в будущем времени, резко отнимет герой от глаз ладони и увидит, как жуют траву стреноженные кони. В будущем времени и заржут они, и эхо подхватит медленное ржанье... Но над поэтом — «бессмертных звезд Руси, спокойных звезд безбрежное мерцанье» — и не в прошлом, и не в настоящем, и не в будущем, — а в вечном, непрходящем времени...

Вероятно, правильно будет сказать, что истоки многозначности серьезных произведений Николая Рубцова в особом устроении времени его стихов.

В строке «Россия, Русь! Храни себя, храни!» можно увидеть и изображение гитлеровского нашествия, но едва ли тогда подлинный смысл будет угадан.

Разумеется, «угадывание» — слово неудачное.

Стихи Рубцова не ребусы, просто, помимо обычного, в них заключен и **вещий** смысл, воспринять который значительно легче на уровне подсознания, нежели аналитическим путем, после совершения длительных умозаключений...

«Видения на холме» первое в ряду **«вещих»**, **«пророческих»** стихов Рубцова, а с годами поэт научится столь ясно различать будущее, что даже сейчас, когда, годы спустя, читаешь его стихи, ощущаешь холод разверзающейся бездны. И всегда потрясает почти документальная точность предсказания! Например, те же предсмертные строки Рубцова:

Из моей затопленной могилы
Гроб всплынет, забытый и унылый,
Разобьется с треском, и в потемки
Уплывут ужасные обломки... —

многие понимают как апокалиптическое предсказание, но так ли это?

Рубцовские пророчества носят гораздо более конкретный характер. И это стало ясно, когда в начале перестройки в Вологде пошли разговоры, что хорошо бы, дескать, перенести могилу с обычного городского кладбища в Прилуцкий монастырь и перезахоронить Рубцова рядом с Батюшковым...

Деяние, так сказать, вполне в духе времени реформ (при Хрущеве могилу Рубцова просто бы запахали), но Рубцову незнакомое, вот и написано им:

Сам не знаю, что это такое...
Я не верю вечности покоя!

Какая уж тут «вечность покоя», если тебя переносят — народу удобнее! — поближе к экскурсионным тропам.

Впрочем, мы забежали вперед...

В шестьдесят первом году написано Рубцовым и стихотворение «Добрый Филя»:

Мир такой справедливый,
Даже нечего крыть...
— Филя! Что молчаливый?
— А о чем говорить? —

где, пока на уровне вопроса, смутной догадки осознание собственной неустроенности и личной несчастливости начинает сливаться в стихах Рубцова с осознанием неустроенности общей русской судьбы.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Рубцовское время

Когда человек не втянут в мелкую, ничтожную суету, когда душа его раскрыта и он внимает звучащему для него Глаголу, жизнь приобретает особую точность, из нее исчезают невнятные паузы безвременья.

В первой половине лета 1962 года Николай Рубцов получает аттестат зрелости и завершает вместе с Борисом Тайгиным издание своей книжки «Волны и скалы»...

1

«В конце мая, — вспоминает Борис Тайгин, — Рубцов позвонил мне по телефону, мы уточнили день и час его прихода ко мне, и вот 1 июня 1962 года Николай Рубцов у меня дома! Он оказался простым русским парнем с открытой душой, и минут через 10 после его прихода мы беседовали, как старые друзья! Я включил свой магнитофон, и мы прослушали чтение поэтами своих стихов, которые у меня были ранее записаны на ленту. Я сказал Николаю, что решил записывать на магнитофонную ленту стихи своих друзей в авторском чтении и что, как мне кажется, через определенный отрезок времени такие записи будут представлять уникальную ценность! Он одобрил это начинание и

тут же сам зачитал мне на ленту десять своих стихов! Я также показал Николаю несколько машинописных книжечек, которые сам напечатал и переплел, и объяснил, что таким вот образом решил собирать совершенно необычную библиотеку современной поэзии, где авторы стихов — мои друзья, стихи которых я хотел бы иметь у себя! Эта мысль очень понравилась Николаю, и тогда я тут же предложил напечатать с помощью моей машинки подобие настоящего сборника стихотворений Николая Рубцова под редакцией самого автора! У Николая имелось с собой довольно много машинописных листков с его стихами, и мы, не откладывая дела в «долгий ящик», стали обсуждать, что из себя должна представлять такая книжка стихов. Николай набросал ориентировочный макет книжки...

Расстались мы в этот вечер добрыми друзьями. В свете нашего замысла об издании его книжки стихов Николай в скором времени обещал снова зайти ко мне. Я немедленно приступил к печатанию на машинке оставленной им подборки стихов, получая при этом настоящее эстетическое удовольствие, настолько стихи его были великолепны!»

В течение полутора месяцев Рубцов несколько раз приходил к Тайгину, принося новые стихи. Многие тексты по ходу составления книжки он переделывал.

В начале июля работа по созданию задуманной книжки подошла к концу.

В окончательном варианте в книжку вошло 38 стихов, разделенных на восемь тематических циклов: «Салют морю», «Долина детства», «Птицы разного полета», «Звукописные миниатюры», «Репортаж», «Ах, что я делаю», «Хочу — хохочу», «Ветры поэзии»...

Рубцов назвал свою книжку «ВОЛНЫ И СКАЛЫ», объяснив, что «волны» означают волны жизни, а «скалы» — различные препятствия, на которые человек натыкается во время своего пути по жизни. Стихи в книжке, говорил он, именно об этом, и лучше названия — это слова самого Николая Рубцова — придумать невозможно!

7 июля сборник был полностью перепечатан, и оставалось лишь переплести его. Николай весь этот вечер провел у Тайгина.

Внимательно перечитал все стихи.

Потом сказал, что хорошо бы написать несколько вступительных слов...

11 июля Рубцов принес текст, названный им — «От автора». В этом предисловии было много задора, даже нахальства, но еще больше застенчивости:

«Четкость общественной позиции поэта считаю необязательным, но важным и благотворным качеством, — писал Рубцов. — Этим качеством не обладает в полной мере, по-моему, ни один из современных молодых поэтов. Это характерный знак времени.

Пока что чувствую этот знак и на себе.

Сборник «ВОЛНЫ И СКАЛЫ» — начало. И, как любое начало, стихи сборника не нуждаются в серьезной оценке. Хорошо и то, если у кого-то останется об этих стихах доброе воспоминание».

И все-таки главное в предисловии то, что не сказано словами.

Главное — прощание с еще одним этапом собственной жизни... Рубцову и дорого то, что остается позади, и вместе с тем — он сам пишет так! — пока все пережитое и наработанное не нуждается в серьезной оценке.



Не случайно завершал сборник раздел «Вместо послесловия», состоящий из одного-единственно-го стихотворения...

Филя любит скотину,
Ест любую еду,
Филя ходит в долину,
Филя дует в дуду.

Мир такой справедливый,
Даже нечего крыть...
— Филя, что молчаливый?
— А о чём говорить?

13 июля весь тираж — шесть экземпляров! — лежал на письменном столе. Полугорамесчная ра-бота была завершена!

2

А время торопило Рубцова...

Очень плотно пошли события, и, взяв очередной отпуск, в середине лета Рубцов уезжает в Николу.

По дороге заезжает в Вологду.

Сохранилось его письмо, адресованное сестре:
«Гаяя, дорогая, здравствуй! Как давно я тебя не видел! Встречу ли еще тебя? Сейчас я у отца и у Жени. Проездом. Еду в отпуск, в Тотьму. До свидания...»

Письмо суматошное...

Чувствуется, что Рубцов чем-то очень взволнован. Возможно, волнение это было связано с от-цом.

Есть маленький домик в багряном лесу,
И отдыха нынче там нет и в помине:
Отец мой готовит ружье на лису
И вновь говорит о вернувшемся сыне...

Стихотворение «Жар-птица» 10 октября 1965 года впервые опубликовала газета «Вологодский комсомолец», но написано оно наверняка раньше, скорее всего еще в 1962 году.

Косвенным свидетельством этого служит не только «автобиографическая» строфа, но и образный строй, характерный для ленинградского периода:

Мотало меня и на сейнере в трюме,
И так, на пирушках, во дни торжества,
И долго *на ветках дорожных раздумий,*
Как плод, созревала моя голова.

И хотя несколько затянутый диалог:

— Стариk! А давно ли ты ходишь за стадом?
— Давно, — говорит. — Колокольня вдали
Деревни еще оглашала набатом,
И ночью светились в домах фитили.
— А ты не заметил, как годы прошли?
— Заметил, заметил! Попало как надо.
— Так что же нам делать, узнать интересно...
— А ты, — говорит, — полюби, и жалей,
И помни хотя бы родную окрестность,
Вот этот десяток холмов и полей... —

пока еще проигрывает афористической иронии «Доброго Фили», да и в голосе пастуха прорываются какие-то опереточные нотки, но появляются здесь и новые, еще не встречавшиеся в стихах Николая Рубцова мотивы.

Впервые здесь Рубцов говорит об отце как о живом человеке, которого не только *не убила на войне пуля*, но который сам *готовит ружье на лицу...*

Впервые любовь к родной земле, к Отчизне воспринимается здесь как средство спасения русского человека и своего собственного...

В стихотворении так много необычного для Рубцова стилевого разнобоя, что невольно закра-

дывается мысль, а не специально ли сохранены эти огрехи, как живая запись свершившегося с ним чуда, когда нелепой увиделась вокруг позиция «кривостояния», когда так просто:

...в прекрасную глушь листопада
Уводит меня полевая ограда,
И детское пенье в багряном лесу...

И когда прямо в руки слетает сказочная жартица поэзии...

3

Итак...

Выпуск первой, пусть и самодельной книжки, подытоживший длительный, растянувшийся на целое десятилетие поиск в поэзии своего Пути, своего голоса...

Примирение с отцом, поставившее точку в неразберихе отношений с ним...

Но это не все...

В конце июля 1962 года Николай Рубцов знакомится — во второй раз! — со своей будущей женой Генриеттой Михайловной Меньшиковой.

«Мы провожали в армию Владимира Аносова, — вспоминала она. — Был праздник. И вот в разгар праздника зашел невысокого роста лысый парень. Конечно, сразу обратила внимание — кто? Потом пошли в клуб, и там я узнала, что это Рубцов Коля.

Да, он был совершенно неузнаваем».

В рассказе самого Николая Рубцова, который приводит в своих воспоминаниях Нинель Старичкова¹, эта история излагалась несколько иначе:

«— Приехал я не к ней... Просто вспомнились родные места... В поселке встретил тетю Шуру.

¹ Нинель Старичкова. Наедине с Рубцовым; Нинель Старичкова. Русская земля. СПб, 2004. С. 127.

Я узнал ее. Она в детдоме у нас работала. Она тоже меня узнала. Пригласила к себе. И навестил. Там и Гета была, ее дочка.

Дальше Коля стал рассказывать, что приняли его очень хорошо. И Гета, и ее мама были к нему очень внимательны. Вечером тетя Шура сказала, что уйдет в другую деревню, что надо там рано утром косить сено.

Так Коля остался ночевать. И, естественно, они с Гетой стали близки.

— Утром просыпаюсь — тетя Шура и какие-то старухи за столом сидят. Получилось, что застали на месте «преступления». Стали принуждать жениться».

Но как бы то ни было, вскоре после отъезда Рубцова из Николы Генриетта Михайловна поехала следом за ним: устроилась почтальоном в городе Ломоносове под Ленинградом. Вместе с подругой она ездила в общежитие на Севастопольской, но Николая там уже не было...

Экзамены на аттестат зрелости, «издание» книжки, подытожившей долгий этап поисков самого себя, встреча с будущей женой, очередное примирение с отцом — события в жизни Рубцова плотно следуют друг за другом.

В Вологде Рубцов снова заехал к отцу.

Тот провожал его до вокзала и всю дорогу нес чемодан, а на вокзале купил бутылку вина и — ему категорически было запрещено пить — выпил на прощание.

Рубцов знал, что отец болен, но он не знал, что видит отца в последний раз...

Вернувшись в Ленинград, Рубцов нашел письмо из Литературного института. Его извещали, что он прошел творческий конкурс и приглашается для сдачи вступительных экзаменов.

4

Существует легенда, будто на вступительные экзамены Рубцов опоздал и его зачислили в институт без экзаменов. Однако документы «личного и учебного дела Рубцова Николая Михайловича»¹ в корне опровергают ее.

Экзамены Николай Рубцов сдавал в установленные сроки.

4 августа он написал на «четверку» сочинение, 6 августа получил «пятерку» по русскому языку и «тройку» по литературе, 8 августа — «четверку» по истории и 10 августа — «тройку» по иностранному языку. Отметки, конечно, не блестящие, но достаточно высокие, чтобы выдержать конкурс.

23 августа появился приказ № 139, в котором среди фамилий абитуриентов, зачисленных на основании творческого конкурса и приемных испытаний студентами первого курса, под двадцатым номером значилась и фамилия Николая Михайловича Рубцова.

Отметим тут, что хлопотать о поступлении в Литературный институт Николай Рубцов начал еще в 1961 году:

«Мне двадцать шестой год. Я русский, член ВЛКСМ. Самостоятельную жизнь начал с 1950 года, после выхода из детского дома, где воспитывался с первого года войны. Все это время работал, учился. Служил четыре года на Северном флоте... Последнее время работаю на Кировском заводе в Ленинграде... Начинаю сдавать экзамены за десятый класс в вечерней школе. Думаю, что сдам: не зря ведь я посещал ее два года! Желаю учиться на дневном отделении, на основном, в вашем институте. Могу

¹ Архив Литературного института им. А.М. Горького, опись № 1, арх. дело № 1735, связка № 116.

и на заочном. В другие институты не тянет, а учиться надо...»¹

Это письмо мы приводим еще и потому, что оно опровергает еще одну легенду о Рубцове...

Распространено мнение, что ни в какой вечерней школе Николай Михайлович не учился, а аттестат зрелости — находятся и свидетели, якобы присутствовавшие при этом! — был куплен на черном рынке.

И, наверное, и вспоминать об этих легендах не стоило бы, если бы мы не подозревали в авторстве их самого Рубцова.

Похоже, что о «купленном на черном рынке аттестате» Рубцов сам и рассказывал ленинградским приятелям, любившим вместе с ним читать вывески наоборот, как и о том, что в Литературный институт его приняли без экзаменов, только за один талант...

Разумеется, это не так...

Как мы и говорили, и в вечерней школе Николай Рубцов учился, и экзамены в институте сдавал.

И сдал успешно.

В конце августа, радостный, в приподнятом настроении, возвращается Рубцов в Ленинград, чтобы рассчитаться с заводом и выписаться из общежития.

Здесь и ожидало его письмо от отца, отправленное, видимо, вскоре после расставания...

«Здравствуй дорогой родной сыночек Коля! Первым долгом сообщаю что здоровье мое после твоего отъезда сильно ухудшается, почти ежедневные сердечные приступы, вызывали скорую помощь, сделают укол. Правда на время боли прекращаются, а потом опять. Это же медикаменты

¹ «Русский Север», 14 января, 1997.

которые пользы не дают. Дорогой Коленъка узнай пожалуйста можно или нет попасть к профессору хотелось бы на осмотр и консультацию. Неплохо бы попасть в больницу. Узнайте пожалуйста и отпишите мне какие надо документы и когда можно приехать. Привет от моей семьи твой отец М. Рубцов. 24.VII.62».

Никаких свидетельств о хлопотах Рубцова по поводу устройства отца на консультацию к профессору обнаружить не удалось. Впрочем, хлопоты все равно бы оказались не нужными...

29 сентября 1962 года Михаил Андрианович Рубцов умер от рака.

Николай Рубцов в этот день вернулся в Москву «с картошки».

5

На похороны он не смог выбраться, но на сороковой день ездил.

Сохранилась фотография — Николай Рубцов, низенькая тетка Софья Андриановна и высокая, светлоглазая мачеха Женя стоят над могилой Михаила Андриановича.

За спинами глухой кладбищенский забор.

На могильном холмике постелена белая салфетка. На ней ломти хлеба, металлический чайник с бражкой.

Все женщины на фотографии в платках.

Николай Рубцов стоит в пальто с поднятым воротником.

На голове шляпа...

Почему Николай Михайлович не обнажил голову перед могилой отца? Может, было — недавно прошел дождь, видно, что доски забора темны от сырости — холодно?.. А может, Николай Михайлович просто позабыл про шляпу?

Так или иначе, но Рубцов стоит над могилой отца с покрытой головой, и некому сделать ему замечание. Он на фотографии, если не считать малолетнего сводного брата, единственный мужчина...

И тут прямо с кладбищенской фотографии дорога в другой сюжет...

Альберта так и не сумели отыскать, чтобы сообщить о смерти отца...

По дороге в Вологду Николай Рубцов заезжал в Невскую Дубровку, но брата не нашел.

Валентина Алексеевна рассказала Николаю, что месяц назад решили они сходить в баню...

Она полотенца собирала, мочалки, мыло, а Альберт сказал:

— Пойду покурю на лестничной площадке...

Когда Валентина Алексеевна вышла позвать его — никого на лестнице не было. Валентина Алексеевна решила, что Альберт уже ушел в баню, отправилась туда. Но и в бане она не нашла Альберта. И домой он не вернулся...

— Целый месяц уже ни слуху ни духу. Может, на развод подать, Николай?

— Куда вам разводиться... — ответил Рубцов. — Вам детей надо вырастить.

— Так про детей и говорю... Алименты хоть получать будут...

— Не знаю...

Так, не разыскав Альберта, и приехал Николай Рубцов в Вологду.

Мачеха Женя устроила его спать в отдельной комнате.

Николай потом рассказывал, что долго не мог заснуть, ворочался, прислушиваясь к глухой вологодской тишине...

И вдруг раздался стук в окно... Явственно прозвучало: тук-тук-тук...



Рубцов вскочил, бросился к окну, но там никого не было.

До конца жизни не мог отделаться он от ощущения, что это умерший отец стучал тогда ночью в его окошко...

И все сильнее сжимается время, все плотнее — одно за другим! — события...

Еще до Вологды, как мы говорили, Николай Рубцов заезжал в Ленинград. Здесь, в общежитии, и узнал он, что Генриетта Михайловна разыскивала его.

— 25 октября у меня был день рождения... — вспоминает Генриетта Михайловна. — Я сидела одна в общежитии и грустно думала, что даже знакомых у меня нет здесь. И вдруг вызывают на вахту: «Тебя там молодой человек спрашивает...»

Генриетта Михайловна вышла и увидела Рубцова...

Тогда и узнал Николай Михайлович, что у него будет ребенок.

Смерть отца и известие о приближении собственного отцовства...

Вроде ничего особенного в этом совпадении нет.

Кроме того, что вдруг в корне меняется положение самого Рубцова. Смерть отца освободила его от «сиротского комплекса».

Но что же взамен?

Взамен Рубцов сам вдруг становится отцом, бросающим своего ребенка.

Это даже не ирония судьбы — это больше похоже на злобный смех тех потусторонних сил, голоса которых — вспомните «детское пенье в багряном лесу» — все ближе, все явственней различал Рубцов...



Рубцову, судя по воспоминаниям Генриетты Михайловны, в Ломоносове не понравилось.

Он приехал вечером, а утром уехал.

Они простились на ораниенбаумской платформе. Генриетта Михайловна купила — денег у Рубцова совсем не было! — билет на электричку до Ленинграда.

Было сыро.

В свинцовой дымке едва проступали вдалеке очертания Кронштадта.

Дул с залива холодный, пронзительный ветер. Летели на мокрый перрон последние листья.

Рубцов угрюмо сутулился.

— Я поеду... — сказал он, когда пришла электричка.

— А я?

— А ты... Ты, Гета, в Николу возвращайся... Чего тебе здесь делать?

Генриетта Михайловна это указание выполнила. Отработала положенный месяц и уехала назад в Николу, деревню, из которой она больше уже не уезжала никуда.

Устроилась работать в клуб на тридцать шесть рублей жалованья.

20 апреля, на Светлой седмице, 1963 года у Рубцова родилась дочка ...

Из Москвы тогда пришла в Николу телеграмма: «Назови Леной = Очень рад = Коля».

6

Но, рассказывая о смерти Михаила Андриановича, сдавшего в свое время в детдом Николая Рубцова, и превращении самого Николая Рубцова в не очень-то примерного отца, мы забежали вперед...



«С Тверского бульвара в низкое окно врывались людские голоса, лязганье троллейбусных дуг, шум проносящихся к Никитским воротам машин.

В Литинституте шли приемные экзамены, и все абитуриенты по пути в Дом Герцена заглядывали ко мне с надеждой на чудо. Человек по десять в день...» — так описывает жаркий августовский день 1962 года Станислав Куняев, работавший тогда заведующим отделом поэзии в журнале «Знамя».

И вот: «Заскрипела дверь. В комнату осторожно вошел молодой человек с худым, костиистым лицом, на котором выделялись большой лоб с залысинами и глубоко запавшие глаза. На нем была грязноватая белая рубашка: выглаженные брюки пузырились на коленях. Обут он был в дешевые сандалии. С первого взгляда видно было, что жизнь помотала его изрядно и что, конечно же, он держит в руках смятый рулончик стихов.

— Здравствуйте, — сказал он робко. — Я стихи хочу вам показать.

Молодой человек протянул мне странички, где на слепой машинке были напечатаны одно за другим вплотную — опытные авторы так не печатают — его вирши. Я начал читать:

Я запомнил, как диво,
Тот лесной хуторок,
Задремавший счастливо
Меж звериных дорог...

Я сразу же забыл... о городском шуме, влетающем в окно с пыльного Тверского бульвара. Словно бы струя свежего воздуха и живой воды ворвалась в душный редакционный кабинет...

Я оторвал от рукописи лицо, и наши взгляды встретились. Его глубоко запавшие махонькие глазки смотрели на меня пытливо и настороженно.



— Как Вас звать?

— Николай Михайлович Рубцов...»

К вечеру в редакцию зашел Анатолий Передреев, и Станислав Куняев показал ему стихи Рубцова.

— Смотри-ка... — сказал Передреев. — А я слышу — Рубцов, Рубцов, песни поет в общаге под гармошку. Ну, думаю, какой-нибудь юродивый...

Так и произошла счастливая и крайне важная для Николая Рубцова встреча с поэтами, которым суждено было сыграть большую роль в его писательской судьбе.

Как пишет Вадим Валерианович Кожинов, эти люди «дали возможность Николаю Рубцову быстро и решительно выбрать свой истинный путь в поэзии и прочно утвердиться на этом пути».

Вадим Кожинов вспоминает, что наибольшим успехом пользовались такие стихи Рубцова, как «Добрый Филя», «Осенняя песня», «Видения на холме». А в дальнейшем с таким же восторгом были встречены и «В горнице», «Прощальная песня», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...».

Что и говорить — попадание полное, стопроцентное.

Это было как прорыв безнадежности.

В Ленинграде ни малоталантливые стихотворцы, изображающие из себя рабочих и потому трущиеся на литературных объединениях рабочих окраин, ни литераторы, изображавшие из себя вторую литературную действительность, о трагедии русской деревни и всей русской жизни не только ничего не знали, но и не хотели знать. Полки в ленинградских магазинах не пустовали, и здешнюю передовую интеллигенцию больше волновали нападки Н.С. Хрущева на абстракционистов. Это после того известного выступления Хрущева, как утверждают многочисленные мемуаристы, и от-

шатнулась от Никиты Сергеевича наша прогрессивная интеллигенция, а отнюдь не тогда, когда, раскручивая новый виток геноцида русского народа, начал он наступление на нищую деревню, на нравственные основы жизни русского человека.

Нельзя сказать, чтобы в Москве ситуация принципиально отличалась. Но в «кружке московских поэтов» Рубцов наконец-то нашел свой круг общения, своего читателя, и то главное, что в Ленинграде «оценивалось жирными минусами оппонентов», оказалось услышанным, и это самое главное рванулось из Рубцова новыми, обжигающими стихами.

Поэт говорил о себе, о своей судьбе, но его судьба, словно бы вобравшая в себя сиротство, обездоленность и нищету советской России, и была судьбой страны, и, говоря о себе, говорил Рубцов то, что ему было назначено поведать.

Путь, на который, повинуясь призванию, вступил Николай Михайлович Рубцов, А.И. Солженицын называл невидимым...

Когда на тебя смотрят, когда ты оказываешься как бы на сцене общественного внимания, легче совершать подвиги или делать вид, что совершаешь их, срывая аплодисменты. Труднее идти своим путем, когда никто не видит тебя, когда пропадает путник в сумерках, сгущающихся над бескрайним полем. Но этот невидимый путь, хотя он самый трудный, — единственный, что ведет к Правде.

Сближение с кружком московских поэтов было важно для Рубцова и с практической точки зрения. Во многом именно благодаря дружбе с Вадимом Кожиновым главным стихам Рубцова удалось сравнительно быстро пробиться к читателю.

А это было нелегко.

Эстрадная поэзия была тогда в моде. Ее любили и московская интеллигенция, и сидельцы от идеологии из ЦК КПСС...

Однако, вопреки эстрадному поветрию, Вадим Кожинов сумел заинтересовать рубцовскими стихами Дмитрия Старикова. Когда тот стал заместителем главного редактора «Октября», Рубцов (с помощью, кстати сказать, Владимира Максимова) начал печататься в этом журнале. В «Октябре» были опубликованы: «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «Тихая моя родина...», «Звезда полей», «Русский огонек», «Видения на холме», «Памяти матери», «Добрый Филя».

Дружба с журналом не прерывалась и потом, и неоднократно в трудные минуты Николай брал от редакции командировки.

7

Конечно, сейчас можно оспаривать роль небольшого кружка московских поэтов в судьбе Николая Рубцова. Можно говорить, что он и так добился бы признания, но все же...

Как вспоминает Эдуард Крылов, признание таланта Рубцова в Литературном институте отнюдь не было безоговорочным, «поэты либо вовсе не признавали его, либо признавали с большими оговорками и отводили ему очень скромное место».

В справедливости этого утверждения убеждаешься, листая журнал семинарских занятий за 1963—1964 годы.

Напомним, что Николай Рубцов занимался в семинаре Николая Николаевича Сидоренко вместе с Г. Багандовым, Д. Монгушем, В. Куропаткиным, М. Шаповаловым, Г. Шуровым, В. Лякишевым, И. Шкляревским и А. Рябкиным.

29 октября 1963 года состоялось обсуждение стихов Николая Рубцова.

Он читал подборку из десяти стихотворений: «А между прочим осень на дворе...», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «На перевозе», «Ночь на перевозе», «Полночное пение», «В лесу под соснами», «Тихая моя родина», «Над вечным покоем», «Я забыл, как лошадь запрягают...».

Подборка, разумеется, неровная, но многим из перечисленных стихов предстояло войти в хрестоматии. Поэтому-то и интересно, как воспринимались эти стихи тогда, в октябре 1963 года...

Записи в журнале семинарских занятий, конечно, не стенограмма, но общий характер выступлений они передают...

Первым взял слово Газимбек Багандов.

— Если бы Рубцов работал над стихами больше, он обогнал многих бы из нас... — сказал он и в подтверждение своей мысли заявил, что многое из поэзии Рубцова ему близко. Хотя, конечно, имеются и недостатки... — Меня не удовлетворяют концовки в стихах... Вот стихотворение «Ворона». Для чего написано это стихотворение, о чем оно — я не понял. «Ворона» ничего людям не дает. «В конце отпуска...» Четвертая строфа, две последние строчки прозаичны, а до них были хорошие строчки, тем обиднее срыв... Почти всегда мысль, тогда когда она должна завершиться выводом, уходит в сторону, затихает... «Я буду скакать...» — хорошее стихотворение, где тоже не все ясно для меня, но ряд строчек, общая мысль — понятны. Очень жаль, что не все стихи сделаны до конца.

— То, что Рубцов талантлив, факт, — сказал В. Лякишев. — Но и восхвалять особенно нечего. Стихи хорошо сделаны, широк их диапазон. За стихами встает человек, совершенно ясного, определенно-

го характера. Грустный человек.. Перепевы или, вернее, повторы тем Александра Блока, Сергея Есенина...

А вот мнение Арсения Рябкина о стихах Рубцова:

— Меня удивляет, что тема «деревня», «родина» очень гнетуще написана... Ряд слов и образов не из того «словаря». Совмещение разных вещей... «Отрок» — «десантник», или в стихотворении «Я буду скакать» — звездная люстра? Это образ не из тех стихов. Рубцов сильно, крепко начинает стихотворение «Над вечным покоем», а дальше идут слабые строчки, нет законченной мысли...

И даже руководитель семинара Николай Николаевич Сидоренко, человек, в общем-то, профессионально чувствующий поэзию, не сумел понять всей необычности того семинарского занятия, на котором прозвучало сразу столько шедевров русской лирики.

Бегло похвалив Рубцова, он тут же заявил:

— Надо, чтоб поэтставил перед собой большие задачи с каждым стихотворением. Надо, чтоб грусть становилась просветленной. Вскрывать закономерности времени. Облик Родины все-таки меняется, это должно стать предлогом для больших обобщений, а не просто констатация фактов, пусть и в своей окраске впечатлений. В поэзии должна быть перспективность... Поэзия должна утверждать. Пусть с вами произойдет второе рождение!

Разумеется, непедагогично «захваливать» семинариста, но и пожелание автору стихов «Тихая моя Родина», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» второго рождения тоже не свидетельствует об особом педагогическом даре...

Когда перечитываешь записи, сделанные в дневнике семинарских занятий, отчетливо понимаешь,

что хотя и звучали на этих занятиях лучшие стихи Рубцова, их здесь не слышали.

«Стихи Рубцова, — подтверждает это Михаил Шаповалов, — поначалу на семинаре и в среде стихотворцев успеха не снискали. С благословения руководителя семинара Н.Н. они подвергались нападкам за «пессимизм», за «односторонность» изображаемого мира и тому подобное. Только со временем, когда стало известно, что в «Советском писателе» готовится к изданию книга Рубцова, Н.Н. изменил к нему свое отношение».

Не способствовал взаимопониманию с семинарскими сочинителями стихов и характер Николая Михайловича.

«Он был всяkim, но никогда не был ни вздорным, ни злым... — вспоминает Эдуард Крылов. — О поэзии и поэтах, как ни странно, говорить он не любил. К поэзии своих друзей — Анатолия Передреева, Станислава Куняева, Владимира Соколова, Глеба Горбовского — был снисходительным, ценя больше дружбу самих людей, чем их творчество. А вот другим не прощал ни малейшей слабости».

«Я искренне считал тогда, что так строго Рубцов судит чужие стихи только из-за того, что однажды постановил себе быть предельно честным, бескомпромиссным в литературе... — дополняет Крылова Анатолий Чечетин. — А теперь ясно другое — он судил коллег на уровне своего мастерства, своего таланта, а это было слишком высоко и непонятно для многих окружающих его людей...» (выделено мной. — Н.К.)

Перемена, произошедшая в Рубцове, реализовалась уже при составлении второго, к сожалению, неизданного сборника «Над вечным покоем».

Составляя его, Рубцов безжалостно — в Москву приехал с баулом, набитым стихами, — бракует

прежние сочинения, еще вчера казавшиеся интересными.

Судьба этого сборника неведома.

Кое-что сохранилось в частных архивах, но большинство, вероятно, погибло...

«Какое-то время мы жили с ним в одной комнате, — рассказывает Эдуард Крылов. — Стол его всегда был завален стихами, старыми и новыми, рукописными и отпечатанными на машинке. Я никак не мог понять, когда же он их пишет. Во всяком случае, ни разу не видел его «сочиняющим» стихи. Днем у него явно не было времени, вечерами мы шли к кому-нибудь в гости или к нам кто-нибудь приходил. Ложились всегда поздно, и утром я видел его еще обычно спящим...»

Уезжая на летние каникулы, Николай убрал свои бумаги в ящики письменного стола, а когда осенью вернулся, выяснилось, что в комнате делали ремонт, мебель вынесли — все письменные столы стояли в коридоре...

Своего стола Рубцов так и не нашел. Вероятно, ленинградский архив Николая Рубцова закончил существование в мусоропроводе или на складе макулатуры.

Впрочем, Рубцов не особенно и разыскивал пропавшие бумаги...

Он жил уже в другом времени и слышал уже другие стихи...

«Однажды, — пишет Эдуард Крылов, — я проснулся очень рано, в пятом часу, и вышел в коридор. Рубцов, в пальто с поднятым воротником, совершенно ушедший в себя, мерил шагами коридор...

Рубцов не сразу заметил Крылова, но когда увидел, остановил:

— Вот, послушай строчки.

И прочитал стихотворение «Плыть, плыть...».

Плыть, плыть, плыть
Мимо родной ветлы,
Мимо зовущих нас
Милых сиротских глаз...
Если умру — по мне
Не зажигай огня!
Весть передай родне
И посети меня.

Где я зарыт, спроси
Жителей дальних мест,
Каждому на Руси
Памятник — темный крест!

Потом Николай Рубцов переделает «темный» крест на «добрый», но едва ли это было сделано добровольно...

Если соотносить крест с рубцовской судьбой, которая обозначается в этом стихотворении как полупрозрение, полуопрочество, то, конечно же, крест этот был и тяжелым, и *темным*...

Пожив в Москве, Рубцов это различал совершенно ясно.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

По счету было «започено»

Рубцов поступил в Литературный институт, когда ему исполнилось двадцать шесть с половиной лет. Детдом, годы скитаний, служба на флоте, жизнь лимитчика-работяги...

Это осталось позади.

Впереди — неясно! — брезжил успех.

Пока же Рубцов был рядовым студентом.

О жизни Рубцова-студента написано столько воспоминаний, что порою трудно отделить правду от слухов, факты от домыслов, и волей-неволей приходится обращаться к архивным свидетельствам.

1

Свернешь с Тверского бульвара, пройдешь мимо памятника Герцену через двор, в дальний угол, к гаражу... Здесь, в полуподвале, находилось хранилище институтских документов.

Сразу за дверью — металлическая, выгороженная перильцами и оттого похожая на капитанский мостик площадка... Металлическая лестница ведет вниз, к стеллажам, на которых пылятся бесконечные папки и гроссбухи... Часть институтского архива была вообще не разобрана и свалена в соседней комнате прямо на пол. В этом канцелярском, зарастающем пылью море я искал я архивные свидетельства о Рубцове-студенте...

«Проректору Лит. института
от студента 1 курса Рубцова Н.

Объяснительная записка

Пропускал последнее время занятия по следующим причинам:

1) У меня умер отец. На три дня уехал поэтому в Вологду.

2) Взяли моего товарища Макарова. До этого момента и после того был занят с ним, с Макаровым.

3) К С. Макарову приехала девушка, которая оказалась в Москве одна. Несколько дней был с ней.

Обещаю не пропускать занятий без уважительных причин.

10. XII — 62 г. Рубцов»

Поверх записи резолюция:

«В приказ. Объявить выговор».

*«Ректору Литературного института
им. Горького
тov. Серегину И. Н.
от студента первого курса осн. отд.
Рубцова Н. М.*

Заявление.

Я не допущен к сдаче экзаменов, т. к. не сдавал зачеты.

Зачеты я не сдавал потому, что в это время выполнял заказ Центральной студии телевидения... Писал сценарий для передачи, которая состоится 9 января с. г.¹

¹ Сценарий «Новогодней сказки» был написан Рубцовым в соавторстве с А. Черевченко, и на долю Рубцова пришлось 37 рублей 50 копеек гонорара.

Прошу Вас допустить меня к экзаменам и сдаче зачетов в период экзаменационной сессии.

7. I — 63 г. Н. Рубцов»

Резолюция:

«В учебную часть. Установить срок сдачи зачетов 15 января. Разрешаю сдавать очередные экзамены».

*«Ректору Литературного института им. Щркого тов. Серегину
от студента 1 курса Рубцова Н.*

Объяснительная записка

После каникул я не в срок приступил к занятиям. Объясняю, почему это произошло. Каникулы я проводил в отдаленной деревне в Вологодской области.

Было очень трудно выехать оттуда вовремя, п.к. транспорт там ходит очень редко.

Причину прошу считать уважительной.

25. 2. 63 г. Н. Рубцов»

Резолюция:

«В учебную часть. Принять к сведению объяснения т. Рубцова».

Приведенные мною объяснительные записки и заявления студента Рубцова несколько не соответствуют образу бесшабашного поэта, который эпиграммы авторы некоторых воспоминаний.

Вспоминают, например, что в руки ректора Ивана Николаевича Серегина попала веселая эпиграмма Рубцова на самого себя:

*Возможно, я для вас в гробу мерцаю,
Но заявляю вам в конце концов:
Я, Николай Михайлович Рубцов,
Возможность трезвой жизни отрицаю.*



Иван Николаевич вызвал Рубцова...

— Это ваше заявление, Рубцов?

— Да...

— Коля! — с сожалением посмотрел на Рубцова Серегин. — Это же мальчишество!

Рубцов молчал.

Серегин тяжело вздохнул.

— Иди... — сказал он.

Эти воспоминания записаны со слов самого Николая Михайловича Рубцова, и бесспорно, что некая рубцовская «редактура» события тут наличествует. И, безусловно, этот трансформированный в легенде облик более точно отражает состояние души автора «Тихой моей Родины», «Прощальной песни», нежели ставящие двадцатисемилетнего поэта в унизительное положение выкручивающиеся школьара объяснительные записи.

Хотя...

Ведь и эти заявления, и объяснительные записи — истина.

Та горькая истина, о которой исследователи творчества Рубцова и авторы воспоминаний стараются почему-то не думать...

2

В архиве Литературного института хранится объемистый фолиант, озаглавленный «Лицевые счета студентов на буквы Н-Э» за 1963 год. Страница номер тридцать два в этом фолианте посвящена анализу материального достатка студента Рубцова.

Записи по-бухгалтерски немногословны и содержательны: «19 января 1963 выплачена Рубцову стипендия 22 рубля. Удержано 1 руб. 50 коп.».

То же самое в феврале, марте, апреле, мае 1963 года...

Жить на такие деньги в Москве было трудно.

И не разобрать, чего больше — юмора или горечи? — в рассказе Александра Черевченко, вспоминавшего, как Рубцов, вернувшись из института, долго лежал по своему обыкновению прямо в пальто на койке, а потом вдруг неожиданно спросил:

— Саша... А зачем тебе два пиджака?

Подумав, Черевченко решил, что второй пиджак ему и впрямь ни к чему.

Тут же пиджак был продан. На выручку купили две бутылки вина, кулек жареной кильки, батон, пачку чая и конфеты-подушечки. Был пир.

Однако вернемся снова к лицевым счетам...

25 июня 1963 года Рубцов получил аж 66 рублей — стипендию сразу за три летних месяца. Что и говорить, 62 рубля 50 копеек — три с половиной рубля составили удержания! — немалые деньги для взрослого, имеющего ребенка мужика.

С этими деньгами и уехал Рубцов в деревню.

А когда вернулся назад, опоздав на занятия, — он задержался в Николе, собирая клюкву, чтобы купить билет, — приказом № 157 его лишили сентябрьской стипендии, и в сентябре Рубцов не получал ничего...

Точно так же, как и в ноябре...

Ну, а вскоре его вообще отчислили из института...

Всего же, как свидетельствует бесстрастный бухгалтерский документ, за полтора года учебы на дневном отделении Рубцов получил чуть больше двухсот рублей — примерно столько же, сколько он получал на Кировском заводе в месяц.

Конечно, в общежитии Литинститута нищета переносилась легче, но двадцать семь лет слишком большой возраст, чтобы не замечать ее.

В московских друзьях Рубцова раздражало, что они специально приводят своих знакомых посмотреть на него.

Как в зверинец...

Сравнение это принадлежит самому Николаю Рубцову.

Как вспоминает Александр Черевченко, в общежитие частенько приходили «кружковцы», иногда задерживались на несколько дней, пили. Погуляв в не обремененной никакими заботами о быте общаге, они уезжали в свою достаточно благоустроенную жизнь. Припомнить, чтобы кто-нибудь приглашал Николая Рубцова к себе домой, Черевченко не сумел...

Делали так москвичи, разумеется, не специально, просто у каждого из них было слишком много проблем с родителями, с родными, чтобы водить гостей из общежития, а главное, за плечами Рубцова была совершенно другая жизнь, и груз этот невозможно было сбросить вместе с пальто в прихожей московской квартиры, опыт этой русской жизни непреодолимой преградой вставал на пути к сближению. У всех были свои пути, у Николая Михайловича Рубцова — тоже свои.

Об этом в шутку — в шутку? — и писал Николай Рубцов в 1962 году в своих апокрифических стихах:

Куда пойти бездомному поэту,
Когда заря опустит алый щит?
Знакомых много, только друга нету,
И денег нет, и голова трещит.

Очень точно передано состояние Николая Рубцова в воспоминаниях Бориса Шишаева.

«Когда на душе у него было смутно, он молчал. Иногда ложился на кровать и долго смотрел в потолок... Я не спрашивал его ни о чем. Можно было и без расспросов понять, что жизнь складывается у него нелегко. Меня всегда преследовало впечатление, что приехал Рубцов откуда-то из неуютных

мест своего одиночества. И в общежитии Литинститута, где его неотступно окружала толпа, он все равно казался одиноким и бесконечно далеким от стремлений людей, находящихся рядом. Даже его скромная одежда, шарф, перекинутый через плечо, как бы подчеркивали это.

Женщины, как мне кажется, не понимали Николая. Они пели ему дифирамбы, с ласковой жалостью крутились вокруг, но когда он тянулся к ним всей душой, они пугались и отталкивали его. Во всяком случае те, которых я видел рядом с ним. Николай злился на это непонимание и терял равновесие».

Однокурсники, жившие с Рубцовым в одной комнате общежития, вспоминают, что Рубцов знал много страшных историй про ведьм и колдунов и часто рассказывал их по ночам.

Рассказывал глуховатым голосом.

Против окна качалисьочные фонари, тени ползали по потолку, и легко было представить их ожившими силами зла — настолько яркими и жуткими были рубцовские истории. Порою однокурсники не выдерживали, вскакивали и быстро включали свет.

Рубцов в эти минуты хохотал...

Конечно, он сам испытывал судьбу, сам из озорства вызывал из сумерек злых духов ночи. В его стихах навязчиво повторяются одни и те же образы ведьмовских чар.

Иногда, как, например, в стихотворении «Сапоги мои — скрип да скрип», шутливо:

Знаешь, ведьмы в такой глупи
Плачут жалобно.
И чаруют они, кружка,
Детским пением,
Чтоб такой красотой в тиши
Все дышало бы,

Будто видит твоя душа
сновидение.
И закружат твои глаза
Тучи плавные
Да брусличных глухих трясин
Лапы, лапушки...

Но чаще и с каждым годом все грознее и неотвратимее уже не в озорном воображении, не в глубинах подсознания, а почти наяву возникали страшные видения:

Кто-то стонет на темном кладбище,
Кто-то глухо стучится ко мне,
Кто-то пристально смотрит в жилище,
Показавшись в полночном окне...

И все это — и пугающая самого Рубцова чернота, и отчаянная нищета, и понимание необходимости, неизбежности своих стихов — сплеталось в единый клубок. И как результат — срывы, те выпивки, о которых так часто любят вспоминать теперь. Конечно, ничего особенно страшного в этих выпивках не было, и, безусловно, другому человеку они бы сошли с рук. Но не Рубцову...

Ему ничего не прощалось в этой жизни.

За все он платил, и платил по самой высокой цене...

3

Как вспоминает Валентин Сафонов, сам факт существования Литературного института был по нраву далеко не всем. В качестве доказательства он приводит высказывание, сделанное Ильей Григорьевичем Эренбургом в 1963 году в частной беседе со студентами Литературного института.

— Горький, который в течение всей своей жизни очень многое делал для развития пролетарской литературы, в последние годы стал ей вредить, —

глубокомысленно изрек тогда Илья Григорьевич. — Самой крупной его диверсией было создание Литературного института...

Илья Григорьевич не обладал властью, достаточной для того, чтобы поправить «ошибку» Горького.

Однако нашлись люди, имеющие этой власти в избытке.

В июне 1963 года Литинститут, вернее, очное его отделение было закрыто. Набор очников на новый учебный год отменили. Но уже учащихся студентов пожалели — решили довести до диплома.

— Нам, выходит, повезло, мы — последние из могикан, — грустно констатировал переваливший на второй курс Николай Рубцов.

Сам по себе этот факт, казалось бы, к Рубцову имеет лишь опосредованное отношение, как и к остальным студентам Литинститута.

Но так только кажется...

Если вдуматься в мысль Ильи Григорьевича Эренбурга, то нетрудно понять, что, будучи чрезвычайно неглупым человеком, диверсией против пролетарской литературы он считал не весь Литературный институт, а только отдельных его представителей, ну, например, таких, как Рубцов...

И это их, в соответствии с руководящими указаниями Ильи Григорьевича, и следовало вычистить из института в первую очередь...

Нет-нет... Конкретно, по поводу Рубцова Илья Григорьевич Эренбург, разумеется, никаких распоряжений не делал. Едва ли он вообще знал о его существовании...

Речь шла о принципе...

Так сказать, о самой постановке вопроса... В центре Москвы происходила диверсия против пролетарской литературы... Советская литература теряла



из-за разных деревенщиков свою интернациональную чистоту... Необходимо было, как указывал Илья Григорьевич, пресечь эту шовинистическую вылазку в самом зародыше.

Впрочем, ни Рубцов, ни его товарищи-однокурсники и не догадывались тогда о надвигающейся опасности...

«Как-то теплым утром раннего лета мы с Эдиком и Колей решили пойти в Останкино покататься на лодке, — вспоминает Анатолий Чечетин. — К нашей компании присоединились еще ребята. Взяли две лодки. Катались по сравнительно небольшому прудику, веселись и радуясь солнцу, теплу, молодой нежной зелени вокруг. Сняли рубашки, брызгались водой, догоняли друг друга, брали на абордаж лодку с тремя девушками, работницами молокозавода, опять хохмили, смеялись — отдыхали как-то сообща, живо и непринужденно...

Признаться, я никак не думал, что такой хорошей получится прогулка. Я наблюдал за Колей, как он подставляет лицо лучам солнца, как любуется гармонией дворца и леса, как он чуть деликатнее других по отношению к девушкам, хотя грубости и хамства никто из наших, разумеется, не допускал.

Коля был в белой рубашке с приподнятым воротником, какой-то по-домашнему умытый и обласканный добрым-добрым утренним весенним теплом. И о том, что эта прогулка наша — редкостный подарок судьбы, такого может не случиться больше никогда, подумалось мне в ту пору. Уверен, что и другие ребята, каждый по-своему и в определенный момент встречи, не могли не почувствовать, что в лодке среди нас есть тот, душе которого тяжелее всех нести бремя судьбы, но зато ему уготована необычайнейшая, редко на долю смертного выпадающая долгая-долгая жизнь...»

4

Лето 1963 года Рубцов провел в Николе...

О его жизни там некоторое представление дает письмо, адресованное Борису Абрамовичу Слуцкому...

«Дорогой Борис Абрамович!

Извините, пожалуйста, что беспокою.

Помните, Вы были в Литинституте на семинаре у Н. Сидоренко? Это письмо пишет Вам один из участников этого семинара — Рубцов Николай.

У меня к вам (снова прошу извинить меня) просьба.

Дело в том, что я заехал глубоко в Вологодскую область, в классическую, так сказать, русскую деревню. Все, как дикие, смотрят на меня, городского, расспрашивают. Я здесь пишу стихи и даже рассказы. (Некоторые стихи посылаю Вам — может быть, прочтаете?)

Но у меня полное материальное банкротство. Мне даже не на что выплыть отсюда на пароходе и потом — уехать на поезде. Поскольку у меня не оказалось адресов друзей, которые могли бы помочь, я решил с этой просьбой обратиться именно к Вам, просто как к настоящему человеку и любимому мной (и, безусловно, многими) поэту. Я думаю, что Вы не сочтете это письмо дерзким, фамильярным. Пишу так по необходимости.

Мне нужно бы в долг рублей 20. В сентябре, примерно, я их верну Вам.

Борис Абрамович! А какие здесь хорошие люди! Может быть, я идеализирую. Природа здесь тоже особенно хорошая. И тишина хорошая. (Ближайшая пристань за 25 км отсюда.)

Только сейчас плохая погода, и она меняет всю картину. На небе все время тучи.

Междуречим, я здесь первый раз увидел, как младенцы улыбаются во сне, таинственно и ясно. Бабки говорят, что в это время с ними играют ангелы...

До свидания, Борис Абрамович»...

Не так уж и трудно сообразить, почему придушенный нуждой Рубцов решил обратиться с просьбой о помощи к Борису Слуцкому.

«Руководитель нашего творческого семинара поэт Николай Сидоренко пригласил на одно из занятий поэта Бориса Слуцкого... — вспоминает однокурсник Николая Рубцова Александр Черевченко. — Я прекрасно знал, что Коля относится к его творчеству с прохладцей. Но когда Борис Абрамович стал по очереди поднимать участников семинара и спрашивать, кто их любимые поэты, Рубцов назвал его имя наряду с именами Тютчева, Фета и Баратынского. Коля знал, что именно Слуцкий через своего друга Асеева вывел на поэтическую орбиту Куняева и Передреева. Однако бывшего политрука провести было трудно. Он разгадал маленькую хитрость Рубцова, о котором был, вероятно, наслышан, и лесть осталась без желаемых последствий».

Бывшего политрука Николаю Рубцову не удалось провести и на этот раз.

Слуцкий и в поэзии хорошо разбирался, а в том, какая поэзия нужна советскому обществу, разбирался еще лучше.

Уместно будет напомнить тут, что продвигаемый им Станислав Куняев писал тогда стихи про добро, которое должно быть с кулаками, и это импонировало Слуцкому куда сильнее, чем ангелы, играющие во сне с детьми...

Денег Рубцову Борис Абрамович, разумеется, не послал, но письмо сохранил, и за это ему, конечно,

великое спасибо... В этом письме есть поразительные слова о том, что у Рубцова нет *адресов друзей, которые могли бы помочь...*

Какое страшное признание!

Как горько было осознавать это самому Рубцову!

Тем более когда все небо для него затянули грозовые тучи...

Осень 1963 года помимо новых стихов принесла Рубцову серьезные неприятности.

Впрочем, поначалу Рубцов как бы и не замечает их. Да ничего ведь и не изменилось... Просто жестче стали дисциплинарные меры.

То, что сходило с рук раньше, что прощалось еще год назад, теперь неизбежно каралось.

Вот выписка из приказа № 157 от 24 сентября 1963 года:

«§ 2. За пропуски занятий по неуважительным причинам снять со стипендии на сентябрь месяц следующих студентов:

2. Рубцова Н. — 2-й курс».

А вот выписка из приказа № 203 от 22 ноября 1963 года:

«§ 4. Студента 2-го курса тов. Рубцова Н. М. снять со стипендии на ноябрь месяц за пьянки и систематические пропуски занятий без уважительных причин».

И словно итог — приказ по Литературному институту им. Горького № 209 от 4 декабря 1963 года:

«3 декабря с.г. студент 2-го курса Рубцов Н. М. совершил в Центральном Доме литераторов хулиганский поступок, порочащий весь коллектив студентов Литературного института.



Учитывая то, что недавно общественность института осудила недостойное поведение Рубцова Н. М., а он не сделал для себя никаких выводов, исключить за хулиганство с немедленным выселением из общежития.

*Проректор Литературного института
А. Мигунов».*

Есть какая-то жесткая и неумолимая логика в чедре этих приказов...

Нет-нет! Смешно было бы утверждать, что Рубцов не пил и вел себя примерно и тихо.

Увы... И пил... И бузил...

Но не следует забывать и того, что пили и бузили в Литературном институте многие. И, разумеется, администрация института не испытывала никакого восторга по поводу этих пьянок и время от времени принимала меры...

Однако, судя по папке с приказами за вторую половину 1963 года, никто не карался так строго, как Рубцов.

Так, может быть, скандалы Рубцова отличались каким-то особым размахом?

Нет... Судя по воспоминаниям тогдашних студентов Литинститута, некоторые гуляли и покруче Николая Рубцова, тем более что у них иногда появлялись деньги, на которые можно было погулять...

Тогда откуда же систематическое, отчасти смахивающее на травлю преследование? Откуда это уже почти совсем мстительное: «исключить... с немедленным выселением из общежития»?

Ведь для большинства студентов выселение из общежития значило лишь разлуку с Москвой. Для Рубцова это было полной катастрофой, ибо никакой иной, кроме как в общежитии, жилплощади он не имел. И кто-кто, а администрация института прекрасно была осведомлена об этом обстоятельс-

тве. В личном деле подшит тетрадный листок в косую линейку, на котором Николай Рубцов изложил всю свою биографию.

Помимо автобиографии были в деле Рубцова и выписка из трудовой книжки, и сверенная с паспортом анкета... Так что проректор А. Мигунов, подписывавший роковой для Рубцова приказ, очень хорошо знал, что значит для него «немедленное выселение из общежития».

Возможно, со временем, когда будут опубликованы дополнительные свидетельства и материалы, прояснятся все детали этого рокового в жизни Рубцова события, но и сейчас уже можно восстановить в целом историю первой попытки изгнания поэта из института.

Итак... 3 декабря 1963 года Николай Рубцов совершил «хулиганский поступок», а уже 4 декабря — вот ведь оперативность! — его отчислили из института.

«Приказ об исключении Рубцова, — вспоминает Валентин Сафонов, — вывесили на доску незамедлительно, и в железно продуманных его формулировках действительно фигурировали слова «драка» и «избил».

— Дебошир со стажем! — сказал о Николае Рубцове один из старейших преподавателей. И тут же этот специалист по Достоевскому предложил привлечь поэта к уголовной ответственности.

«Только нам-то, студентам, — вспоминал Валентин Сафонов, — не верилось, что тщедушный, полуголодный и, главное, не терпящий никаких драк Коля Рубцов мог осилить дюжего дядю, немало и с пользой для себя потрудившегося на ниве литературного общепита.

Начали собственное расследование.

Выяснилось, что содержание приказа, мягко говоря, противоречит истине.



Дело было так. В одном из залов Дома литераторов заседали работники народа, скучая, внимали оратору, нудно вещавшему с трибуны о том, как следует преподавать литературу в средней школе. Колю, проникшего в ЦДЛ с кем-то из членов Союза, у дверей этого зальчика задержало врожденное любопытство. Так и услышал он список рекомендуемых для изучения поэтов. Сурков, Уткин, Щипачев, Сельвинский, Джек Алтаузен... Список показался ему неполным.

— А Есенин где? — крикнул Рубцов через зал, ошарашивая оратора и слушателей. — Ты почему о Есенине умолчал? По какому праву?

Тут и налетел на Колю коршун в обличье деятельности из ресторана, ухватил за пресловутый шарфик, повлек на выход... Рубцов, задыхаясь от боли и гнева, попытался оттолкнуть «интенданта», вырваться из его рук.

— Бью-уг! — завопил метрдотель.

Подскочила прислуга. При своих, что называется, свидетелях составили протокол, который и лег в основу грозного приказа об исключении».

Ректором Литературного института тогда был И.Н. Серегин.

В памяти многих студентов осталось его худое, изможденное лицо. Серегин был неизлечимо болен. Диагноз: белокровие, рак крови...

Мы уже говорили, что к Николаю Рубцову Серегин относился хорошо, и, перелистывая выписки из приказов, вшищие в дело Рубцова, можноувидеть, что наиболее жестокие кары обрушаются на голову Николая Михайловича как раз в отсутствие Серегина.

К счастью для Николая Рубцова, в декабре Литературный институт отмечал свой тридцатилетний юбилей...

К юбилею вернулся из больницы И.Н. Серегин.

Его ли это заслуга или товарищей-студентов, установить трудно, но «дело» Рубцова решено было рассмотреть на товарищеском суде, который состоялся 20 декабря.

Суд (председательствовал на этом суде преподаватель истории КПСС, бывший секретарь Сталинградского обкома ВКП(б) тов. Водолагин. — Н.К.) после унизительного для Рубцова разбирательства все же вошел «в ректорат института с предложением о восстановлении т. Рубцова в правах студента и о наложении на него за совершенный проступок строгого административного взыскания с последним предупреждением».

21 декабря Рубцов написал заявление на имя И.Н. Серегина: «Учитывая решение товарищеского суда, прошу восстановить меня студентом института».

И 25 декабря И.Н. Серегин подписал приказ № 216.

«В связи с выявленными на товарищеском суде смягчающими вину обстоятельствами (выделено мной. — Н.К.) и учитывая раскаяние тов. Рубцова Н.М., восстановить его в числе студентов 2-го курса.

Объявить ему строгий выговор с предупреждением об отчислении из института в случае нового нарушения моральных норм и общественно-трудовой дисциплины».

Мы уже говорили, что Иван Николаевич был неизлечимо больным человеком. Но надо сказать, что в отличие от многих других администраторов Литературного института он был еще и порядочным человеком.

Тот же Александр Черевченко вспоминает, что, отчаявшись из-за притеснений А. Мигунова (тот

не стеснялся даже устраивать обыски в комнатах общежития), уехал он домой в Харьков, плюнув на институт, и здесь через два месяца его разыскал посланец ректора. Он передал Александру Черевченко записку И.Н. Серегина: «Саша! Напиши заявление о переводе на заочное. Через неделю я ложусь в больницу, и оттуда меня уже не выпустят».

Вот и Рубцова Иван Николаевич Серегин спас.

Хотя, если судить здраво, ничего особенного он не сделал. Ведь Литературный институт и задумывался его создателями как особое учебное заведение. Контингент учащихся был невелик и весьма специфичен. Возраст однокурсников Рубцова колебался от двадцати до тридцати лет. За спиной у каждого был свой немалый жизненный опыт, и единых мерок для всех не могло быть.

При И.Н. Серегине и не было единых мерок.

В институте царила почти домашняя обстановка. Во всяком случае, гнев начальства легко смягчался, ошибка исправлялась. Так произошло и с Рубцовым. Кара за него, рядовые для студента Лит-института, прегрешения оказалась слишком суровой, и И.Н. Серегин, возвратившись ненадолго в институт, исправил ошибку.

Но так было при И.Н. Серегине. Он спас Рубцова и снова лег в больницу.

Теперь спасать Рубцова стало некому.

5

И снова удивляешься, как точно совпадает судьба Николая Рубцова с историей страны.

В начале шестидесятых ужесточается общая обстановка в стране...

Прежние полулиберальные отношения уходят из оборота. Каждый конкретный человек становится интересным для системы не своей непов-

торимой человеческой сущностью, а лишь как исполнитель определенной социальной роли.

В разных учреждениях это проходило по-разному и в разное время.

В Литературном институте процесс бюрократической унификации студентов совпал с последними месяцами работы в институте И.Н. Серегина.

Новую институтскую администрацию Николай Рубцов не устраивал уже потому, что не умел в нужную минуту сделаться незаметным, выпирал из любых списков и реестров.

Нет, он не был каким-то там бунтарем... Просто, если обычного дебошира можно было все-таки как-то приструнить, то случай с Рубцовым оказался тяжелее. Никакие нравоучения, никакие собеседования не могли помочь ему преодолеть безнадежную нищету и неустроенность...

Зловещею птицей промелькнула в это время в судьбе Николая Михайловича Рубцова его будущая убийца.

В конце апреля, на Страстной седмице 1964 года, она возвращалась из отпуска в Воронеж.

«Со мной, — пишет она, — было несколько поллитровых банок хмельного деревенского пива, которое варил к 1 Мая отец. Мне хотелось угостить одну знакомую московскую семью, но их не оказалось дома.

Почему-то я вспомнила про Рубцова и позвонила ему в общежитие. Он случайно оказался дома.

Мы встретились.

Он неприятно поразил меня своим внешним видом. Стало ясно, почему он оказался дома. Один его глаз был почти не виден, огромный, фиолетовый «фингал» затянул его, несколько ссадин красовалось на щеке. На голове — пыльный берет, старенькое вытертое пальтишко неопределен-

го цвета болталось на нем. Я еле пересилила себя, чтобы не повернуться и тут же не уйти. Но *что-то* (здесь и дальше выделено мной. — Н.К.) меня остановило...

В гостинице он сидел у окна и медленно, с наслаждением глотал пиво. Мне было как-то неуютно, тревожно, я часто выбегала в коридор, а возвратившись, неестественно много болтала о каких-то пустяках. А все это шло оттого, что я боялась, чего-то боялась. *Я боялась, что, не дай Бог, Рубцов заговорит о чувствах. Товарищ — да, друг — да, но не более!*

Не более... Чрезвычайно важно запомнить, что Д. с самого начала знакомства относилась к Рубцову весьма и весьма оскорбительно для него...

«Ни каких свойств, — писала она, — присущих мужчине, настоящему мужчине, мне казалось, в нем не было».

Признание потрясающее...

В конце шестидесятых, как мы знаем, пересилить это отношение к Рубцову как к *ненастоящему мужчине* или, по крайней мере, замаскировать его помогло Д. желание погреться в лучах растущей славы Рубцова, но в 1964 году никакой славы не было и в помине, и Д. выпустила поэта из своих цепко-когтистых рук...

Так же, как Д., Николая Михайловича Рубцова воспринимали многие.

Он все время с какой-то удручающей последовательностью раздражал почти всех, с кем ему доводилось встречаться.

Раздражал одноглазого коменданта общежития, прозванного Циклопом...

Раздражал официанток и продавцов, преподавателей института и многих своих товарищей...

Раздражало в Рубцове несоответствие простоватой внешности с тем сложным духовным миром, который он нес в себе...

Раздражение в общем-то понятное.

Недоброжелатели Рубцова ничего бы не имели против, если бы Николай Михайлович по-прежнему служил на кораблях Северного флота, вкалывал бы на заводе у станка или в колхозе. Или вообще сидел бы где-нибудь *в темном коридоре*...

Это, по их мнению, и было *его* место.

Но Рубцов околачивался в столичном граде, учился в довольно-таки престижном институте, проникал даже — ну, посудите сами, разве это не безобразие?! — в святая святых, в Центральный Дом литераторов.

Разумеется, люди покрупнее, поопытнее понимали, *кто* такой Рубцов, но таких людей в окружении поэта было немного, и новая администрация Литературного института не относились к их числу.

6

То, что произошло с Рубцовым в июне 1964 года, настолько невероятно, что любой пересказ будет выглядеть как грубая ложь. Поэтому я и вынужден воспроизвести здесь тексты документов, которыми была нагружена покатившаяся на Николая Михайловича Рубцова «телега».

Напомню только, что Рубцов успешно сдал весеннюю сессию за второй курс и, как явствует из приказа № 101 от 22 июня 1964 года, был переведен на третий курс.

Аттестуя его, поэт Н.Н. Сидоренко дал ему на этот раз блестящую характеристику: «Если бы вы спросили меня: на кого больше всех надежд, отве-

чу: на Рубцова. Он — художник по организации его натуры, поэт по призванию».

Уместно будет напомнить здесь, что крупные подборки стихов Николая Рубцова уже были за-верстаны в журналах «Юность» и «Октябрь».

И вот...

«Гл. администратору ЦДЛ от метрдометеля ресторана.

Докладная записка

Довожу до Вашего сведения, что 12 июня 1964 г. трое неизвестных мне товарищей сидели за столиком на веранде, который обслуживала официантка Кондакова. Время уже подходило к закрытию, я дал распоряжение рассчитываться с гостями. Официантка Кондакова подала счет, тогда неизвестные мне товарищи (здесь и дальше выделено мной. — Н.К.) заявили официантке, что они не будут платить, пока им не дадут еще выпить. Официантка обратилась ко мне, я подошел и увидел, что товарищи уже выпивши, сказал, что с них довольно и пора рассчитаться, на что они опять потребовали водки или вина, тогда я обратился к дежурному администратору, которая вызвала милицию. Когда приехала милиция и попросила, чтобы они уплатили, — один из них вынул деньги и сказал — «деньги есть, но платить не буду, пока не дадут водки». Время было уже 23.30, и буфет закрыт.

После долгих уговоров один из них все же рас-считался, и они были вытровожены из ЦДЛ.

16. VI.64 Казенков».

Эта докладная записка заверена круглой печа-тью Центрального Дома литераторов...

Вот такой документ...

Составлен он был четыре дня спустя после проишествия, когда дело об очередном «дебоше» Рубцова уже закрутилось вовсю, и, следовательно, у нас нет никаких оснований предполагать, что метрдотель Казенков скрывает какие-то иные «хулиганские» действия посетителей, кроме тех, что указаны в докладной.

Поэтому-то и позволяет его «Записка» почти с документальной точностью восстановить все детали «недостойного поведения» Рубцова в тот вечер.

Рубцов вместе с двумя товарищами (имена их так и остались неизвестными) после экзамена по советской литературе зашел в ЦДЛ — «отдохнуть», как напишет он в объяснительной записке.

Сели за столик, заказали какую-то еду, бутылку вина.

После пересчитали свои рублевки и трешки и решили заказать еще выпивки. В принципе, кроме того, что пить вообще вредно, ничего криминального, ничего особенного в их поведении не прослеживается...

И вероятно, ничего примечательного и не произошло бы в тот вечер, если бы не обладал Рубцов, как мы уже отмечали, прямо-таки удивительной способностью раздражать обслуживающий персонал, даже если и вел себя тихо и скромно.

Феномен этот можно объяснить только особой холуйской безжалостностью разных администраторов и официантов к слабому. Опытным, натренированным взглядом они сразу различали, что здесь, за столиком в ресторане, Рубцов не на своем месте, что **здесь он не свой** человек.

Эти жидаенькие прядки волос, этот заношенный пиджак...

У Рубцова даже подходящей одежды не было, чтобы укрыться со своей русской беззащитно-



стью от безжалостного, пронизывающего взгляда. А коли беззащитен — в этом и заключается холуйская психология! — значит, на нем и можно сорвать накопившееся за день раздражение.

Разумеется, набегавшуюся за день официантку Клаву Кондакову, красивые глаза которой и многие десятилетия спустя вспоминали посетители цедээловского ресторана, можно понять.

Уставшая, задерганная, Клавочка все чаще раздраженно косилась на столик, за которым пересчитывали измятые рублевки молодые люди — явно не богатые, явно не влиятельные.

Нет! Клавочку раздражали и другие клиенты, но это — *известные люди*, им, пересиливая раздражение, она была обязана улыбаться, чтобы не нарваться на неприятность, там приходилось делать вид, будто тебе самой доставляет удовольствие угождать им...

И от этого еще сильнее становилось раздражение против этих троих, которые просительно и жалко улыбаются, комкая в потных руках рублевки...

И поэтому — погрубее, порезче! — «Платить будете?!

А в ответ снова просительные, заискивающие улыбки — не успели обзавестись молодые люди невозмутимостью и величественными манерами завсегдатаев ресторанов... Да и сюда-то попали случайно, показали вместо пропусков студенческие билеты, на корочках которых написано «Литературный институт имени А.М. Горького при Союзе писателей СССР». Их пропустили на вахте, но могли ведь и не пустить...

Поэтому-то заискивающие улыбки и неуверенное, нерешительное:

— А можно еще заказать... Водочки...

— Нельзя! — режет официантка, которой надоело бегать, надоело подавать на столики водку. — Будете платить?!

Ну, конечно, будут. И уже комкают невзрачные студенты свои рублевки, соединяя их под изничтожающим взором официантки в общую кассу. О, как ненавидела сейчас прекрасноглазая Клавочка всех своих пьющих и жрущих с утра до вечера клиентов!

И тут из-за соседнего столика барственний голос:

— Клавочка! Принесите-ка еще триста граммов...

И сразу — поверх раздражения — угодливая улыбка:

— Сейчас! Одну минуточку!..

И действительно, оставив невзрачных клиентов разглаживать скомканые рублевки, бежит Клавочка в буфет и оттуда, такая легконогая, такая большеглазая, сияя улыбкой, к соседнему столику с графинчиком на подносе... А потом назад к троице — ну, чего они копошатся, чего застыли, раскрыв рты? — и с ходу:

— С вас восемь семьдесят!

А в ответ:

— Вы нам, пожалуйста, принесите все-таки еще бутылку водки!

И ведь этак с нажимом говорят, хотя и дрожат голоса от страха.

— Я сказала: нет водки!

— Ну, тогда вина...

— Вина тоже нет!

И все это: они — тихо, чтобы не услышали, а она — громко, в полный голос. И уже оглядываются завсегдатаи ресторана, скучающие пытаются рассмотреть: кто это там, кто такие, как попали сюда?

И нашей троице за столиком уже и водки не надо, но ведь и уходить оплеванными кому хочется?..

И тогда как последний аргумент:

— А мы платить не будем, пока не принесете!

Не надо, не надо бы говорить этого, и уже понимают они, что не надо бы, но поздно, уже захлопнулась западня.

— Ах, они платить не будут! — торжествующе, на весь зал звенит голос официантки, и уже не исправить ничего, потому что Клавочка торопливо скрывается за дверями, ведущими в служебные помещения.

И совсем неуютно становится за столиком.

Напряженно, стараясь не смотреть друг на друга, чтобы не выдать свой страх, сидят приятели. Самое лучшее сейчас — положить деньги на столик и уйти, но как уйдешь, когда начинается такое?

Вот и метрдотель появился. Он идет, и поначалу — метрдотель еще не видит, кто там за столиком, — лицо его величественно и беспристрастно. Не меняя выражения лица, можно публично сделать строгий выговор официантке, а посетителям улыбнуться приветливо: «Все хорошо? Сейчас ваш столик другой официант обслужит. Отдыхайте на здоровье...»

Но вот метрдотель уже разглядел все. На его величественном лице появляется улыбка. Ах, Клавка, ах, стерва!

— Что же вы так, молодые люди? — предвкушая забаву, спрашивает метрдотель. — Если денег нет, не надо в рестораны ходить... Теперь придется вас в милицию сдать.

И снова оглядываются из-за соседних столиков — хотя там свои разговоры идут, там свои дела

и некогда в чужие заботы вникать! — но оглядываются...

Переглядываются презрительно-недоуменно...

Что же делается-то такое, товарищи? Проникли в ресторан неизвестно каким образом, а самим и платить нечем! Возмутительно! Что это за порядки такие в ЦДЛ наступили? Правильно Илья Григорьевич говорит, это не институт, а настоящая диверсия против интернационала... Хорошо, что закрывают его! Правильно!

И возмущившись внутренне, снова к своим разговорам, к своим заботам...

Все это игра... Игра для вымотавшейся за день официантки Клавы Кондаковой, игра или небольшая разрядка после утомительного дня для метрдотеля Казенкова... Все это мило и, как метко заметил завсегдатай ЦДЛ Булат Шалвович Окуджава: «Как обаятельны (для тех, кто понимает) все наши глупости и мелкие злодейства...»

Вот только для испуганных студентов все это совсем не игра...

И уже и рады бы заплатить ребята, но некому заплатить. И метрдотель, и официантка убежали встречать милицию...

И милиция — у милиции, наверное,нюх на такие ситуации? — появляется мгновенно. И, может быть, и не хочется милиционерам участвовать в затяжной склоке: ведь никто не бьет посуды, драки нет, все чинно и спокойно, и жалкие рублевки, чтобы уплатить по счету — ничего, небось, не сберегли для милиционеров! — лежат на столе, но — что же делать? — служба... И нужно проверить документы, нужно вывести неугодных посетителей из ЦДЛ.

— Идите, идите, ребята...

Момент вывода нашей троицы из ЦДЛ весьма важен и чрезвычайно загадочен. Именно здесь,

возле вахты, бесследно исчезают двое участников «дебоша», и остается только Рубцов. Поразительно, но он один и фигурирует далее в обвинительных документах...

«Директору Дома литераторов тов. Филиппову В. М. от ст. контролера Прилуцкой М. Г.

Докладная записка

Довожу до вашего сведения, что во время моего дежурства 12.VI.64 г. после 23 часов ночи подходит ко мне метрдотель ресторана и говорит, что три человека, сидящие за столиком в ресторане, отказываются платить счет. Придется вызывать милицию.

Войдя в ресторан, я узнала одного из сидящих, это был студент Литинститута т. Рубцов Н.М.

На предложение оплатить счет три товарища заявили, что счет они оплатят после того, как будет подана еще одна бутылка вина. В продаже вина им было отказано, и я вызвала милицию.

По приходу милиции счет был оплачен (подчеркнуто мной, орфография — автора записи. — Н.К.). Удостоверена личность этих людей; все они оказались студентами Литинститута.

Вот при каких обстоятельствах студенческий билет т. Рубцова был отобран милицией и оказался у меня и передан руководству Дома литераторов.

16.VI.64. ст. контролер Прилуцкая».

И опять-таки — круглая печать Центрального Дома литераторов.

Докладная записка М.Г. Прилуцкой существенно проясняет загадочное исчезновение двух участни-

ков «дебоша». Прилуцкая сама пишет, что, «войдя в ресторан, узнала одного из сидящих, это был студент Литинститута т. Рубцов Н.М.», и именно Рубцов-то, а вернее, возможность впутать его в новый скандал привлекли ее, по-видимому, в этой истории.

Ресторанная склоки, затеянная официанткой Клавой Кондаковой, именно с этого момента начинает приобретать зловещий оттенок и все более смахивает на расправу над Рубцовым, сумевшим полгода назад выпутаться из силков.

«Директору ЦДЛ тов. Филиппову Б. М.

Докладная записка

12 июня в 23 ч 15 мин к дежурному администратору Леонидовой Э. П. и старшему контролеру Прилуцкой М. Г. обратилась официантка ресторана Кондакова К. А. с просьбой вызвать милицию, так как три посетителя не расплачиваются, требуют еще спиртного и ведут себя вызывающие.

По приходе милиции инцидент в основном был улажен, но в вестибюле был задержан один из этих посетителей, и выяснилось, что все они студенты Литинститута, а задержанный оказался известным по своему скандальному поведению в ЦДЛ студентом Рубцовым Н. М. Вопрос об исключении его из Литинститута ставился осенью 1963 г. в связи с дебошем в пьяном виде в ЦДЛ.

В апреле—мае 1964 г. я дважды просил Рубцова покинуть здание ЦДЛ, куда он приходил с писателями, причем 2-й раз он в компании с Куняевым и Переделиным¹ оскорбили писателя Трегуба.

¹ Очевидно, имеется в виду Анатолий Передреев.

У Рубцова отобран студенческий билет, который прилагается к докладной.

Прошу Вас принять соответствующие меры.

Помощник директора ЦДЛ Сорочинский».

Перечитывая эти докладные записки, можно заметить, как постепенно сгущаются краски вокруг в общем-то безобидного происшествия.

Вот и в докладной записке Сорочинского появляется фраза «ведут себя вызывающие», отсутствовавшая в докладных метрдотеля и Прилуцкой. Привлекаются и другие события, которые если и имели место, то не в тот вечер.

«Дирекция Литературного института имени Горького.

Копия: Секретариат Правления Союза писателей СССР тов. Воронкову К.В.

В письме № 19/29 от 4 декабря 1963 г. дирекция ЦДЛ ставила вопрос о хулиганском поведении в ЦДЛ студента Б/института Н.М.Рубцова, учившегося в нашем клубе в пьяном виде дебоши.

Н.М. Рубцову было категорически запрещено посещение Центрального Дома литераторов, он был исключен из состава студентов Литинститута, но в дальнейшем почему-то восстановлен.

В апреле и мае 1964 г. студента Рубцова дважды пришлось удалять из ЦДЛ, а 12 июня с. г. это пришлось сделать уже при помощи милиции, так как, напившись в ресторане, он и компания, с которой он находился, отказались оплатить заказанный им ужин...

Дирекция ЦДЛ вынуждена вновь просить дирекцию Литинститута им. Горького принять меры в отношении студента Н.М. Рубцова и поставить нас в известность.

При сеm прилагаю студенческий билет Н.М. Рубцова, отобранный у него милицией, и до-кладные записки дежурного секретаря ЦДЛ тов. Прилуцкой, пом. директора тов. Сорочинского и метрдомеля ресторана тов. Казенкова.

Директор ЦДЛ Б. Филиппов.

17 июня 1964 г.».

Как писала в своей докладной записке М.Г. Прилуцкая, «**счет был опложен**».

Но, похоже, у Сорочинского, Прилуцкой, Филиппова был свой счет к Николаю Рубцову, и поэту предстояло «оплотить» по нему сполна.

И стоит ли удивляться, что эта компания чиновников от ресторана очень легко нашла общий язык с чиновниками от Литературного института?

7

Отметим тут, что поначалу сам Рубцов даже и не догадывался о том, какими последствиями может обернуться для него новый инцидент в ЦДЛ.

18 июня 1964 года у Рубцова была взята объяснительная записка по поводу случившегося.

Что нужно было объяснить ему?

То, что они хотели купить втроем еще одну бутылку вина?

«Неделю назад я зашел в ЦДЛ с намерением отдохнуть после экзамена, посмотреть кино, почитать, — напишет он. — Но я допустил серьезную ошибку: на несколько минут решил зайти в буфет ЦДЛ и в результате к концу вечера оказался в нетрезвом состоянии.

Работниками милиции у меня был взят студенческий билет».



Ошибка — зашел в буфет ЦДЛ — действительно предельно серьезная, нуждающаяся в публичном раскаянии...

Нетрудно догадаться, чего стоило такое покаяние 28-летнему поэту...

Он успешно сдал сессию, но, уезжая из Москвы, 23 июня подал в ректорат заявление: «Прошу перевести меня на заочное отделение сроком на 1 год, так как я хочу в производственной обстановке работать над книжкой.

Прошу на время заочного обучения оставить меня в творческом семинаре Н.Н. Сидоренко».

Трудно сообразить, что это — демарш возмущенного необоснованными придирками человека или дальновидный ход, имеющий целью обезопасить себя.

Скорее всего ни то, ни другое. Скорее это просто попытка как-то разрядить ситуацию, сгустившуюся вокруг него.

Предложение Рубцова продуманное и очень даже по-своему мудрое...

Сохраняя свой статус студента Литературного института и будучи уверенным в возвращении через год в Москву, он действительно мог бы подготовить в Николе хорошую книгу, а главное — сосредоточиться, обрести душевное равновесие и вернуться в Москву человеком, способным легко и просто, без судорожности и надрыва разрешать встающие перед ним в городской жизни проблемы.

«Все разъехались на каникулы... — вспоминая об этих днях, пишет Э. Крылов, — и только мы с Рубцовым оставались в общежитии. Мне ехать было некуда, а его что-то задерживало. Но вот собрался и он в свою Николу.

Я зашел к нему в комнату. На полу лежал раскры-

тый чемодан. Сам он сидел на корточках и запускал желтого цыпленка, который как-то боком прыгал на металлических лапках и старательно клевал пол. Рубцов заливисто смеялся, хлопал руками по полу, как бы отгоняя цыпленка, а меня даже не заметил.

Я постоял, потом, увидев в чемодане поверх белья странную книжицу, взял ее в руки и тихо вышел. Книжица оказалась отпечатанной на машинке и называлась «Волны и скалы. Тридцать восемь стихотворений».

Я прочитал ее всю, и, каюсь, мне захотелось ее присвоить. Я присоединил книжицу к папке с его стихами и двум тетрадям, которые уже хранились у меня. Но потом мне стало совестно (все-таки книжка вроде — не рукопись, да и как бы я стал смотреть ей в глаза), и я снова пошел к нему. К моему удивлению, он все еще запускал цыпленка, забыв обо всем на свете. Я окликнул его.

— Вот посмотри. Хорош, правда? Дочке везу. — И он опять пустил цыпленка прыгать по полу».

Таким, самозабвенно играющим с цыпленком, купленным для дочери, и запомнился Рубцов перед отъездом в Николу.

Но Николай Михайлович даже и понять еще не мог, что сам факт происшествия никого не волнует, что нужна просто причина, повод, чтобы исключить его...

25 июня 1964 года проректор А. Мигунов наложил на объяснительной записке Рубцова резолюцию: «За систематическое появление в нетрезвом виде в ЦДЛ и недостойное поведение отчислить из числа студентов очного отделения».

Подчеркнем, что резолюция эта появилась уже после того, как Рубцова перевели на третий курс.

Нет сомнения, что прежний ректор института И.Н. Серегин не допустил бы такого поворота дела — ведь ничтожным, надуманным был сам повод для исключения Рубцова.

Но это Серегин. Нравственные и духовные качества нового главы института несильно отличались от психологии ресторанных официантов и администраторов.

«26 июня 1964 г.

Союз писателей СССР

*Консультантту Секретариата правления
СП СССР тов. Соколову Б. Н.*

Уважаемый Борис Николаевич!

В ответ на Ваше письмо от 24 июня с. г. сообщаю, что Рубцов Н.М. после дебоша, учиненного им в ЦДЛ в декабре месяце, был строго осужден всем коллективом института. На заседании товарищеского суда он давал обещание, что исправится. Однако он продолжал нарушать дисциплину. Его еще раз предупредили на комиссии по аттестации студентов 2-ого курса. Несмотря на принятые меры общественного воздействия, Рубцов Н.М. снова недостойно вел себя 12 июля (июня. — Н.К.) с. г. в ЦДЛ.

За систематическое появление в нетрезвом виде в ЦДЛ и недостойное поведение Рубцов Н.М. исключен из числа студентов очного отделения. Тов. Рубцов просит разрешить ему заниматься без отрыва от производства. Если он осознает свою вину, положительно проявит себя на производстве, можно будет рассмотреть вопрос о зачислении на заочное отделение.

Проректор А. Мигунов».

Едва ли случайно совпадение даты письма Б.Н. Соколова, кстати сказать, отсутствующего в

деле, и даты резолюции А. Мигунова на объяснительной записке Николая Рубцова.

Как ни грозны были украшенные круглыми печатями документы, которые пришли в институт из ЦДЛ, видимо, 18 июня — в этот день и заставили Рубцова написать объяснительную записку, — но все же и за круглыми печатями невозможно было скрыть всю смехотворность так называемого дебоша. И хотя и тяготел А. Мигунов по своей сущности ко всем этим сорочинским-прилуцким-филипповым, но без приказа он не решился бы исключить Рубцова.

Этот приказ и поступил, по-видимому, 24 июня в письме неведомого нам консультанта из Союза писателей СССР.

И тут опять надобно сделать отступление...

Мы говорили, что Рубцов раздражал многих представителей литературной и окололитатурной публики своими небогемными манерами, своим простецким видом... Но не будем забывать и того, что раздражение это многократно усиливалось из-за успехов Рубцова.

Как явствует из воспоминаний Бориса Укачина, стихи Николая Рубцова в «Октябре», кроме Вадима Валериановича Кожинова, пробивал не кто иной, как будущий редактор «Континента» Владимир Максимов, сделавшийся тогда на короткое время членом редколлегии «Октября».

«Николай Рубцов, чуть-чуть прикрыв ресницами глаза, читал ему свои стихи. Владимир Емельянович, ладонь правой руки положив на правую же щеку, с добрым вниманием слушал стихи нового для него поэта-гостя, повторяя после каждого прочитанного: «Хорошо. Молодец!.. Я их отнесу в «Октябрь». Пусть попробуют отказаться, не печатать!»

С помощью Феликса Кузнецова стихи Николая Рубцова тогда широко зазвучали по радио... Появились или готовились к печати подборки стихов Николая Рубцова в московских газетах и журналах...

И конечно же, успех лирики, столь отличной от гремевшей с эстрад поэзии шестидесятников с ее разрешенной Н.С. Хрущевым смелостью, не мог не беспокоить литературное начальство.

Неясно, как был сформулирован приказ, поступивший из Союза писателей СССР, но ясно, что он был. Согласно этому приказу Рубцов должен был **«оплотить»** по счету, выставленному компанией сорочинских, трегубов, филипповых, прилуцких.

Рубцов заплатил по нему...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Путник на краю поля

Когда читаешь или слушаешь воспоминания о Николае Рубцове, охватывает странное чувство...

Рубцова видели в коридорах общежития, встречали на городских улицах, запомнили то в очереди у пивного ларька, то в редакции журнала.

Авторы воспоминаний тщательно припоминают разговоры, добросовестно описывают прокуренные комнаты общежития Литературного института, вспоминают самые незначительные детали, но все эти подробности облетают, как пожелтевшая листва, и за прозрачными ветвями деревьев словно и нет городского асфальта — только сырое осенне поле.

Над полем сгущаются сумерки, и зябко, холодно вокруг, и только вдалеке, у кромки чернеющего леса, робко и незряче помаргивают деревенские огоньки. Огоньки той деревни, в которой он жил...

Летели, летели недели,
Да что там недели — года...
Не раз в ЦДЛе сидели,
А вот у реки никогда —

с горькой иронией напишет в стихотворении, посвященном Рубцову, Николай Старшинов.

И Борис Романов вспомнит, что от знакомства с Николаем Рубцовым у него сохранилось «очень конкретное впечатление на манер того, которое

бывает, когда в море, в сумерках или ночью, внезапно проходит возле тебя огромное, с немногими огнями судно».

Но тогда откуда же сквозящий в строках городских описаний пейзаж сырого осеннего поля, пейзаж рубцовской деревни?

И какой же силой любви к своей родной земле должен обладать поэт, чтобы и люди, никогда не видевшие ее, никогда не бывавшие там, увидели ее и запомнили как свою?

И не потому ли с таким вниманием вчитываясь в коротенькие письма Николая Рубцова из деревни, не потому ли ловишь каждое слово человека, видевшего Рубцова в Николе?

1

Почти все письма Николая Рубцова и воспоминания о Рубцове в деревне относятся к 1964 году, может быть, самому страшному и трудному году в жизни поэта...

«Я снова в своей Николе... — пишет он 27 июля 1964 года Сергею Багрову. — Живу я здесь уже месяц. Погода, на мой взгляд, великолепная. Ягод в лесу полно — так что я не унываю...»

Слово «унываю», хотя и снабжено отрицанием «не», как-то выпадает из контекста — ведь дальше Рубцов пишет о своих успехах, о том, как прекрасно движутся дела с публикацией стихов:

«Ты не видел моих стихов в «Молодой гвардии» и «Юности» — 6-е номера? Я недоволен подборкой в «Юности», да и той, в «Молодой гвардии». Но ничего. Вот в 8-м номере «Октября» (в августе) выйдет, по-моему, неплохая подборка моих стихов. Посмотри. Может быть, в 9-м номере. Но будут...»

Вроде бы и нет причин для уныния...

И сам Сергей Багров, навестивший Рубцова в Николе, тоже рисует портрет бодрого, «неунывающего» поэта:

«А было то утро влажное, голубое, словно вымытое в реке и подсыхающее на припеке. Пахло некошеным клевером и гвоздикой. По крайнему к Толшме посаду я подошел к **плоскокрышей** (выделено мной. — Н.К.) избе с крыльцом, заросшим крапивой и лопухами...

Войдя через сени в полуую дверь, слегка удивился... На полу валялись клочья бумаг, салфетка с комода, будильник, железные клещи и опрокинутый набок горшок с домашним цветком. На столе — какие-то распащенки, тут же чугун с вареной картошкой, бутылочка молока и детский ботинок. Из горенки послышался младенческий крик, а вслед за ним с крохотной девочкой на руках выплыл и сам Рубцов. Был он в шелковой белой рубахе, босиком. Перекинутый через лоб жидкий стебель волос и мигающие глаза выражали досаду на случай, заставивший его сделаться нянькой.

— Это Лена моя! — улыбнулся Рубцов и посадил притихшую дочку на толстую книгу. — Гета с матерью ушли сенокосить, а мы пробуем прибираться. Вернее, пробует Лена. И я ей все разрешаю!..

— Но так и хорошее можно что-нибудь изломать?

— А вон, — показал Николай на ручные часы, вернее, на то, что когда-то было часами, а теперь валялось в углу с разбитым стеклом и покореженным циферблатом. — Еще утром ходили. Но я ей дал поиграть...

— Теперь без часов вот остался?!

— А что мне часы! Без них даже лучше. Спешить никуда не надо. Живи, как подскажет тебе настроение».



Сергей Багров не заостряет наше внимание ни на бедности окружающей Рубцова жизни, ни на непростых — с Генриеттой Михайловной официально Рубцов так и не зарегистрировался — взаимоотношениях обитателей «*плоскокрышей избы*» (избушки, как впоследствии будет называть ее сам поэт).

Едва ли это сделано умышленно.

Бодрость, энергия Рубцова заражали гостя, вот и осталась в памяти только «праздничная улыбка, а в карих глазах что-то ласково-легкое, игравшее радостью и приветом».

Летом 1964 года Рубцов действительно чувствовал себя на взлете.

За первыми крупными подборками стихов в центральных журналах виделось близкое признание...

Как можно судить по письму, адресованному Н.Н. Сидоренко, именно в Николе получил Рубцов известие, что его книжка стихов включена в план редакционно-подготовительных работ на 1966 год в Северо-Западном книжном издательстве...

В течение одного 1964 года сразу прошли передачи на радио, публикации в журналах «Октябрь», «Юность», «Молодая гвардия», в еженедельнике «Литературная Россия»...

Даже теща, прозванная Рубцовым «grenaderom», и та постепенно смирялась с необычностью избранного непутевым зятем пути. Она видела, что фантастическая мечта Рубцова вроде бы обретает реальную плоть: он учился в Москве «на поэта», его стихи печатались и в районной газете, и в московских журналах...

И по утрам в то счастливое лето не так грозно, не так гневно гремела она у печи ухватами.

Кстати сказать, планы примирения с тещей, прошедшей нелегкую науку пересылок и лагерей, Рубцов вынашивал давно и основательно.

Ф.Ф. Кузнецов вспоминает, что однажды Рубцов сказал:

— Все. Начинаю новую жизнь.

— И как же ты ее мыслишь?

— Куплю корову. Гета и теща будут довольны. Буду жить в деревне, писать стихи. Приезжать в Москву только на экзамены.

Корову Рубцов не купил, но примирение состоялось...

Может быть, впервые — и, увы, так ненадолго! — был Рубцов по-настоящему счастлив.

Он вернулся в Николу счастливым летом, где его ждали жена и дочь. И ему казалось, что как-то и наладится жизнь.

Тем более что он делал сейчас все, чтобы она наладилась...

«Когда летом 1964 года я гостил в Тотьме у отца, — вспоминает Ф.Ф. Кузнецов, — Рубцов, приехав из Николы, разыскал меня. Сидя в открытом кафе на берегу Сухоны, напротив того места, где сейчас стоит памятник Рубцову, попивая плодово-ягодное вино местного разлива, мы обсудили с ним много проблем...»

— Слушай, ты знаешь Чухину? — неожиданно спросил Рубцов.

— Учились вместе, — ответил Кузнецов. — А в чем дело?

Рубцов объяснил, что Тамара Александровна Чухина (она работала секретарем Тотемского райкома партии) запретила местной районной газете «Ленинское знамя» печатать его стихи «по морально-этическим основаниям».

На другой же день Феликс Кузнецов навестил одноклассницу.

С недоверием вглядывалась Тамара Александровна в московский журнал, где крупно было напечатано имя Николая Рубцова.

— Ну, сам посуди, — объяснила она свое решение, — человек нигде не работает, попивает. С женою не расписывается... Вот и идут из сельсовета сигналы. Меры-то надо было принимать!

Тамаре Александровне было нелепый запрет она в тот же день сняла... Инцидент был исчерпан.

И работалось в это лето Рубцову удивительно хорошо.

«Здравствуйте, Николай Николаевич! — пишет он 16 августа своему руководителю Н.Н. Сидоренко. — За это время написал уже тридцать с лишним стихотворений. По-моему, есть там и хорошие...»

К письму — об институте в нем ни слова! — Рубцов приложил три напечатанных на машинке стихотворения: «В святой обители природы», «С моста идет дорога в гору», «Осеннее».

Всего же в Николе летом 1964 года Николаем Михайловичем Рубцовым было написано около полусотни стихов, которые с незначительными поправками вошли в золотой фонд русской лирики.

И это было так очевидно, что смешными казались все недоразумения, связанные с Литературным институтом. Разве можно исключить, например, Блока или Есенина из института, где учатся будущие писатели?

«Я еще должен заехать в Москву, в этот институт — улей, который теперь тише, наверное, шумит, т.к. поразлетелись из него многие старые пчелы, а

новые не прибывают, — пишет Николай Рубцов Александру Яшину. — Далеко не все нравится, и не все в литеинститутском быту, но очень хочется посмотреть на некоторых хороших наших поэтов, послушать их. Остались ли они еще там? Если не остались, то лучше бы снова одиноко ходить мне на наше унылое болото.

Удивительно хорошо в деревне! В любую погоду. Самая ненастная погода никогда не портит мне здесь настроение. Наоборот, она мне особенно нравится, я слушаю ее, как могучую печальную музыку... Конечно, не любая сельская местность может быть по душе.

Поеду отсюда числа 27 сего месяца (сентября. — Н.К.). Как раз будет лотерейный розыгрыш, я выиграю «Москвич», вот в нем и поеду. Между прочим, за это лето научился я играть в лотерею: два раза подряд выиграл по рублю. А то ли еще будет!»

Но было то, что и должно было быть...

Прошло, отгорело счастливое лето...

Потемнела спокойная вода Толшмы, пришла пора ехать в институт на осеннюю сессию...

2

Что произошло в Москве в сентябре 1964 года, когда Николай Рубцов приехал из Николы, не понимал, кажется, ни он сам, ни те люди, которые оформляли его исключение.

Приказ № 106 об отчислении Рубцова из института был издан 26 июня 1964 года, но сам Николай Рубцов о своем окончательном отчислении из института узнал, только вернувшись в Москву.

В таком же неведении был и руководитель его творческого семинара Н.Н. Сидоренко. 10 сентября, очевидно подготавливаясь к встрече своих заочников, он написал по этому поводу возмущенное письмо А.А. Мигунову:

«Уважаемый Алексей Андреевич!

Совсем недавно узнал я о том, что студент Н. Рубцов исключен из института, между тем как на последнем заседании, где стоял о нем вопрос, было решено повременить до окончания экзаменов: если Рубцов сдаст экзамены успешно, он останется в составе наших студентов, хотя, возможно, ему придется перейти на заочное отделение. О своем переводе на заочное отделение он сам просил в заявлении перед отъездом на каникулы.

И вдруг — исключение, хотя экзамены сданы успешно. То ли не соблюдено наше общее решение, то ли что-то случилось позднее, чего я не знаю (здесь и дальше выделено мной. — Н.К.).

За это лето Н. Рубцов выступал со стихами на страницах журналов «Молодая гвардия», «Юность», «Октябрь». Его стихи были замечены в литературной среде, оценены положительно. Сборник стихов Н. Рубцова включен в план Северо-Западного издательства.

За время каникул Н. Рубцов написал много новых стихов, часть их у меня имеется. Это хорошие стихи.

· Завершение литературного образования нужно Рубцову, как воздух. Пусть он будет заочником, но пусть продолжает учиться, пусть находится под нашим руководством и наблюдением.

Если имеется хоть какая-нибудь возможность для восстановления Н. Рубцова в институте, она должна быть использована нами. Прошу очень Вас рассмотреть этот вопрос возможно скорее и объективнее.

*Руководитель семинара Н.Н. Сидоренко.
10 сентября 1964».*

Вероятно, и для А.А. Мигунова такой исход казался наиболее приемлемым.

Во всяком случае, на письме Н.Н. Сидоренко он наложил 3 октября 1964 года резолюцию:

«В приказ. Восстановить в числе студентов III курса заочного отделения».

Казалось бы, этим снимался вопрос о восстановлении Рубцова на заочном отделении, но дальше происходят совсем уж удивительные и загадочные вещи.

Канцелярия, вопреки приказу непосредственного начальника, так и не издала приказа о восстановлении Николая Михайловича Рубцова на заочном отделении...

Ну, а сам Рубцов уже не мог проконтролировать это дело — после очередной попытки вовлечь его в скандал он спешно покидает Москву.

3

Что случилось тогда в ЦДЛ, Николай Рубцов пытался выяснить у Станислава Куняева.

В письме, отправленном из Николы 18 ноября 1964 года, он пишет: «Хорошо, я думаю, что я «завелся» тогда не до конца, а сдержался... Я тут же тогда уехал и не знаю, исключили меня опять из института или, может быть, нет...»

Станислав Юрьевич ответил на этот вопрос Рубцова недавно опубликованными воспоминаниями:

«Однажды в Центральном Доме литераторов встретились Николай Рубцов, Игорь Шкляревский и я. Рубцов после скромного застолья стал читать нам стихи, и вдруг его грубой репликой прервала



одна околовлитературная девица, сидевшая по соседству за столиком с поэтом Владимиром Моисеевичем Луговым. Рубцов был уже нетрезв и потому резок:

— А эта б... чего вмешивается в наш разговор! — произнес он на весь пестрый зал.

Франтоватый, вылощеный Луговой суетливо вскочил со стула и неожиданно для всех нас попытался защитить честь своей подруги какой-то полупощечиной Рубцову. Сразу же завязалась потасовка, в которую влез находившийся в зале администратор Дома литераторов. Рубцов замахнулся на администратора стулом, но на руках у него повисла официантка Таня, кто-то помог мне вытащить из зала Лугового вместе с его дамой (а почему, интересно, Станислав Юрьевич Куняев утаскивал от скандала Владимира Моисеевича Лугового, а не своего друга, Николая Рубцова? — *Н.К.*), кто-то из сотрудников бросился к телефону вызывать милицию, что и оказалось самым скверным в тот вечер: не успели мы одеться и сливя (с Владимиром Моисеевичем Луговым слиняли? — *Н.К.*), как подкатил воронок...

Протокол, свидетели, короче говоря, все, что было положено в этих случаях, произошло, а недели через две Коля показал мне повестку в суд. Я позвонил Александрю Яшину, Борису Слуцкому, рассказал им, как все произошло, и в день суда мы все встретились в казенных коридорах. Александр Яшин взял с собой на помощь известную поэтессу и еще красивую женщину Веронику Тушнову, с которой у него в то время был роман.

Николай Рубцов в замурзанной ушанке и стареньком пальто битый час *сидел в темном коридоре*, пока мы вчетвером уговаривали судью прощать, замять и отпустить.



Уговорили. Яшин, Тушнова и Слуцкий распрошались с нами на Садовом кольце возле суда, а мы с Колей пошли в соседнюю забегаловку-стекляшку отметить его освобождение, поскольку вход в Дом литераторов был закрыт ему надолго».

Такой вот ответ...

Несколько запоздалый, да к тому же и какой-то странный...

Странность его в том, что рассказанная Станиславом Юрьевичем Куняевым история совершенно не стыкуется с письмом Николая Рубцова.

«Хорошо, я думаю, — писал Рубцов в своем письме, — что я «завелся» тогда не до конца, а сдержался, надеясь на молниеносный нокаут Игоря (Шкляревского. — *H.K.*), на который, говорят, он способен. Пусть не было нокаута, но если бы я тогда ввязался сам, *все* — я уверен — **закончилось бы милицией** и шумом, подобным тому, который уже был и о котором ты знаешь! Вступившись за Толю (Передреева. — *H.K.*), я знал, что за себя уже не вступлюсь, что с Луговым (вот еще поганка!) надо будет мне толковать в другом месте...»

Разночтения тут с воспоминаниями С.Ю. Куняева уже в изложении причины ссоры. По версии Станислава Юрьевича, конфликт с В.М. Луговым начался с оскорбления Рубцовым дамы Владимира Моисеевича, а по версии самого Рубцова, он вступил за Толю Передреева...

Но это неважно, в конце концов подвыпившие поэты могли и напутать, кто из них первым начал проявлять внимание к dame Владимира Моисеевича Лугового...

Гораздо существеннее путаница с финалом конфликта.

По версии Рубцова, все только могло бы закончиться милицией: «если бы я тогда ввязался сам,

все — я уверен — закончилось бы милицией и шумом, подобным тому, который уже был и о котором ты знаешь»... По версии Станислава Юрьевича, все милицией и закончилось: «Протокол, свидетели, короче говоря, все, что было положено в этих случаях, произошло, а недели через две Коля показал мне повестку в суд».

Кто тут прав, не имеет смысла и обсуждать, поскольку С. Ю. Куняев рассказывает свою версию событий в воспоминаниях, когда Рубцова уже нет и он не может что-либо возразить, а Рубцов привел ее в письме самому Станиславу Юрьевичу, и обманывать его ему никакого смысла не было.

Почему Станиславу Юрьевичу Куняеву, вопреки правде и здравому смыслу, понадобилось усаживать в своих воспоминаниях своего друга Рубцова *в темном коридоре*, загадка велика есть, но зато ответ на вопрос Рубцова: «исключили ли его опять из института?» — мы знаем совершенно точный.

Не исключили бы...

Запуганный расправой сорочинских-прилуцких-филипповых, учиненной над ним летом, Рубцов совершенно напрасно поспешил с отъездом из столицы.

Его не могли исключить из института, потому что он был исключен еще летом.

4

«В один из дождливых дней, — вспоминал Сергей Багров, — прогудел пароход, и по сходням в толпе пассажиров на тотемский берег сошел Николай...»

— А как институт?

— Перешел на заочное.

— В Тотьме останешься?

— Нет. Поеду в Николу.

Денег у Рубцова не было, и пришлось, хотя и не хотелось, взять в районной газете командировку...

Перед тем как уехать, зашел к Багрову домой. Сидели на старинных высоких стульях, пили вино, курили и слушали дождь.

И вдруг Рубцов запел:

Погонула во тьме отдаленная пристань.
По канаве промчался, эх, осенний поток!
По дороге неслись сумасшедшие листья,
И порой раздавался пароходный свисток...

«Я слушал его резковатый красивый голос, — вспоминает Сергей Багров, — и мысленно видел перед собой холодный сухонский плес и уплывающий пароход, на котором ехал Рубцов куда-то далеко-далеко, к каким-то неведомым берегам, где гуляют промозглые ветры, где тревога, где грозы, где вечная ночь.

Едва кончил он петь, как раздался гудок. Мы поспешили на пристань».

...И откладывая книгу воспоминаний, и снова пытаешься понять: что же влекло Рубцова в ту сырую холодную осень к его бедной «избушке» в Николе? Ведь, наверное, можно было пристроиться в Москве и без Литературного института, и жить пусть и небогато, но уж куда вольготнее и сытнее, нежели в нищей вологодской деревне тех лет.

Рубцов сам ответил стихами на этот вопрос...

Ни литературный успех, ни деньги не могли помочь ему преодолеть обиду. Только семья, только деревня Никола, только Родина, с которой всегда ощущал поэт «самую жгучую связь».

И не было другого пути для него.



Именно в тяжкую минуту оскорблений и униженностей должна была слиться его поэтическая судьба с судьбой народной.

Он не сомневался в сделанном выборе...

Только безусловное принятие этой жизни, только полное забвение себя и, как результат, обретение возможности плакать ее слезами, петь ее голосом, звенеть ее эхом:

И разбудят меня, позовут журавлиные крики
Над моим чердаком, над болотом, забытым вдали...
Широко по Руси предназначенный срок увяданья
Возвещают они, как сказание древних страниц.
Все, что есть на душе, до конца выражает рыданье
И высокий полет этих гордых прославленных птиц.

Журавли уже пролетели над тонущей в осенней грязи деревенькой, когда Рубцов вначале пароходом до Устья Толшмы, а потом на пароме, потом пешком через колхоз «Сигнал» и дальше, лесом вдоль огромного болота, наконец добрался до дома, этой нищей избы с плоской крышей.

«Я уже три дня в Николе... — пишет он Сергею Багрову 30 октября 1964 года. — Один день был на Устье в дороге. Пришлось топать пешком. Не знаю, как бы я тащился по такой грязи, столько километров... с чемоданом! Хорошо, что ты любезно оставил его у себя...»

Вчера я отправил Каленистову заметки о той учительнице и стихотворение. Стихотворение писать было тяжелей, ей-богу! Ты сам знаешь, почему это. Можно было бы подумать еще и над прозой, и над стихами, если б я точно знал, что еще будут ходить пароходы. Ведь если они на днях перестанут ходить, этот мой материальчик мог бы сильно задержаться, и тогда я был бы виноват перед Каленистовым.

Сережа, я здесь оказался совсем в «трубе». На



Устье у меня потерялись или изъялись кем-то последние гроши. Сильно неудобно поэтому перед людьми в этой избе, тем более что скоро праздник. Может быть, поскольку я уже подготовил материал, Каленистов может послать мне десятку?.. Непосредственно к нему с этим вопросом я решил не обращаться, так как плохо знаю его. А вообще надо бы обязательно хоть немного поддержать эту мою избушку» (подчеркнуто мной. — Н.К.).

Трудно поверить, что это письмо написано автором «Журавлей»...

Стихотворение трагедийно и безысходно: «Вот замолкли — и вновь сиротеют душа и природа оттого, что — молчи! — так никто уж не выразит их...»

И так высок трагедийный пафос, что не соразмеряется он с отчаянной, будничной нищетой, в которой оказался Рубцов у себя «в избушке»...

Десять рублей — ничтожная и по тем временам сумма! — может поддержать семью Рубцова... О какой счастливой деревенской идиллии речь, если в Николе Рубцов оказался против своей воли на хлебником в бедствующей деревенской семье?

Тут уместно будет напомнить, что Генриетта Михайловна работала тогда в клубе и получала тридцать шесть рублей в месяц, а своей коровы — этой деревенской кормилицы — в семье не было¹.

Так что жили Рубцovy очень плохо.

Кстати, и плоскокрышую избушку они занимали не одни. На другой половине жила многодетная семья Чудиновых.

¹ Кстати, шокирующая многих в воспоминаниях С. Багрова реплика Н.М. Рубцова: «Гета с матерью ушли сенокосить, а мы пробуем прибираться» — нуждается в пояснении. Генриетта Михайловна и ее мать «сенокосили» для колхоза. Участие Рубцова в этой работе ничего бы не изменило, все равно женщин заставили бы идти на покос.

5

Николай Рубцов был человеком с обостренным чувством Пути.

Когда листаешь сборники его стихов, все время мелькают слова «путь», «дорога», служащие не столько для обозначения каких-то определенных понятий реального мира, сколько для фиксации особого состояния души поэта.

Даже в шутливых стихах движение в пространстве зачастую несет особый нравственный смысл:

Я уплыву на пароходе,
Потом поеду на подводе,
Потом еще на чем-то вроде,
Потом верхом, потом пешком
Пойду по волоку с мешком
И буду жить в своем народе...

О Пути и одно из лучших стихотворений Николая Рубцова — написанная еще в 1963 году «Прощальная песня»...

Я еду из этой деревни...
Будет льдом покрываться река,
Будут ночью поскрипывать двери,
Будет грязь на дворе глубока.

Не принято отождествлять героя литературного произведения с его автором, но лирического героя «Прощальной песни» и поэта Рубцова, кажется, не разделяет ничто. И не потому ли так пронзительно, так неподдельно искренне звучат строки этого шедевра русской лирики:

Не грусти! На знобящем причале
Парохода весною не жди!
Лучше выпьем давай на прощанье
За недолгую нежность в груди.

В «Прощальной песне» поражает не только магия горьковатой печали, настоящей на сокровен-



ных и глубинных образах русской мифологии, но и почти очерковая точность, с которой рисует поэт детали быта: и заплывший грязью двор, и бестрояную зыбку, и тещу — пожилую женщину, вернувшуюся после тяжелого дня работы: «мать придет и уснет без улыбки...»

Читаешь «Прощальную песню» и невольно задумываешься: да оправдано ли сетование друзей на скрытность Николая Рубцова? Можно ли рассказать о своей жизни больше, чем это сделано в «Прощальной песне»? Неужели можно распахнуться сильнее?

Едва ли...

Ни в одной исповеди не скажешь так просто о самом главном: о том Пути, который считаешь единственным возможным для себя, об отчаянной решимости пройти этот Путь до конца...

«Прощальная песня» чрезвычайно важна для понимания того, что пережил Рубцов во второй половине 1964 года.

Важно, что именно здесь, в Николе, среди деревенской нищеты и униженности, приходит к Николаю Рубцову ощущение правильности принятого решения, истинности избранного пути.

Именно в эту глухую осень 1964 года, сидя у крохотного, смотрящего на холодную Толшму окошка, пишет он стихотворение «Душа», напечатанное уже после смерти под заголовком «Философские стихи».

Новое название кажется нам неудачным, потому что стихотворение именно о душе, о том, как сберечь, как сохранить ее:

За годом год уносится навек,
Покоем веют старческие нравы, —
На смертном ложе гаснет человек
В лучах довольства полного и славы!

К тому и шел! Страстей своей души
Боялся он, как буйного похмелья,
— Мои дела ужасно хороши! —
Хвалился с видом гордого веселья... —

рисует Рубцов образ «счастливого» человека, достигшего полного благополучия, но тут же — яростно и напористо! — оспаривает это благополучие:

Последний день уносится навек...
Он слезы льет, он требует участья,
Но поздно понял важный человек,
Что создал в жизни ложный облик счастья!

Ложный облик счастья...

Рубцов, как вспоминают его друзья, побаивался благополучных, особенно на казенном коште, людей. И не удивительно, а вполне закономерно, что ложь навязываемого ему «облика счастья» открылась поэту не в Москве или Ленинграде, а в нищай вологодской деревушке, среди серых изб и покосившихся заборов, где он жил, отрезанный бездорожьем и безденежьем от всех своих литературных и околовературных знакомых и доброхотов.

Счастье — это не внешнее благополучие, а осознание единственности избранного пути, невозможности другого.

...Я знаю наперед,
Что счастлив тот, хоть с ног его сбивает,
Кто все пройдет, когда душа ведет,
И выше счастья в жизни не бывает!

Стихотворение «Душа» смущало самого Рубцова холодноватостью.

И тем не менее поэт не отказывался от него, время от времени прилагал силы, чтобы опубликовать стихотворение, соглашаясь даже на правку. Это свидетельствует о том, что стихотворение было принципиально важно для него.

6

Трудно писать о Рубцове осени и зимы 1964 года...

Слишком малый срок отделяет нас от его земного бытия. Рубцов мог бы и сейчас жить с нами, и поэтому-то испытываешь некую неловкость, со-поставляя события, расшифровывая скороговорку воспоминаний, пробираясь сквозь полунамеки и стыдливые умолчания.

И все-таки нужно пробраться, потому что жизнь настоящего поэта, его путь и судьба — это тоже его произведение, страницы которого таят в себе не меньше нравственного, духовного содержания, нежели стихи. Да и в самих стихах открывается новый глубинный смысл, когда прочитываешь их в контексте всей жизни.

Рубцов никогда не вел дневника.

Его дневник — стихи.

И, открывая стихи, датированные 1964 годом, словно бы видишь одинокого путника, стоящего на краю заснеженного поля.

И сгущаются холодная тьма и отчаяние, и видения злыми тенями проносятся в сумерках — страшная, глухая нежить, готовая смять, растерзать душу. И уже нет сил отмахнуться, все ближе холодное, смертное дыхание...

И тогда, сквозь сумерки и холод отчаяния, огонек...

... Я был один живой.
Один живой в бескрайнем мертвом поле!
Вдруг тихий свет (пригрезившийся, что ли?)
Мелькнул в пустыне, как сторожевой...

Огонек в доме, стоящем на краю заснеженного поля. В доме одинокая старуха, растерявшая на этом поле всех своих родных.

Как много желтых снимков на Руси
 В такой простой и бережной оправе!
 И вдруг открылся мне
 И поразил
 Сиротский смысл семейных фотографий:
 Отнем, враждой земля полным-полна,
 И близких всех душа не позабудет!..
 — Скажи, родимый, будет ли война? —
 И я сказал: — Наверное, не будет.
 — Дай Бог, дай Бог... Ведь всем не угодишь,
 А от раздора пользы не прибудет... —
 И вдруг опять: — Не будет, говоришь?
 — Нет, — говорю, — наверное, не будет.
 — Дай Бог, дай Бог...

И вот: вроде бы и не говорили ни о чем, а уже легче.

В робком помаргивании крохотного огонька посреди бесконечной тьмы рассеиваются злые видения. Снова в душе покой, и легко ей радоваться добру и прощать обиды, самоотверженно забывая себя и себя же обретая в этом забвении...

Что ж, — говорю, — желаю вам здоровья!
 За все добро расплатимся добром,
 За всю любовь расплатимся любовью...

И не этот ли «скромный русский огонек» мерцал Рубцову из затянутых морозной наледью крохотных оконок «избушки», где жил он тогда со своей семьей?

Трудно, но огоревывалась и эта новая, нежданно свалившаяся беда. Жизнь Рубцова в Николе кое-как налаживалась. Прислали деньги из «Октября» — двести с лишним рублей.

Сумма для Рубцова немалая...

«Я живу же по-прежнему, среди зимней, рано темнеющей теперь скучной никольской природы, — неуклюже, как бы извиняясь за что-то, пишет он Сергею Багрову. — Нехотя пишу прозу, иногда

стихи. Жаль, что Гета (из Николы) без твоего ведома взяла у тебя дома мой чемодан. Она бы этого не сделала, если бы не спешила на грузовик, в котором отправлялась из Тотьмы. Между прочим, я просил ее, чтобы она только подстрочники стихов Хазби взяла из чемодана, но она без тебя все равно ничего бы не нашла, поэтому унесла их вместе с чемоданом. Что буду делать дальше, я еще не знаю. Хочу все-таки до того, как поеду отсюда, что-нибудь закончить, хотя бы несколько глав повести, которую я задумал».

Но так уж была устроена жизнь Рубцова, что и у «скромного русского огонька» не суждено было задержаться ему...

Так всегда было с ним...

Об этом он писал еще в той же «Прощальной песне»:

Ты не знаешь, как ночью по тропам
За спину, куда ни пойду,
Чей-то злой, настигающий топот
Все мне слышится, словно в бреду.

Этот «злой, настигающий топот» — не метафора, не химера сознания. Осеню 1964 года он был реальностью жизни Рубцова...

Тем более что деньги из «Октября» быстро расходяли, и снова надо было жить на копеечные — весь номер «Ленинского знамени» стоил двадцать два рубля — гонорары из районной газеты.

«Дорогой Вася! — пишет Рубцов в начале ноября Василию Елесину. — Посылаю заметку о нашем фельдшере. Редактируй ее и сокращай, как хочешь (это не стихи); но только хоть что-нибудь из этой заметки надо бы напечатать. Так что, если найдешь это возможным, предложи, пожалуйста, заметку в газету.



Живу неплохо. Хожу в лес рубить дрова. Только щепки летят!»

Заметку Рубцова в газете напечатали спустя три месяца — 4 марта 1965 года.

7

Еще летом 1964 года написал Николай Рубцов стихотворение «По вечерам». Пейзаж:

С моста идет дорога в гору.
А на горе — какая грусть! —
Лежат развалины собора,
Как будто спит былая Русь. —

не придуман поэтом...

Это фотографически точная зарисовка с натуры...

На берегу Толшмы до сих пор сохранилась Никольская церковь.

Вернее, то, что осталось от храма святителя Николая Чудотворца...

Часть церковной стены не разрушили — голо-вастые местные мужики прямо к ней прирубили бревенчатые стены и сделали пекарню. Одна сто-рона у пекарни церковная, каменная с фризами, с окошечками, забранными решетками, белая, дру-гая — бревенчатая, избяная, почерневшая...

Рядом с этой пекарней на четырех опорах — церковный купол с дырой от маковки. На куполе еще и сейчас сохранились остатки фресок. Из мутноватой, затягивающей их пелены небытия смот-рят на нас святые.

Смотрели они и на Рубцова...

Наверное, если постоянно жить в Никольском, можно привыкнуть и к церкви-пекарне, и к куполу с дырой в небо... Но вообще зрелище это непере-носимое. И гаснущие, уходящие в небытие святые,

и церквопекарня над скованной первым ледком Толшмой...

«Люблю, — пишет Николай Михайлович в письме Александру Яковлевичу Яшину, — первый лед на озерах и речках, люблю, когда в воздухе носится первая зимняя свежесть. Хорошо и жутко ступать по этому первому льду — он настолько прозрачен, что кажется, будто ступаешь прямо по воде, бездонно-темной...»

О Никольской церкви Рубцов никогда не рассказывал.

Неизвестно, знал ли он о церковном предании, согласно которому ангел церкви никогда не отходит даже и от разрушенного храма, продолжая витать над его алтарем.

Рубцов приходил сюда и иногда до сумерек, как вспоминают односельчане, неподвижно сидел на берегу Толшмы возле церкви-пекарни, возле купола с гаснущими ликами святых. Сидел, вглядываясь в беззащитную даль заречья, пытаясь соединить — он должен был соединить это! — несоединимое...

Есть в этих развалинах что-то от того прыжка через пролом карниза, над бездной церковного запустения, что не раз повторял Николай Рубцов в Тотемском лесотехникуме.

Эти развалины Никольской церкви многое объясняют в его поэзии.

Стихи Рубцова — всегда попытка восстановления храма, это возведение церковных стен, вознесение куполов, это молитва, образующая церковное строение, и страшное ожидание окончательной гибели его. Рушатся, рассыпаются в пыль стены возведенного храма, осенняя пустота сквозит между опорами купола, и гаснет свет святости в захлестывающей поэта черноте.

Я не хочу критиковать памятники Николаю Михайловичу Рубцову в Тотьме и Вологде, но все-таки куда больше правды о поэте в развалинах Никольской церкви, в той дали, что открывается здесь с берега Толшмы.

Это невыносимо, как невыносима жизнь Рубцова, это трагично, как трагична его жизнь, это страшно, как страшна судьба Рубцова.

В письме Глебу Горбовскому Рубцов, кажется, об этом и пытался рассказать:

«Сижу сейчас, закутавшись в пальто и спрятав ноги в огромные рваные старые валенки, в одной из самых старых и самых почерневших избушек селения Никольского — это лесистый и холмистый, кажущийся иногда совершенно пустынным, погруженный сейчас в ранние зимние сумерки уголок необъятной, прежде зажиточной и удалой Вологодской Руси. Сегодня особенно громко и беспрерывно воют над крышей провода, ветер дует прямо в окна, и поэтому в избе холодно и немного неуютно, но сейчас тут затопят печку, и опять станет тепло и хорошо.

Я уже пропадаю здесь целый месяц. Особенного желания коротать здесь зиму у меня нет, так как мне и окружающим меня людям поневоле приходится вмешиваться в жизнь друг друга, иначе говоря, нет и здесь у меня единения и покоя, и почти исчезли и здесь классические русские люди, смотреть на которых и слушать которых — одна радость и успокоение. Особенно раздражает меня самое грустное на свете — сочетание старинного невежества с современной безбожностью, давно уже распространившиеся здесь...»

Это письмо Рубцов не дописал, не отправил...

Наверное, понял, что об этом нельзя рассказывать никому. Об этом и думать-то было страшно...



И разве случайно взгляд Рубцова в стихах теперь все чаще и чаще обращается «на тот берег». Туда же, куда смотрели святые с исхлестанных злым осенним дождем фресок...

Фрески заплывали темнотой, и, как эти фрески, погружался в черноту безнадежности — «Порой кажется, что я уже испытал и все радости, и все печали...» — и сам Рубцов.

Казалось, навсегда рвались последние ниточки, связывавшие его с Москвой, со всем миром...

«Сижу порой у своего почти игрушечного окошка и нехотя размышию над тем, что мне предпринять в дальнейшем. Написал в «Вологодский комсомолец» письмо, в котором спросил, нет ли там для меня какой-нибудь (какой угодно) работы. Дело в том, что, если бы в районной газете нашли для меня, как говорится, место, все равно мне отсюда не выбраться туда до половины декабря. Ведь пароходы перестанут ходить, а машины тоже не смогут пройти по Сухоне, пока тонок лед. Так что остается одна дорога — в Вологду — с другой стороны села, сначала пешком, потом разными поездами».

Вместе с ощущением безнадежности нарастало и взаимонепонимание в семье.

«...Такое ощущение, — жалуется Рубцов, — будто мне все время кто-то мешает и я кому-то мешаю, будто я перед кем-то виноват и передо мной тоже...»

И хотя тут же переводит разговор в шутку, дескать, мог бы объяснить этот казус с психологической стороны не хуже Толстого и хотя бы «в объеме достигнуть его, Толстого, глубины...», но отчаяннейший крик о помощи, прорвавшийся в строчках письма, все равно ведь прозвучал. И — увы — не был услышан.



«Жизнь моя идет без всяких изменений и, кажется, остановилась даже, а не идет никуда... Получил письмо от брата из Ленинграда (Альберт Михайлович Рубцов снова вернулся в Невскую Дубровку после двух лет странствий. — Н.К.) Он зовет меня в гости, но я все-таки не могу сдвинуться с места ни в какую сторону. Выйду иногда на улицу — увижу снег, безлюдье, мороз и ко всему опять становлюсь безразличным и не знаю, что мне делать, да и не задумываюсь над этим, хотя надо бы задуматься, так как совсем разонравилось мне в старой этой избе, да и время от времени рассчитываться ведь надо за эту скучную жизнь в ней. Было бы куда легче, если бы нашлись здесь близкие мне люди. Но их нет, хотя ко всем я отношусь хорошо.

Впрочем, хорошее отношение здесь тоже понимает каждый по-своему и все отлично от меня».

Это письмо — последнее из написанных Рубцовым той зимой.

Через несколько дней он уедет в Вологду на областной семинар начинающих литераторов, а оттуда в Москву — хлопотать о восстановлении в Литературном институте. Письма, которыми бомбардировал Рубцов Москву — увы! — не давали никакого результата.

«Уважаемые товарищи! — писал Рубцов из Никольского. — После того как я уехал из Москвы, из института, где я был (в октябре) по делу своего восстановления на заочном отделении, — я уже больше не работал зав. клубом в с. Никольском, так как за длительное отсутствие «потерял» эту должность.

С ноября работаю в здешней районной газете. Об этом и посылаю Вам справку. Так что мой адрес

прежний: Вологодская обл., Тотемский р-н, с. Никольское.

С уважением.
Николай Рубцов.

P.S. Неужели до сих пор не оформлен приказ о моем восстановлении? Ведь я тогда уехал, договорившись по этому поводу с ректором и с кафедрой творчества».

Об этом же — еще и еще раз! — и в письме Н.Н. Сидоренко...

«Письмо Ваше получил. Очень обрадовался ему, тем более что никто уже мне сюда не пишет. Кто летом еще и посыпал весточку, тот теперь уже думает, что меня здесь нет.

Погода у нас вовсе осенняя. Недолго помянуть Тютчева, весь день стоял как бы хрустальный и лукошарны были вечера. Дожди, холода, скоро, наверное, перестанут ходить пароходы.

Фотокарточку для «Огонька» я посыпаю с этим письмом. А что рассказывать, как Вы выразились, о моем жизненном пути? Я уже плохо все помню. Родился в Архангельской области, в поселке Емецк (это я знаю по своим документам), но все детство прошло в этом вот селе Никольском, в Вологодской области, в детском доме...

Свою мать не помню почти, ничего о ней не знаю. Надо будет о ней когда-нибудь мне порасспрашивать брата. Николай Николаевич, а зачем все эти сведения нужны во «врезке»?..

Не понимаю, что значат Ваши слова: «Я подал заявление о вашем восстановлении...» Разве меня исключили из института? Если так, то это для меня новость, мне никто об этом не сообщал. Предлагали только перейти на заочное. А если меня ис-



ключили, так вы не беспокойтесь обо мне. Бог с ним! Уеду куда-нибудь на Дальний Восток или на Кавказ. Буду там, на Кавказе, например, карабкаться по горным кручам. Плохо, что ли? Пока могу карабкаться по скалам, до тех пор я живой и полон сил, а это главное»...

Впрочем, прежде чем вскарабкаться на горные кручки, Рубцову надобно было как-то выкарабкаться из Николы.

А сделать это зимой было трудно.

Нужно было пройти вдоль Толшмы тридцать пять километров до лесопункта Гремяченского, там сесть на лесовоз и по узкоколейке Монзенского леспромхоза добраться до станции Вохтога, где ходили настоящие поезда:

Вот он, глазом огненным сверкая,
Вылетает... Дай дорогу, пеший!
На разъезде где-то, у сарая,
Подхватил меня, понес меня, как леший!

И, разумеется, нельзя было пускаться в такой путь без валенок. В валенках и отправился Рубцов из Никольского.

В валенках ходил по Вологде, в валенках приехал в Москву. В валенках, уже по весне, возвращаясь в Вологду, заехал в Приютино.

Таким, в рваных валенках, с детскими ботиночками, перекинутыми через плечо, и запомнили его друзья юности — Таисия Александровна Голубева и Николай Васильевич Беляков.

Таким, прошедшим по бездорожью, сквозь снежную мглу заметенного поля, усталым Путником видится сейчас Рубцов и нам...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В дни нашей непогоды

Никто не знает, что нужно, чтобы родился великий поэт.

Как остроумно было замечено, никому не пришло бы в голову выписывать из Африки эфиопа, чтобы обзавестись Пушкиным...

Странными и неведомыми путями творится Божий Промысел, являя миру великих делателей, и только отблески этого сокровенного пути различаем мы, взглядываясь в их творения, в их судьбы.

Гениальный поэт не свободен в выборе своего Пути.

Предпочтение более благоприятной, менее тернистой жизненной дороги всегда оборачивается потерей самого себя, оплачивается отказом от своего предназначения...

1

Ни о чем так много не писал Николай Рубцов, как о дороге, о Пути.

Это мог быть «путь без солнца, путь без веры горнимых снегом журавлей», или «глухое скаканье по следам миновавших времен», или путь «без цели», путь, может быть, стремительный и приятный, но всегда выводящий тебя на «звериное поле», к гибели.

Об этих путях по самому краю пропасти Рубцов никогда не говорил в шутку, потому что какой тут юмор, когда грузовики:

Летели почти по небу,
Касаясь порой земли...

Какие шутки, когда водители, **жестоко оскалившие зубы и вытаращившие глаза**, так мало походят на обычных водителей, когда уже совсем деревенеют от напряжения руки, и пальцы скользят с взбешенного от скорости металла, открывая путь под колеса «звериного поля».

Другое дело путь такой простой и такой непростой «Старой дороги», где «каждый славен — мертвый и живой!».

На этой дороге царят покой, мир и гармония.

По этой дороге, перекликаясь с прошедшими и проходящими, перемещаются не тела и чемоданы, а души людей...

А в мчащемся через «звериное поле» «Поезде» все иначе...

Мы еще не успели различить в «грохоте и вое», «лязганье и свисте» «непостижимые уму силы», а уже непоправимо изменился пейзаж, и мы мчимся «в дебрях мирозданья», «посреди **явлений без названия**», и воочию является перед нами страшный облик:

Вот он, глазом огненным сверкая,
Вылетает... *Дай дорогу, пеший!*
На разъезде где-то, у сарая,
Подхватил меня, понес меня, как леший!

Все совершается так стремительно и непоправимо, что мы как бы и не замечаем (или боимся заметить?), что сверкающий огненным глазом **«он»** просит нас не посторониться, а требует отдать **«ему»** дорогу.

Ту самую старую дорогу, на которой и совершаются спасение души, где «июльские деньги идут в **нетленной** синенькой рубашке...».

2

Конечно же, Рубцов отчетливее других ощущал отличие истинного Пути от механического передвижения, лишь имитирующего Путь, и больше всего боялся отдать свою дорогу, страх потерять ее всегда присутствовал в нем.

Этот страх прорывается во всех «вокзальных» стихах...

Даже когда крутится в голове веселенький мотивчик:

Прекрасно небо голубое!
Прекрасен поезд голубой!

Даже когда беззаботное настроение переполняет тебя, и на вопрос: «Какое место вам?» уже готов бездумный ответ: «Любое», когда и дальше как будто сами собой срываются с языка страшные слова:

— Любое место, край любой!

Так вот...

Даже и тогда срабатывает спасительный страх, и, стряхнув с себя дурашливую веселость, спешит поэт исправить вырвавшуюся у него оговорку:

— Прости, — сказал родному краю. —
За мой отъезд, за паровоз.
Я несерьезно. Я играю.
Поговорим еще всерьез.

Об «играх» Николая Михайловича Рубцова мы уже говорили...

Говорили и об особом характере его «советского» — усвоенного не через церковь, а через русский язык и литературу — православия.

Тем не менее Рубцов отчетливо различал пути, ведущие к спасению и к гибели.

И не только различал, но и воссоздавал в своих стихах.

Нетрудно заметить, что в отличие от движения «Поезда» движение по «Старой дороге» осуществляется одновременно с прошлым, настоящим и будущим.

Здесь каждый славен —

мертвый и живой!

И оттого, в любви своей не каясь,
Душа, как лист, звенит, перекликаясь
Со всей звенящей солнечной листвой,
Перекликаясь с теми, кто прошел,
Перекликаясь с теми, кто проходит...
Здесь русский дух в веках произошел,
И ничего на ней не происходит.

Подобную одновременность событий мы обнаруживаем, как уже было сказано, и в «Видениях на холме», где разновременные глаголы соединяются в особое и по-особому организованное целое, и в других стихотворениях Рубцова.

Видимо, в умении ощущать одновременность прошлого и будущего и заключается секрет удивительной прозорливости Николая Михайловича Рубцова.

3

Точно неизвестно, когда в конце шестидесятых было написано стихотворение «Я умру в крещенские морозы».

Как вспоминала Валентина Алексеевна Рубцова, Рубцов говорил о своей смерти в крещенские морозы еще в 1965 году, приехав к брату Альберту в Невскую Дубровку.

Предположительно в 1966 году написано Рубцовым и стихотворение «Седьмые сутки дождь не умолкает...».



Интересно сопоставить эти стихи.

В «Седьмых сутках» девять строф, разбитых на три равные части.

С тремя центральными двустишьями стихотворения «Я умру...»:

А весною ужас будет полный:
На погост речные хлынут волны!

Из моей затопленной могилы
Гроб всплынет, забытый и унылый,

Разобьется с треском,
и в потемки
Уплывут ужасные обломки —

явно перекликаются три центральные строфы в «Седьмых сутках».

Неделю льет. Вторую льет... Картина
Такая — мы не видели грустней!
Безжизненная водная равнина,
И небо беспросветное над ней.
На кладбище *затоплены могилы*,
Видны еще оградные столбы,
Ворочаются, словно крокодилы,
Меж зарослей затопленных *гробы*,
Ломаются, всплывая, *и в потемки*
Уносятся ужасные обломки
И долго вспоминаются потом...

Сходство образов затопленных могил, всплывающих гробов и ужасных обломков тут столь разительное, порою переходящее в самоцитату, что естественно предположить и некую взаимосвязь первого двустишья «Я умру в крещенские морозы. Я умру, когда трещат березы» с первой частью стихотворения «Седьмые сутки»:

Седьмые сутки дождь не умолкает,
И некому его остановить.
Все чаще мысль угрюмая мелькает,
Что всю деревню может затопить.

Плынут стога. Крутясь несутся доски.
 И, погрузившись медленно на дно,
 На берегу забытые повозки,
 И потонуло черное гумно.
 И реками становятся дороги,
 Озера превращаются в моря,
 И ломится вода через пороги,
 Семейные срыва якоря.

Яркие, зрительные образы плывущих стогов, крутящихся в водоворотах досок, в первой части стихотворения заслоняют мистический смысл происходящего. Между тем уже в первых строчках:

Седьмые сутки дождь не умолкает,
 И некому его остановить. —

Рубцов подчеркивает, что не совсем обычный дождь пролился над селением.

Не случайно созвучие этих строк с грозным десятым стихом из седьмой главы книги «Бытия»: «Через семь дней воды потопа пришли на землю».

Да и сами зрительные образы с каждой строкой сгущаются, и в них появляется несвойственное обыкновенному, пусть даже и очень сильному наводнению ощущение всемирного потопа или конца света:

И ломится вода через пороги,
 Семейные срыва якоря.

4

Удивительно точно перекликается и заключительное двустишие стихотворения «Я умру...» с заключительной частью «Седьмых суток».

Потоп продолжается:

Холмы и рощи стали островами.
 И счастье, что деревни на холмах.
 И мужики, качая головами,



Перекликались редкими словами,
Когда на лодках двигались впотьмах.

Что это такое?
Явление новозаветных Ноев?

Это впечатление подчеркнуто немногословной, библейски простой и суровой лексикой:

И на детей покрикивали строго...
Спасали скот, спасали каждый дом...

Но похожесть только внешняя, обусловленная лишь похожестью ситуации.

Описывая события, предваряющие Потоп, книга «Бытия» говорит:

«И воззрел Господь Бог на землю, и вот, она расщленна: ибо всякая плоть *извратила путь свой на земле*».

Об истинном пути и об *извращенном* мы уже говорили.

Сошли ли герои рубцовского «Седьмого дня» с извращенного пути, вернулись ли на истинный?

Увы...

Некое внешнее сходство с последним ветхозаветным патриархом лишь подчеркивает духовную удаленность.

5

Не раскаяние, не сокрушение о гибельности своих путей занимают мысли рубцовских героев, а — вспомните: «С надеждой и свистом промчались мои поезда!» — нелепая надежда на авось, дескать, может, ничего и не произошло.

Холмы и рощи стали островами,
И счастье, что деревни на холмах.

Но ведь и воды Потопа сорок дней «усиливались и весьма умножались», пока не скрыли и самые высокие горы.



Однако герои рубцовского стихотворения не способны пока уразуметь неизбежности грозной кары:

И глухо говорили: — Слава Богу!
Слабеет дождь... вот-вот... еще немного...
И все пойдет обычным чередом.

И хотя сомнения в вечности покоя в стихотворении «Я умру»:

Сам не знаю, что это такое...
Я не верю вечности покоя! —

сопоставимы с неспособностью героев «Седьмого дня» уразуметь неизбежность грозной кары, от истолкования заключительной части пророческого стихотворения Рубцова приходится отказаться, поскольку она относится к будущему, все еще не наступившему времени, в нашей системе «невременного» анализа с нею связаны грядущие, еще небывалые нам события.

Рубцов, если наше предположение верно, прозревал их.

Но и он, прозревающий, достаточно точно определить их не смог.

«Сам не знаю, что это такое...» — признается он, но в этом признании видится не беспомощность, а особая пророческая откровенность.

Без видимого напряжения проникает взгляд поэта вперед, за пределы собственной жизни, но открывающееся там, дальше, почему-то неизвестно.

Аналогов грядущим *там* событиям Рубцов не может найти...

6

Мы уже говорили, что простота и незамысловатость стихов Рубцова обманчива.

Едва мы начинаем анализировать эти стихи по обычной, наработанной советским литературоведением методике, мы рискуем оконфузиться.

Горница у Рубцова — это не совсем та деревенская комната, в которой по обыкновению размещают приехавших гостей. Поезд — не тот поезд, на который садимся мы, чтобы доехать до другого города. И на рубцовской лодке, догнивающей на речной мели, и починив ее, не отправишься на рыбалку...

Во всех зрелых стихах Рубцова все эти горницы, лодки, поезда возникают на стыке дневного сознания и сна, бытия и небытия.

Они, как и знаменитые рубцовские ромашки, всегда «как будто бы не те».

Событие или явление вообще становится предметом поэзии у Рубцова, лишь когда выявляется его вневременная, мистическая суть.

Другое дело, что Рубцов никогда не оставляет свою работу незавершенной, он доводит свои стихи до того уровня высшей художественности, когда они становятся самостоятельными явлениями духовного мира. И тогда-то и возникает то самое говорение из души в душу, когда стихотворение независимо от того, понимаем ли мы весь пройденный в этом стихотворении его автором путь, начинает звучать в нас.

Тем не менее понять этот путь необходимо, если мы пытаемся разобраться в Пути поэта, проследить, как происходило борение света и тьмы в душе автора, постигнуть тайный смысл, явленный в его гибели.

У Рубцова очень необычное отношение к смерти.

При одновременности настоящего и будущего смерть в его стихах размывается, существует одновременно с жизнью лирического героя, а в некоторых стихах как бы и опережает саму жизнь.

Таково, например, рубцовское «Посвящение другу»... Кладбищенский пейзаж:

Замерзают мои георгины.
И последние ночи близки.
И на комья желтеющей глины
За ограду летят лепестки... —

усиленный четырежкратным повтором безвозвратности: «Улетели мои самолеты», «Просвистели мои поезда», «Прогудели мои пароходы», «Прокрипели телеги мои», — отнюдь не обозначает завершения жизненного пути.

Словно бы и не было желтых комьев могильной глины — так просто и буднично возвращение героя стихотворения:

Я пришел к тебе в дни непогоды.
Так изволь, хоть водой напои!

Самое поразительное, что не только в стихах, но и в реальной жизни земной путь Николая Михайловича Рубцова не обрывается вместе со смертью.

Может быть, в умении ощущать одновременность прошлого и будущего и заключается тайна удивительно реального, не только своими стихами, присутствия Николая Михайловича Рубцова в современной действительности.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Судьбы и пути

А в конце 1964 года по дороге в Москву Рубцов остановился в Вологде, где в те дни проходил областной семинар молодых авторов.

«В один из осенних, холодных, предзимних дней, когда на лужах уже искрился ледок, а в оголенных вершинах деревьев широко просматривалось высокое светлое небо, — вспоминает Герман Александров, — я спешил старинными переулками родной Вологды на квартиру поэта Бориса Чулкова... Он жил на улице Гоголя в старинном деревянном доме на втором этаже... Борис Александрович был не один, у него сидел гость, и они оживленно беседовали».

Незнакомец встал, пожал Александрову руку и назвался:

— Николай...

После продолжительной паузы добавил:

— Рубцов.

Герман Александров запомнил Рубцова небольшим, подвижным, в простом клетчатом пиджачке, с обмотанным вокруг шеи длинным шарфом...

Поражали пронзительно черные грустные глаза, смотревшие с прищуром в упор. Говорил Рубцов мало, больше курил, но иногда внезапно оживлялся, и его глаза становились добрыми...

1

В то время в литературной жизни Вологды царило оживление.

Во многом это было связано с тем духовным переворотом, который произошел в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов с патриархом вологодской литературы, сталинским лауреатом Александром Яковлевичем Яшиным.

Напомним, что в 1957 году автор «Алены Фоминой» публикует во втором сборнике «Литературной Москвы» рассказ «Рычаги», в котором он, заговорив о проблемах северной деревни, по сути, одним из первых перешагнул через московско-ленинградскую нечувствительность к страданиям России.

Издание «Литературной Москвы» после публикации «Рычагов» было прекращено, но писательский авторитет Александра Яшина необыкновенно вырос.

За все отвечать настала пора:
За то, что когда-то я промолчал,
За то, что кричал во весь рот ура... —

писал в эти годы Александр Яшин.

Но замечательно, что это понимание ответственности не ограничилось в нем исключительно критикой прошлого, а переросло в выработку ответственного писательского отношения к проблемам текущей жизни, к воспитанию этого чувства в молодых писателях.

Результатом этого ***ответственного*** отношения стала и повесть Александра Яшина «Вологодская свадьба»¹, опубликованная в 1962 году, и та

¹ После появления в «Комсомольской правде» 31 марта 1963 года статьи «Свадьба с дегтем» повесть Александра Яшина приобрела всеобщую известность.

«Весь год переживал похмелье после знаменитой свадьбы... — вспоминал сам Александр Яковлевич. — А ведь можно было принять за успех, может быть, это и был первый мой настоящий успех».



литературная смена, которую он активно помогает поднимать в эти годы.

«Нет нужды говорить, как это действовало на нас, молодых... — вспоминал Борис Чулков. — От одного его присутствия вырастали крылья...

На поэтическом семинаре, которым руководили Сергей Викулов, Сергей Орлов, Александр Романов, кроме меня получали «крещение» Василий Белов, Виктор Коротаев, Олег Кванин, Игорь Тихонов, Федор Голубев и другие.

Яшин, уделявший внимание и группе прозаиков, зорко следил за работой нашего семинара. Именно тогда он предсказал интересно работавшему в поэзии Василию Белову (книжка стихов Белова вышла через год) его дальнейший путь в прозе и победы на этом пути. Что касается меня, то Александр Яковлевич не только благословил мою первую книжку (вышла она летом того же 1960 года), но и помог опубликовать мои стихи в московском «Дне русской поэзии» и в «Литературной газете» (со своим предисловием), а также устроил две радиопередачи по Всесоюзному радио».

Надо сказать, что благотворную помощь А.Я. Яшина ощущали и писатели более старшего поколения — Александр Александрович Романов и Сергей Васильевич Викулов.

В самом начале шестидесятых годов они окончили Высшие литературные курсы и вскоре заняли должности, позволившие представителям «вологодской школы» быстрее и полнее реализовать себя. Александр Александрович Романов стал руководителем Вологодской областной писательской организации, а Сергей Васильевич Викулов — вначале заместителем главного редактора журнала



«Молодая гвардия»¹, а в дальнейшем, в 1968 году, возглавил журнал «Наш современник».

Стремление А.Я. Яшина превратить Вологду в новую литературную столицу, усилия, направленные на то, чтобы поднять уровень местной писательской организации, нашли отклик у партийного руководства.

Возможно, сыграло в этом роль индустриальное возвышение Череповца, быстро обходившего в те годы областной центр. Это заставляло местное начальство активнее реализовывать все имеющиеся силы, чтобы не затеряться в тени нового индустриального гиганта.

«Это был самый настоящий литературный бум, — вспоминает Н.А. Старичкова. — В местной печати замелькали подборки стихов и начинающих литераторов, и уже известных — Антонины Каютиной, Сергея Викулова, Сергея Орлова, Александра Романова, Бориса Чулкова. Как поэта знали и известного сейчас по всей стране и за рубежом прозаика В.И. Белова. Первой книгой стихов «Экзамен» заявил о себе Виктор Коротаев. Читатели знали и горячо встречали аплодисментами на вечерах Анатолия Гусева и Германа Крутова. Одобрение читателей вызывали стихи Сергея Чухина, Нины Гruzdevой, Германа Александрова, Леонида Патралова, Наташи Масловой, Вилиора Иванова, Сталины Рожновой. И над всеми, как монументальная личность, — Александр Яшин.

Он часто выступал в Вологде на литературных вечерах, присутствовал на семинарах и внимательно выслушивал начинающих авторов, давал отеческие советы».

В это вологодское поэтическое многолюдье и

¹ До этого С.В. Викулов возглавлял Вологодскую областную писательскую организацию.

попал, выбинаясь из Николы в Москву, Николай Рубцов.

Вологда уже дважды отвергала его.

Первый раз это случилось в 1942 году, второй раз — в 1953 году, когда Николай Рубцов заехал к отцу в надежде, что тот как-то поможет ему устроиться в жизни.

Первый раз Вологда зашвырнула дошкольника Рубцова в детский дом в самую глушь области, второй раз — спровадила призывника Рубцова под Ленинград, в Приютино.

Теперь Рубцов приехал в город своего детства сформировавшимся поэтом, уже создавшим произведения, ставящие его имя наравне с классиками русской поэзии. И если другие еще и не догадывались об этом, сам себя Рубцов ощущал большим поэтом и даже и не пытался скрывать это самоощущение...

«Николай Рубцов пришел в отделение Союза за несколько минут до начала семинара... — вспоминает Сергей Чухин. — Невысокого роста и неопределенного возраста лысеющий человек в валенках, взгляд настороженный, даже угрюмый; сел позади всех».

До обсуждения стихов семинаристов «столичный» Рубцов не снисходил, он только изредка отпускал колючие реплики. В перерывах уединялся покурить или беседовал с Борисом Чулковым, который по просьбе Александра Александровича Романова и приютил его.

Наконец дошла очередь до рукописи Рубцова. Он коротко рассказал о себе и прочел несколько стихотворений. Среди них были хрестоматийные «Видения на холме» и «Родная деревня». Читал Николай Рубцов негромко, но энергично, изредка жестикулируя правой рукой, а левую сунув за борт пиджака.

2

Сейчас о вологодской школе, ярчайшим представителем которой является Николай Рубцов, написаны сотни исследований, но так до сих пор и не удается определить, в чем заключается принципиальная новизна этого литературного направления, окрещенного критиками — «деревенщики».

Стремление рассказать правду о надсаженной, обездоленной русской деревне, от которой, по словам Виктора Астафьева, «отмахнулись, как от чего-то малоприятного»?

Наверное, и это тоже, но главное, стихами Николая Рубцова, романами Федора Абрамова, повестями Василия Белова наша литература вернулась к главной теме древнерусской литературы — теме спасения человеком своей души; теме страданий человека, загубившего свою душу; теме поисков человеком подлинного Пути спасения, осуществляющейся в обретении единства с Божиим миром, в ощущении той высшей радости, которую испытывает человек, обретающий это единство...

О, сельские виды! О, дивное счастье родиться
В лугах, словно ангел, под куполом синих небес!
Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица,
Разбить свои крылья и больше не видеть чудес!

Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
Что, все понимая, без грусти пойду до могилы...
Отчизна и воля — останься, мое божество!

Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды!
Останься, как сказка, веселье воскресных ночей!
Пусть солнце на пашнях венчает обильные всходы
Старинной короной своих восходящих лучей!..

Эта стержневая тема таинственно-волшебной рубцовской лирики ярко и пронзительно зазвучала и в повести Василия Белова «Привычное дело».



Начинаешь читать повесть и видишь глазами Ивана Африкановича «красную луну, катящуюся по еловым верхам над зимней дорогой», вместе с ним идешь «по студеным от наста полям» и, переставая ощущать себя, сливаешься «со снегом и солнцем, с голубым, **безнадежно далеким** (выделено мной. — Н.К.) **небом**, со всеми запахами и звуками предвечной весны...»

Щемящая и пронзительная красота северной природы наполняет душу героя повести, и душа Ивана Африкановича светится этой красотой...

Но вот беспутному Митьке, исполняющему в повести роль посланца враждебных миру красоты и сельского лада сил, удалось соблазнить Ивана Африкановича, удалось сманить на заработки, и, усевшись в поезд, оторвавшись от зябких осинников и щучьих заводей, как-то сразу превращается Иван Африканович в безбилетного гражданина Дрынова, несвязно объясняющего контролерам, что билеты и лук у Митьки, а сам Митька неизвестно где...

Иван Африканович не только созерцал, но и создал своим трудом красоту. Гражданин Дрынов — это уже и не человек даже, а некая среднестатистическая, безликая субстанция, способная лишь к самоуничтожению...

Похожая метаморфоза совершалась и будет совершаться в реальной жизни Николая Михайловича Рубцова, когда — вспомните его цедээловские истории! — пережив городские катаклизмы, будет он возвращаться в деревню.

Высокий дуб. Глубокая вода.
Спокойные кругом ложатся тени.
И тихо так, как будто никогда
Природа здесь не знала потрясений!

И тихо так, как будто никогда
 Здесь крыши сел не слыхивали грома!
 Не встрепенется ветер у пруда,
 И на дворе не зашуршит солома,

И редок сонный коростеля крик..
 Вернулся я, — былое не вернется!
 Ну что же? Пусть хоть это остается,
 Продлится пусть хотя бы этот миг...

И — случайно ли? — такозвучно ощущениям рубцовской «Ночи на родине» звучат мысли возвращающегося после неудачного бегства Ивана Африкановича, когда останавливается он возле развороченного тракторными гусеницами родничка!

Иван Африканович сам отыскал и расчистил родничок, возле него отдыхал с женой Катериной, когда возвращались они из больницы с новорожденным сыном... Уничтожение негромкой, светлой жизни родничка — плата за бегство, за измену.

Но руками ощупывает Иван Африканович землю и ощущает ее сырость. Значит, не умер родничок, пробивается...

«Вот так и душа, — думает герой повести, — чем ни заманивай, куда ни завлекай, а она один бес домой просачивается. В родные места, к ольховому полю. Дело привычное».

Поразительно сходство этих ощущений с тем, что ощущает вернувшийся в деревню лирический герой Николая Рубцова:

Когда души не трогает беда,
 И так спокойно двигаются тени,
 И тихо так, как будто никогда
 Уже не будет в жизни потрясений,

И всей душой, которую не жаль
 Всю потопить в таинственном и милом,
 Овладевает светлая печаль,
 Как лунный свет овладевает миром...

3

О поиске героем подлинного Пути, об обретении им единства с миром, о страданиях человека, потерявшего самого себя, и читал Николай Рубцов на областном совещании молодых авторов в 1964 году в Вологде.

Хотя проклинает проезжий
Дороги моих побережий,
Люблю я деревню Николу,
Где кончил начальную школу!

Бывает, что пылкий мальчишка
За гостем приезжим по следу
В дорогу торопится слишком:
— Я тоже отсюда уеду!

Среди удивленных девчонок
Храбрится, едва из пеленок:
— Ну что по провинции шляться?
В столицу пора отправляться!

Когда ж повзрослеет в столице,
Посмотрит на жизнь за границей,
Тогда он оценит Николу,
Где кончил начальную школу...

«Старшим товарищам, — вспоминает Сергей Чухин, — стихи, видимо, понравились, они почувствовали, что на семинар пришел поэт со своим мироощущением, своей темой. Но, к сожалению, не обошлось и без дежурных учительных фраз: поближе к современности, к злобе дня...»

С каждым подобным замечанием Рубцов все более мрачнел, реплики его становились вызывающими.

А тут еще я подлил масла в огонь.
Как же?

Для меня чуть ли не единственным мерилом современной поэзии был тогда Р. Рождественский,



а тут — на тебе! Деревня Никола, начальная школа... Да и безоглядная, горячая молодость внутренне протестовала против сдержанной (рассудочной) формы. И сдержанность эта, и несколько отчужденный (*заносчивый*) вид автора — все настраивало против него.

Сказано это было прямо и пылко, Рубцов вскипел и во время обеденного перерыва, прихватив с собою поэта О. Кванина, ушел с семинара».

Вскоре после совещания Рубцов уезжает в Москву...

Отношение семинаристов и руководителей семинара оскорбило его. Его опять не поняли! И не поняли в городе детства, где, как казалось Рубцову, не понять то, что он пишет, было невозможно.

Рубцов не понимал, что его и не могли понять здесь, потому что созданное им было далеко-далеко впереди от того, что ждали от поэзии и руководители семинара молодого автора, и сам А.Я. Яшин...

И все-таки на этот раз попытка штурма Вологды — хотя Николай Михайлович и понял это много позднее — оказалась более удачной.

Обсуждение на семинаре молодых авторов ускорило выход первой книги Николая Рубцова. Его сборник стихов «Мачты», который давно лежал в Северо-Западном книжном издательстве, сразу после семинара был передвинут в плане издательства, и уже 8 августа 1965 года — редкое по тем временам ускорение! — книгу подписали в печать¹.

Но еще существеннее — что сейчас судьба Рубцова наконец-то связалась с Вологдой, и хотя сам Рубцов еще и не догадывался об этом, это ничего не меняло. Произошла та сцепка судьбы, которая

¹ Николай Рубцов. Лирика. Северо-Западное книжное издательство. 1965, тираж 3000 экземпляров. Цена 5 копеек. Отпечатана книга была в областной типографии Вологды.



определит и его трагическую гибель, и его стремительную, небывалую для поэта славу.

Судьба... Путь...

Рубцов не выбирал своей судьбы, он только предугадывал ее. Он не мог изменить судьбы, но всегда узнавал, когда она являлась ему...

И тогда он уже не сворачивал с выбранного Пути.

«Взялся писать прозу... — писал Николай Рубцов Н.Н. Сидоренко. — Кажется, у меня это может получиться, но пока не хватает усидчивости, детальной ясности образа да и условия для этого писания (имею в виду самые скромные условия). Хочу прозой написать историю одного человека, непохожего на современных литературных героев, — чтобы в нем была жизненная, а не литературная! тоска, сила, мысль, сила, разумеется, не физическая, а духовная...» Рубцов не написал этой прозы...

Хотя порою кажется, что жизнь его в последнее шестилетие как раз такой *историей непохожего на современных литературных героев человека, обладающего великой духовной силой*, и была...

И поэтому прежде чем приступить к рассказу о последнем периоде жизни Николая Рубцова, попытаемся еще раз понять: случайно ли именно 1964 год стал переломным в его жизни?

4

Этот год останется в истории страны кремлевским переворотом, положившим конец кукурузным авантюрам строителя коммунизма, его антиправославным и русофобским кампаниям.

Победа над злобным гонителем православия была одержана, но главную роль в ней сыграли люди, которых ни в патриотизме, ни в православ-

ности заподозрить никак нельзя. Увы... В середине шестидесятых наконец-то прорвались наружу процессы, подспудно вызревавшие в умах нашей «образованщины» в правление Никиты Сергеевича Хрущева.

Закамуфлированное под ниспровергателей, наше советское мещанство сбросило маску шестидесятничества, похерило клятвы юности и, толкаясь, устремилось к кормушкам. Там теперь, помимо привычного ассортимента — спецпайков и казенных дач, появились и загранкомандировки.

В считанные месяцы — нечто подобное мы наблюдали, когда идеологи застоя превратились вдруг в «демократов», захватывающих правдами и неправдами власть и народную собственность! — недавние шестидесятники образовали прослойку угодливо-сытых людей, которые, лакейски поддавая маразмирующим идеологам, ради сохранения своих синекур вовлекали страну в авантюры минводхозов, чернобылей и кампаний неперспективных деревень.

Этот феномен еще не нашел должного отражения в нашей литературе, должно быть, потому, что и перестройка развивалась в основном в интересах все той же образованщины, отдельные представители которой сумели хорошо подзаработать на катаклизмах, обрушившихся — не без ее помощи! — на нашу бедную Родину.

Разумеется, в середине шестидесятых механизм тотального воровства и вранья еще только начинал раскручиваться, но уже тогда Система начала сбрасывать с себя все, что мешало ей.

И в первую очередь она стремилась освободиться от порядочности и честности.

Тогда сразу смешались границы конфронтирующих лагерей.

Роковая черта, проведенная 1964 годом, прошла тогда не по национальным, не по мировоззренческим расхождениям, а по нравственным.

Все настоящее, честное, искреннее отвергалось Системой.

Зато все, что служило ее интересам, — возвеличивалось и поднималось.

Еще раньше и резче эта граница разделила писателей.

Чтобы убедиться в этом, можно сравнить судьбы четырех совершенно несхожих между собой поэтов — Евгения Евтушенко, Иосифа Бродского, Андрея Вознесенского, Николая Рубцова.

Все четверо — почти погодки.

Старше — Вознесенский и Евтушенко. Они — с 1933 года... Рубцов на три года моложе. Еще на три года моложе Бродский. Он родился в 1940 году...

Все четверо пришли в поэзию примерно в одно время — после смерти Сталина, когда сдвинулись маховики истории, вовлекая в свое движение бесконечные миллионы людей и целые страны.

Возраст для сравнения, которое мы собираемся провести, существенен.

И.В. Сталин сказал: «Нам надо воспитывать новое, **бодрое** (выделено мной. — Н.К.) поколение, способное к преодолению любых трудностей».

По этому сталинскому чертежу и строилось воспитание поколения тридцатых годов рождения.

Бодрость в них закладывали по полной программе.

И вместе с тем как раз это поколение, хлебнувшее и бедствий войны, и сталинской **бодрости**, было первым из поколений, которое не успело запятнать себя грязью и кровью тех страшных лет.

К тому моменту, когда, скрежеща и рассыпая ржавчину куплетов:

— Берия! Берия!
Вышел из доверия!
А товарищ Маленков
Надавал ему пинков! —

сдвинулись наконец шестерни истории, вся наша четверка поэтов не особенно была отягощена прошлыми ошибками и **бодро**, как и все их сверстники, приняла произошедшие перемены.

Ну а дальше?

А дальше, как и положено, пути их разошлись.

В 1959 году, когда после армии Рубцов приехал в Ленинград, ему было двадцать три, за плечами семь классов деревенской школы и неоконченный техникум, годы скитаний и службы на флоте. Еще было очень сильное желание выразить в стихах то, что мучило, терзало его. Правда, **как** это выразить — представлялось смутно и неясно...

Иосифу Бродскому было тогда двадцать. Образованием он формально не превосходил Рубцова — тоже только школа-семилетка. Но путь Бродского, похоже, уже определился. К 1960 году он уже нашел себя, хотя известность его и не выходила за границы весьма узкого круга почитателей.

Шутки ради отметим, что формально и «образованностью» Евтушенко и Вознесенский значительно превосходили ленинградцев Бродского и Рубцова. Ну, а эстрадная слава их гремела вовсю. Евтушенко с Вознесенским уверенно завоевывали аудиторию, становились выразителями «шестидесятнического» мировоззрения.

Разница в образовании и в уже приобретенной известности существенна.

Но еще более существенна та подмена поэзии эстрадной публицистикой, которая тогда происходила на глазах у всех и которая как бы и не замечалась.

Явление это объяснимо только последствиями бодрого воспитания шестидесятников, представления о подлинной поэзии которых были настолько смутны, что они в основной своей массе и не замечали подмены. Уместно здесь будет напомнить, что и демобилизовавшийся с флота Рубцов тоже поддался соблазну эстрады и под крики: «Давай, парень! Шпары!» — поначалу пробовал силы в создании звуковых эффектов и даже достиг в этом определенного успеха.

Бродского же эстрада, кажется, не тянула совсем. И не случайно он, быть может, первым из всей четверки начал ощущать дискомфорт времени перемен, внутреннюю лживость психологии шестидесятичества.

Еще в 1961 году, в самый разгар бабьего лета советской власти — вспомните триумф первого полета в космос! — он написал:

Это трудное время. Мы должны пережить, перегнать
этим годы,
с каждым новым страданьем забывая былье невзгоды
и встречая, как новость, эти раны и боль поминутно,
беспокойно вступая в туманное новое утро...

Утро и в самом деле было туманным, а время трудным, хотя и не закончилась еще пресловутая «оттепель». Но поэт словно бы прозревал будущее.

Ощущение близкой трагедии пронизывает и «Стансы городу», написанные в июне 1962 года:

Все умолкнет вокруг.
Только черный буксир закричит
Посредине реки,
Иступленно борясь с темнотою,
И летящая ночь
Эту бедную жизнь обручит
С красотою твоей
И с посмертной моей правотою.

Интересно сопоставить «Стансы городу» с «Осенней песней» Николая Рубцова, написанной в те же годы и только недавно напечатанной целиком, без купюр:

Потонула во тьме
Отдаленная пристань.
По канаве помчался ←
Эх — осенний поток!
По дороге неслись
Сумасшедшие листья,
И порой раздавался
Пароходный свисток

Стихи, разумеется, разные. Различия и в манере, и в образной структуре. Роднит их лишь выбор пейзажа — ночь на судоходной реке да еще общее ощущение подступающей катастрофы...

Но вот если вспомнить написанное в эти же годы стихотворение Андрея Вознесенского «Ночь»:

Сколько звезд!
Как микробов
в воздухе... —

то стихи Иосифа Бродского и Николая Рубцова могут показаться написанными одним человеком. Разница в том, что Рубцов и Бродский видят все-таки одно мироздание, а Вознесенский — совсем другое.

5

Кроме номера телефона — Ж-2-65-39 — Иосифа Бродского в записной книжке Николая Рубцова, мы не располагаем достаточно достоверными свидетельствами о взаимоотношениях между эти-



ми поэтами. Скорее всего, никаких особых отношений не было, но это тем более интересно¹.

Те поразительные параллели, которые обнаруживаются в их судьбе и творчестве, лишний раз свидетельствуют, что система победившего шестидесятничества отвергала, сбрасывала все более или менее настоящее, подлинное.

Случайно ли в стихотворении Иосифа Бродского: «Ты поскакешь во мраке по бескрайним холодным холмам...» и Николая Рубцова: «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны», написанных в одно время, есть почти цитатные совпадения?

Ясно, что оба стихотворения создавались в предчувствии тех перемен, что уже отчетливо осознавались многими; в стремлении понять, определить для себя духовные ценности, не зависящие от ответствия их литературной и общественной ситуации. Стихи эти — попытка увидеть сквозь время и свою судьбу, и судьбу народа.

И, конечно, это прозрение не могло быть рациональным, логическим.

У Иосифа Бродского оно рождается в стущении мистических сумерек полудогадки:

¹ «С Бродским сойтись не довелось, хотя Рубцов страстно этого желал. Как-то мы пришли на поэтический вечер в ДК Первой пятилетки. В зале был Бродский (выступать ему тогда, после турнира, не разрешалось). После окончания, когда большая часть зрителей разошлась, человек двадцать окружили его в маленькой гостиной и упросили почтить. От волнения сильно заикаясь, но все равно ярко, выразительно он прочел несколько вещей. Кто-то предложил, чтобы прочитали и другие. Но было уже поздно, уборщица возмутилась, и все двинулись к выходу. Внизу, в гардеробе, мы подошли к Бродскому, и Рубцов сказал ему, что мы очень ценим его стихи и хотим встретиться и поговорить. Бродский дал телефон, который Коля тут же записал. Но продолжения знакомства почему-то не последовало». Э. Шнейдерман, «Слово и слава поэта». Издательство имени Н.И. Новикова, СПб, 2005, с. 21.

Между низких ветвей лошадиный сверкнет изумруд,
кто стоит на коленях в темноте у бобровых запруд,
кто глядит на себя, отраженного в черной воде,
тот вернулся к себе, кто скакал по холмам

в темноте...

Николай Рубцов, наоборот, словно бы пытается вызвать из глубины памяти все самое светлое, чтобы рассеять надвигающийся мрак, но ни веселые картины деревенского гулянья, ни звуки гармошки не способны рассеять ни «мглу над обрывом», ни горечь озарения:

Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
Что, все понимая, без грусти пойду до могилы... —

а главное, предоощущение своей собственной судьбы:

Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье
И тайные сны неподвижных больших деревень.
Никто меж полей не услышит глухое скаканье,
Никто не окликнет мелькнувшую легкую тень.

Эти ощущения не были характерными для поэзии шестидесятых, когда, по выражению А. Вознесенского:

Как багровые светофоры,
Наши лица неслись во мрак.

Хотя справедливости ради отметим, что и в самовлюбленно-оптимистической поэзии Вознесенского тоже порою прорывалось подсознательное ощущение действительности как некоего сатанинского действия.

Не случайно ведь в его книге «Антимиры», собравшей стихи начала шестидесятых, ангелы — эти обитатели надзвездных сфер —очно вписываются в быт хозяев застойных десятилетий.

Он повис...
С искаженным и светлым лицом,
как у ангелов и певиц.

(1963)

Или:

Как ангелы или лакеи,
стоят за креслами, глазея.

(1962)

Ангелы и певицы, ангелы и лакеи...

Низведение обитателей высших сфер до положения прислути, или, как принято стало выражаться в те годы, обслуживающего персонала, совершается Вознесенским, быть может, и неосознанно, но закономерно. Ничего другого и ждать было нельзя от человека, просившего Чудотворную икону Божьей Матери Владимирской «грохнуться» в ноги его ветреной подружке, чтобы та отдалась ему.

На этом фоне самовлюбленных ужимок и хорошо оплачиваемого оптимизма и совершилось прозрение подлинных поэтов. И конечно, за него приходилось платить.

Это ведь только Евгений Евтушенко, «сквозь Россию мчась на «Москвиче» с любимой, тихо спящей на плече», спеша на курорт, актерствуя, мог попросить у Пушкина:

... пленительную участь —
как бы шаля, глаголом жечь.

А у Некрасова:

...неизящности силу.
... подвиг мучительный твой,
чтоб идти, волоча всю Россию...

Ну, заодно и у Блока — «два креняющихся крыла», у Пастернака — «смущенье веток», у Есенина — нежность «к березкам и лугам, к зверью и людям»...



И дело не только в неразборчивости Евтушенко, не в том, что он выпрашивает все подряд... Просто настоящий поэт ничего и ни у кого просить не будет. Ни у Пушкина, ни у Маяковского, ни у власть имущих.

Все это ему дается само собой...

Правда, и платить тоже за все приходится самому...

И не случайно, что именно в тот год, когда Евтушенко, кренись в своем воображении на блоковские крылья, катил «по России вместе с Галей кудато к морю в «Москвиче», спеша от всех печалей...», Николай Рубцов, выгнанный из Литинститута, отправился в свою нищую вологодскую деревню, где его пытались потом объявили тунеядцем, а Иосиф Бродский в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был выселен из Ленинграда в специально отведенные места с обязательным привлечением к труду на пять лет. В марте 1964 года он отправился по этапу вместе с уголовниками в деревню Норинское Коньонского района Архангельской области.

У Бродского своя судьба, а у Рубцова — своя.

Незачем насильственно сближать их, но все же поражает, как удивительно совпадает рисунок этих судеб. Одни и те же даты, похожие кары, сходные ощущения. Даже география и то почти совпадает...

Правда, в 1971 году Рубцов не уехал никуда.

Его просто убили.

Но с точки зрения Системы, стремящейся избавиться от неугодного ей образа мысли, это различие было несущественным...

Объективности ради следует сказать, что вскоре после 1964 года были неприятности и у Евгения Евтушенко...

Хотя он и признался, что:

Мне в Братской ГЭС мерцающе раскрылся,
Россия, материнский образ твой, —

Ленинскую премию за поэму, воспевшую очередную экологическую катастрофу, ему так и не дали.

Это, конечно же, несправедливо.

Тогда за такую поэму премию должны были дать.

Впрочем, как мы знаем, Евтушенко мужественно перенес несправедливость. «За что мне заплачено, то я и ору», — признавался он в «Монологе автомата-проигрывателя», а у нас в стране, слава Богу, был впереди еще и БАМ, который тоже ведь надо было кому-то воспевать...

Нашел свою тему и Андрей Вознесенский...

Помимо шедевра «чайки — плавки бога», он создал еще прозаическое, но удивительно чувственное описание ночи, которую ему посчастливилось провести в кровати великого Пикассо.

Говорю я об этом не ради иронии.

Четыре поэта, четыре судьбы...

Все четверо начинали писать стихи, чувствуя живое движение истории. И потом, когда ток ее замедлился, ушел в песок одинаково похожих друг на друга съездов КПСС, когда подлинная история — афганская война, уничтожение неперспективных деревень, подготовка к катаклизму поворота северных рек — становилась все невнятнее, заглушаемая грохотом БАМов и ГЭСов, им пришлось выбирать, в какой истории жить.

В подлинной или в выдуманной...

В истории съездов и загранкомандировок, великих строек и спецпрайков, словословий и казенных дач, тонн, кубов, центнеров и собраний сочинений...

И каждый из поэтов сам выбрал свою историю.

Ни Бродский, ни Рубцов не могли прижиться в санкционированной идеологами из Политбюро полуправде и полусвободе, а Вознесенский и Евтушенко чувствовали себя там как рыбы в воде.

Ну что ж... Каждый выбирал сам, и каждому, по-видимому, и предстоит навсегда остаться в той истории, которую он для себя выбрал...

6

Сопоставляя судьбы четырех поэтов, я не преследовал задачи возвысить или принизить их значение.

Задолго до меня это сделала история.

Та подлинная история, в которой жил Николай Рубцов, уже произнесла приговор, и бессмысленно вносить в него корректизы... Но поэт интересен не только своим творчеством, поучителен и его жизненный путь.

И сейчас, когда сместились все казавшиеся два десятилетия назад незыблемыми точки отсчета, опыт жизни людей, сумевших и среди компромиссов и соглашательств отыскать свой Путь, рассыпавших и в гуле оваций и анекдотов Глагол своего предназначения и, презрев житейские выгоды, повиновавшихся Ему, особенно актуален для нас...

Хотя и принято представлять Судьбу слепою, но она равно справедлива ко всем.

Да, существует житейская несправедливость, и у одних жизнь складывается благополучно, у других нет, но нищета и гонения зачастую дают такие всплески гениальности, которые возносят униженные и оскорбленные души на те вершины, достичь которых, быть может, они никогда бы не смогли в самой благополучной и сверхкомфортной жизни.

Разумеется, говоря о «компенсации», предоставленной Судьбой за житейские неурядицы, нельзя сводить вопрос к бухгалтерским подсчетам, хотя, и не вдаваясь в мистику, можно найти объяснение этому парадоксу. Ведь постепенное приобретение житейских благ, борьба за достаток и сытость — процесс трудоемкий, требующий затраты как раз тех духовных сил человека, которые могли бы пригодиться на иные, более высокие цели.

Было бы много проще говорить о Рубцове, если бы он вообще не испытывал тяготения к житейскому благополучию.

Разумеется, это неверно.

Подходя к тридцатилетнему рубежу, Рубцов уже овладел тем багажом знаний, которые необходимы профессиональному литератору, и, разумеется, вполне мог бы заниматься благополучной журналистикой.

И не нужно идеализировать Рубцова, не нужно делать вид, будто он заранее исключал для себя эти пути. Нет, врагом себе Рубцов не был, и, конечно же, он пытался адаптироваться, вписаться в литературную ситуацию тех лет, пытался как-то устроиться в жизни, «ублагополучить» себя. Более того, он даже брал командировки от журналов, что-то пытался писать...

Пробовал Рубцов заниматься и трудом переводчика, который тоже весьма недурно оплачивался в те годы. Но хотя и были опубликованы его переводы, не хватило Рубцову разворотливости, хватки, необходимой для занятия переводами гораздо больше, чем знание языков. Не сумел он, как и в занятиях журналистикой, сделать последнего шага, который требовалось сделать, — переступить через себя...

Но в конце 1964 года Рубцов еще не знал об этом.

Холодным декабрьским вечером он сел на поезд, который должен был отвезти его в Москву.

Поезд мчался с грохотом и воем,
Поезд мчался с лязганьем и свистом,
И ему навстречу желтым роем
Понеслись огни в просторе мглистом...

Так пытался убежать из своей деревни герой «Привычного дела» Иван Африканович, так уезжал из Николы и Рубцов...

Ни в коей мере не пытаюсь я сблизить героя повести Василия Белова и великого русского поэта, но по своей кровной сути оба они — сыновья своей земли, отрываясь от которой теряют свою богатырскую силу.

Переставая быть собою, оба они становятся слишком легко уязвимыми... Вспомните, какой бедой обернулась для Ивана Африкановича попытка порвать связь с родиной, вырваться из родного северного пейзажа...

Другое дело, что в отличие от героя Василия Белова лирический герой Николая Рубцова яснее и отчетливее различает пути, ведущие к спасению и гибели.

В «Поезде» все называется прямо, с пугающей отчетливостью:

Вместе с ним и я в просторе мглистом
Уж не смею мыслить о покое, —
Мчусь куда-то с лязганьем и свистом,
Мчусь куда-то с грохотом и воем...

Это дьявольское наваждение движения — «Подхватил меня, понес меня, как леший!» — хорошо известно герою Рубцова!

Железный путь зовет меня гудками,
И я бегу...

Но раньше были силы, чтобы прервать это движение, чтобы остановиться:

...Но мне не по себе,
Когда она за дымными веками
Избой в снегах, лугами, ветряками
Мелькнет порой, покорная судьбе...

Теперь же в «Поезде» не осталось и этого. Что-то зловещее чудится в бравурном финале:

... Быстрое движенье
И какое может быть крушенье,
Если столько в поезде народу?

Как мы знаем, поездное многолюдье не спасет поэта от крушения.

Мотив дьявольского наваждения-движения повторится у Рубцова и в его стихотворении о собственной смерти:

А весною ужас будет полный:
На погост речные хлынут волны!
Из моей затопленной могилы
Гроб вслывет, забытый и унылый,
Разобьется с треском,
и в потемки
Уплывут ужасные обломки.

Николай Рубцов умрет как раз в «крещенские морозы», умрет, словно бы задохнувшись от бесмысленной, опустошающей душу скорости поезда, на котором — неведомо (сейчас, может быть, и ведомо) куда! — мчалась тогда вся наша страна...

Но это будет еще не скоро.

В конце 1964 года у Николая Рубцова еще оставалось целых шесть лет жизни...

Встречать Новый 1965 год Рубцова пригласил к своим родителям Вадим Кожинов... Сам он задержался, и родители, смущенные видом обутого в валенки Рубцова, не пустили Николая Михайловича в квартиру.

«Я приехал чуть ли не без четверти двенадцать и застал Николая на улице у подъезда, — вспоминал Вадим Валерианович Кожинов. — Помню, меня страшно возмутило нарушение обычая, который я всегда считал священным: за новогодний стол необходимо посадить всякого, любого гостя. Я побежал в квартиру, чтобы поздравить с Новым годом мать, и вернулся на улицу.

Что было делать? У нас имелось с собой вино и какая-то снедь, но все же встреча Нового года на улице представлялась крайне неуютной. Оставалось минут десять до полуночи. Широкая Новослободская была совсем пуста — ни людей, ни машин.

И вдруг мы увидели одинокую машину, идущую в сторону Савеловского вокзала, за которым не так уже далеко находится общежитие Литературного института. Мы бросились наперерез ей. Полный непобедимого молодого обаяния Анатолий Передреев сумел уговорить водителя, и тот на предельной скорости домчал нас до «общаги». Мы сели за стол в момент, когда радио уже включило Красную площадь. Почти не помню подробностей этой новогодней ночи... Но эта ночь была — тут память нисколько мне не изменяет — одной из самых радостных новогодних ночей для нас всех. Нами владело какое-то ощущение неизбежного нашего торжества, невзирая на самые неблагоприятные и горестные обстоятельства. Под утро мы с Анатолием Передреевым даже спустились к общежитскому

автомату и позвонили моему отцу, чтобы как-то «отомстить» ему этим нашим торжеством. У него уже было совсем иное настроение, он извинялся, упрашивал, чтобы все мы немедленно приехали к нему...

— Ты даже представить себе не можешь, кого ты не пустил на свой порог, — отвечал я. — Все равно что Есенина не пустил...

И это тогда, 1 января 1965 года, уже было полной правдой».

Тут трудно не согласиться с Вадимом Валериановичем Кожиновым...

Уже написаны были Рубцовым великие стихи. Написаны там, на краю окутанного заледенелой мглой поля...

И среди них одно из самых прекрасных и страшных — «Звезда полей»...

Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в полынью.

Невольно останавливаешься на этих словах и сам, леденея от холода, заглядываешь в смертную черноту полыни, но стихотворение несет тебя, возносит душу к высшему свету:

... в минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром...

И такая благость в достигнутых высях, такая ча-
рующая даль открывается окрест, что уже не жалко
и жизни — все родное, все освещено светом звезды полей... Но в последней строфе снова возвраща-
ешься сюда, на поле, в заледенелую мглу:

Но только здесь во мгле заледенелой
Она восходит ярче и полней...

«Полней» и «полынья»...

Эхом, отразившимся от студеной воды, повторяется рифма, замыкая движение и не стиха даже, а самой жизни...

Это эхо различаешь всегда, вслушиваясь в стихи Николая Рубцова.

Читаешь их, и словно бы твои самые главные и самые чистые чувства, отражаясь, возвращаются к тебе, и замирает сердце, узнавая их:

Скачет ли свадьба в глуши потрясенного бора,
Или, как ласка, в минуты ненастной погоды
Где-то послышится пение детского хора, —
Так — вспоминаю — бывало и в прежние годы!

Вспыхнут ли звезды — я вспомню, что прежде блистали
Эти же звезды. А выйду случайно к парому, —
Прежде — подумаю — эти же весла плескали...
Будто о жизни и думать нельзя по-другому!

И вот тут-то проясняенно понимаешь вдруг, что, может быть, в том и заключается опыт души и сердца, чтобы научиться отзываться на звук Глагола, затерянного в древних, смутных и неясных словах.

И стихают пораженные силой Божественного Глагола глухие стоны на темном кладбище, отступают бурьян и нежить, которым так привольно и на нашей окутанной мраком атеизма земле, и в нас самих...

И не в этом ли заключена магическая сила рубцовской поэзии, не в этом ли и состоит его великий подвиг — подвиг человека, стоящего на краю поля?

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Заочный образ жизни

В Государственном архиве Вологодской области среди бумаг Рубцова хранится справка со штампом и круглой печатью Никольского сельсовета:

«Дана Рубцову Николаю Михайловичу в том, что он действительно проживал в селе Никольском Никольского с/совета Тотемского района Вологодской области с октября 1964 года по август 1965 года.

Что и заверяет Никольский сельсовет».

Справка эта, датированная 5 августа 1965 года, аккуратно подклеена на картонку...

Зачем? Не сразу и сообразишь, что во второй половине 1965 года эта бумажка была главным документом Николая Михайловича Рубцова...

Здесь необходимо сделать разъяснения.

В последний раз Рубцова прописали в Москве осенью 1963 года. Временная прописка для студентов давалась на год, и ее срок у Рубцова истек в октябре 1964 года.

Прописываться в селе Никольском Николай Рубцов опасался, поскольку там он сразу бы попал под власть местных начальников и вполне мог оказаться приписанным к местному колхозу. Ну, а в городе он мог прописаться только по лимиту, устроившись на стройку или на большой завод...

1

Очередной виток хлопот, связанных с попыткой восстановления Рубцова на дневном отделении, относится к весне 1965 года.

8 апреля канцелярия института зарегистрировала ходатайство секретаря Вологодской областной организации СП РСФСР А.А. Романова о восстановлении Рубцова на дневном отделении.

Скорее всего, Николая Михайловича все равно бы на дневном отделении не восстановили...

Нового ректора Литературного института Владимира Федоровича Пименова, начинавшего административную карьеру еще в довоенные годы, можно было обвинить во многом, но только не в сочувствии к талантливым русским студентам. Думаю, что в этом никто не посмеет упрекнуть его.

И тем не менее сам Рубцов, вернее, его несчастливая судьба значительно облегчили Владимиру Федоровичу его задачу.

Как раз в те дни, когда затеял Рубцов хлопоты о возвращении на дневное отделение, он попадает в происшествие, которое можно было бы назвать комедией, если бы оно не отразилось так печально на его жизни...

В личное дело студента Н.М. Рубцова вшила целая пачка документов... Мы приводим их, сохраняя орфографию и стилистику подлинников.

*«Начальнику 19-го отд. милиции
г. Москвы от гражданки Акименко Е. И.
 прожив, ул. Фонвизина дом 6 кв. 63.*

Заявление

1945 посадила (здесь и далее сохранены стиль и орфография автора. — Н.К.) *пассажира 17 проезд Марьиной Роши. По дороге пассажир стал вес-*

ти себя не тактично, меня оскорблять и говорит что я депутат Верховного Совета и что хочу то и делаю и меня не имеет права забирать ни одна милиция окромя Ц.И.К.А.

Я обратилас к постовому инспектору у 10-го проезда Марьиной Рощи, он сказал вези в 19 о/м. Куда и был доставлен.

17.IV — 65 г. Акименко»

«АКТ № 1442

составлен 17 апреля 1965г. В 20.00 помощником дежурного по о/м Якуниным.

Рубцов Николай Михайлович...

Приличном обыске обнаружено и взято на хранение до вытрезвления следующее: студенческий билет, серый шарф, военный билет, паспорт, денег три рубля, два ключа, брючный ремень...

Доставленный одет: светлый плащ, серый пиджак, темно-зеленые брюки, без головного убора...

Личность нарушителя установлена по паспорту XV-ПА № 576384 от 3/X 1959 г.»

И тут же сопроводиловка, отосланная из милиции в Литературный институт...

«Директору Литературного института им. А.М. Горького

17/IV — 1965 г.

19 о/мил г. Москвы был задержан студент-заочник Литературного института Рубцов Николай Михайлович.

Будучи в нетрезвом состоянии и проезжая в такси ММТ-11-94 — водитель Акименкова, Рубцов вел себя недостойно, наносил оскорблений водителю, отказался уплатить 64 копейки за проезд.

В дежурной части отд. милиции вел себя также недостойно и только после настойчивых требований дежурного уплатил по счетчику за пользование такси 64 копейки. В о/милиции Рубцов находился до полного вытрезвления с 20.00 ч. 17/IV — 65 г. до 7.30 18 IV — 65 г.

Считаю, что подобное недостойное поведение Рубцова позорит высокое звание советского студента Литературного института и заслуживает строгого обсуждения, тем более что РУБЦОВ не имеет постоянного места жительства.

*Начальник 19-го отделения милиции
г. города Москвы Куковкин».*

Поскольку Рубцов очень подробно прокомментировал эти документы сам — мы приведем его комментарии далее! — пока обратим внимание только на даты...

С 8 апреля 1965 года, когда Рубцов вместе с ходатайством Вологодского отделения СП РСФСР подал заявление о восстановлении в институте, никакого рассмотрения дела не происходило.

И это при том, что ночевать Рубцову было негде, а в общежитие его не пускали. Деньги тоже кончались...

Зато когда прибыли бумаги из милиции — они зарегистрированы институтской канцелярией 22 апреля 1965 года! — тотчас же, словно только этих бумаг и ждали, институтское начальство немедленно начинает готовить ответ Вологодской писательской организации.

«Справка.

Студент 3 курса т. Рубцов Н. М. обучается заочно. В текущем учебном году (напомню, что Рубцова восстановили на заочном отделении только

15 января 1965 г. — Н.К.) он не сдал ни одной контрольной работы. Учитывая перезачеты, мы считаем, что за ним числится академическая задолженность — четыре контрольные работы.

Как студент-заочник он только числится, но не учится.

Вологодское отделение СП РСФСР ходатайствует о восстановлении Рубцова на IV курсе очного отделения (см. письмо). Думаю, что это преждевременно.

Тов. Рубцов плохо учится и недостойно себя ведет (см. письмо из милиции).

Рубцов — творчески активен.

Но за академическую неуспеваемость и недостойное поведение он заслуживает серьезного взыскания и предупреждения.

24.IV.65 г. П. Таран».

Эта справка, составленная деканом заочного отделения по поручению ректората, требовала времени для подготовки, и очевидно, что запросили справку сразу на следующий день после получения бумаг из милиции.

На основе справки, подписанной П. Тараном, и составляет Владимир Федорович Пименов ответ на ходатайство Вологодской писательской организации.

И по форме, и по содержанию ответ этот более смахивает на донос...

«Уважаемый товарищ Романов!

Студент Рубцов Н.М. в июне 1964 года был отчислен из института за систематическое появление в нетрезвом виде и за недостойное поведение.

Учитывая признание им своей вины, обещание исправиться и ходатайство его творческого руководителя поэта Н.Н. Сидоренко, он был в январе 1965 года восстановлен в число студентов-заочников. Мы надеялись, что тов. Рубцов учтет свои ошибки и исправится.

Однако Рубцов после восстановления в институте не приступил к занятиям и в апреле сноша за недостойное поведение был задержан милицией и доставлен в вытрезвитель.

Все это не дает основания перевести т. Рубцова на очное отделение. В связи с указанным возникает вопрос о возможности дальнейшего обучения Рубцова и на заочном отделении.

*Ректор Литературного института
В. Пименов».*

Казалось бы, зачем нужно поднимать этот архивный хлам, какое это имеет отношение к Рубцову, к его поэзии?

Мне кажется, что имеет, и самое прямое...

Эта безжалостная, равнодушная канцелярская стихия, где легко обезличивались человеческие поступки, где просьба принести бутылку вина или требование вернуть сдачу настойчиво переименовывались в «недостойное поведение», все время вставала на пути Николая Рубцова...

И перебороть эту силу в реальной жизни ему не удавалось никогда.

Еще интересны процитированные нами документы тем, что в них необыкновенно глубоко раскрываются характеры их авторов.

Вот тот же Владимир Федорович Пименов...

Он отправил письмо Александру Александровичу Романову 26 апреля, а засел за работу над ним не

ранее 24 апреля, когда и получил справку от товарища Тарана. Но хотя и малый срок был отпущен Владимиру Федоровичу для составления письма, это не помешало ему всесторонне раскрыться в любимом жанре...

Владимир Федорович потому спокойно и счастливо и прожил на должности ректора все долгие годы застоя, что очень уж подходил для этого времени.

Нет-нет, Владимир Федорович и при И.В. Сталине не сидел в лагерях, не бедствовал он и в хрущевскую «оттепель», но все-таки полностью его талант раскрылся именно на должности ректора Литературного института.

Вот и по письму А.А. Романову видно, как замечательно умел Владимир Федорович превратить свой отказ как бы даже и в благодеяние, каким за�отливым и чутким мог прикинуться он.

Читаешь: «Мы надеялись, что тов. Рубцов учтет свои ошибки и исправится...» — и слезы на глаза наворачиваются.

Каков ведь студент подлец! Ему поверили, а он опять обманул, даже и «не приступил к занятиям», да к тому же «снова за недостойное поведение был задержан милицией»...

А как мастерски построена последняя фраза письма: «В связи с указанным возникает вопрос о возможности дальнейшего обучения Рубцова и на заочном отделении»!

Воистину, умри, а лучше не скажешь!

Воистину, это звездная вершина творчества Владимира Федоровича...

Вы, дескать, хлопочете о переводе Рубцова на дневное отделение, так нате же! Выкусите! Вашего Рубцова и с заочного отделения нетрудно выгнать.

То есть почему нетрудно? Его просто нельзя держать в институте даже и на заочном отделении! И если держат, то только по причине необъяснимого добродушия самого Пименова.

Надо сказать, что манеры Владимира Федоровича Пименова производили впечатление на окружающих.

Третьяразрядный по московским меркам руководитель, он так мастерски носил на лице маску начальственной важности и покровительственного внимания к собеседникам, что само имя его окутывалось в институте дымкой легенд.

Многие студенты считали, что в прошлом Пименов «всеми театрами СССР ведал, в кресло министра культуры метил»...¹

Даже те, кто не питал симпатии к Пименову, верили рассказам, что, «когда обсуждали пьесы Булгакова, он вынимал наган; оттого и прозван был «Наганщик»².

Вот и миф о том, что Пименов якобы заботился о студентах вообще и о Рубцове в частности, тоже оказался достаточно живучим...

«А милейший царедворец Пименов, — пишет Лев Котюков, — хоть и хмурил свои грозовые, брежневские брови при упоминании Рубцова, но, однако, не исключал из института без права восстановления и переписки и сквозь пальцы смотрел на его проживание без прописки в общежитии. Именно благодаря Пименову Рубцов успешно окончил Литинститут, а не был изгнан с позором, как гласят литературные легенды».

Это не совсем верно... Николая Рубцова действительно не изгнали из Литинститута, но случи-

¹ Л. Котюков. Демоны и бесы Николая Рубцова.

² В. Цыбин. Но горько поэту...

лось это не благодаря Пименову, а вопреки ему. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто познакомиться с документами.

Мы видели, как тонко выдавал товарищ Пименов А.А. Романову «компромат» на Рубцова! Причем делал это без особой цели, просто на случай, если по своей собственной глупости и недомыслию надумают, например, вологодские товарищи принять этого хулигана в Союз писателей. Знайте, товарищи, все. Владимир Федорович вам раскрыл глаза, насколько опасен Рубцов...

Но я не случайно акцентировал внимание читателей на датах документов...

Посмотрим еще раз...

8 апреля 1965 года. Рубцов просит восстановить его на дневном отделении.

22 апреля. В институт пришли бумаги из 19-го отделения милиции.

26 апреля. В.Ф. Пименов отправил в Вологду ответ на ходатайство А.А. Романова.

То есть 26 апреля решение было принято. Рубцову в просьбе о переводе его на дневное отделение было отказано.

Тем не менее, когда Рубцов 27 апреля 1965 года справился об исходе своего дела, Пименов по свойственной ему доброте и мягкотеречию о собственном письме-доносе в Вологодскую писательскую организацию позабыл, позабыл и о том, что уже отказал Рубцову в переводе на дневное отделение.

Он предложил Рубцову написать объяснение, что же произошло 17 апреля...

2

Рубцов объяснение написал...

Датировано оно 27 апреля 1965 года, и из текста ясно, что Рубцов даже и не подозревает, что в его просьбе о переводе на дневное отделение уже отказано.

«Уважаемый Владимир Федорович!

Я пишу Вам в связи с ходатайством Вологодского отделения Союза писателей, а также в связи с письмом в институт от начальника отделения милиции.

В первую очередь — о письме из милиции. Если говорить подробно, все произошло так:

Однажды вечером я приехал в общежитие института. На вахте меня не пропустили. Они имели на это право, но мне, как говорится, от этого не было легче. Я решил поехать на ночлег к товарищу и с этой целью подошел к такси. Водительница такси потребовала деньги за проезд заплатить вперед. Я отдал ей три рубля, так как более мелких денег у меня не оказалось (еще при себе у меня осталось столько же, т. е. 3 р. Это имеет значение). И мы поехали. Когда, выходя из машины, я попросил сдачу, водительница отказалась вернуть ее. Она с нескрываемым нахальством стала утверждать, что никаких денег у меня не брала. Тут стоит помянуть Есенина: такую лапу не видал я сроду! А если помянуть Гоголя, это черт знает что такое! И тогда я нарушил свое правило последнего времени: не гневаться и тем более не разжигать в себе гнев. Я потребовал продолжить поездку до ближайшего милиционера. Я это сделал с целью «проучить» ее. Теперь я понимаю, что поступил тогда удивительно глупо. В деревне, наверное, поглупел. Ни в коем случае нельзя

было рассчитывать, что она покается в милиции, а нельзя забывать, что ее отвратительный поступок с моей стороны недоказуем. В милиции меня и слушать не стали, так как в общем-то их интересует не столько истина, сколько официально-внешняя сторона дела. Мне велели заплатить этой женщине 64 коп. по счетчику. Я сделал это, чтобы избежать осложнений. Потом менявели кудато спать. Слава богу, хоть за это я им благодарен! В отделении милиции я вел себя достойно, вернее, покорно. Только этой женщине резко сказал: «Как вам не стыдно!» Начальник отделения, очевидно, эти слова и имеет в виду, когда привычно формулирует: вел себя недостойно...»

Здесь, видимо, нужно прервать повествование Рубцова и попытаться понять, что же он имеет в виду, когда говорит, что «поглувел... в деревне». В стихах, написанных зимой 1964—1965 года, никакого «поглупения» не ощущается.

Видимо, словом этим Рубцов называет отвычку от жизни большого многомиллионного города, где такие понятия, как стыд и совесть, оказываются необязательными в общении некоторых людей вне круга домашних и сослуживцев, где отсутствие стыда и совести нисколько не мешает этим людям выглядеть внешне вполне добропорядочно.

Разумеется, это не значит, что в сельской местности не встретишь лжецов и негодяев, но в деревне все люди на виду, каждый знает друг друга, и это сдерживает людей в открытом проявлении отрицательных качеств...

Рубцов как-то немного смешно говорит, что он старается «не гневаться и тем более не разжигать в себе гнев», но, очевидно, он искренне, хотя и не

слишком успешно, пытался следовать этому правилу.

Изо всех сил пытался он не подставиться, когда решался вопрос об устройстве его дальнейшей жизни. Выпив с кем-то, Рубцов попробовал устроиться на ночлег в общаге, но в общежитие его не пустили...

И все же Рубцов и здесь не вспылил — «Они имели на это право, но мне... от этого не было легче» — подчинился, покинул общежитие и решил отправиться к товарищу в Марьину Рощу.

От общежития Литинститута туда, хотя это и недалеко, маршрутным транспортом не добраться. К счастью, на остановке стоит такси. Правда, женщина, сидящая за рулем, просит заплатить вперед.

Рубцов отдает ей трешку.

Что подумала неведомая нам московская таксерша Акименко? Может, просто решила, что три рубля и платит подвыпивший, загулявший пассажир?

Так или иначе, но за те минуты, пока Акименко везла пассажира, она сроднилась со своею мыслью, вернее, сроднилась с трешкой и даже, наверное, прикинула, как ею распорядиться.

Только одного не сообразила Акименко, что у Рубцова на всю дальнейшую жизнь оставалось всего две трешки (вспомните составленный в милиции акт!) и отдавать половину своих денег за такси было немыслимо. Немыслимым было для Рубцова и примириться с таким наглым обманом.

А дальше настоящий фарс...

Рубцов начинает пугать Акименко, выдавая себя за депутата Верховного Совета. Кстати, судя по воспоминаниям, Рубцов однажды пытался выдать себя за майора КГБ...

Ну, конечно, пузырящиеся на коленях темно-зеленые брюки, в которых, как метко заметил Лев Котюков, только бомжей хоронить, светлый заношенный плащ, видавший виды шарфик — сразу видно депутата Верховного Совета... Ни за что не отличишь...

И может быть, потому-то и решилась неведомая нам Акименко везти подвыпившего пассажира в милицию, что сразу раскусила его, поняла, что не только депутатского удостоверения у него нет, но и московской прописки не имеется...

Как мы уже говорили, работники сферы обслуживания сразу вычисляли Рубцова и срывали на нем все накопившиеся за день обиды.

Наверное, и Рубцов сообразил, что не надо бы ввязываться в эту историю, но было уже поздно, ловушка, которую он сам построил, захлопнулась.

И сразу наступила апатия — все планы рушились...

И, может быть, в милиции иначе бы отнеслись к заверениям Рубцова, если бы была у того хоть какая-нибудь прописка в паспорте. Но таковой не было у Николая Михайловича, и это одно делало его в глазах дежурных милиционеров подозрительным. Не случайно ведь начальник девятнадцатого отделения подчеркнул слова: «Считаю, что подобное недостойное поведение Рубцова... заслуживает строгого обсуждения, тем более что Рубцов не имеет постоянного места жительства».

3

Но вернемся к заявлению Рубцова...

Как-то неуклюже оправдывается он, доказывая, что не мог не заплатить эти несчастные 64 копейки, имея, как подтверждено в акте, три рубля.



Эта неуклюжесть объяснения, на наш взгляд, и доказывает его правоту...

Когда человек лжет, он всегда придумывает более или менее правдоподобную версию, и ложь звучит достаточно складно...

Сам Рубцов не замечает никакой нескладности в своих объяснениях.

Закончив с ними, он возвращается к главному вопросу — к просьбе восстановить его на дневном отделении. И как тут снова не поразиться необыкновенной духовной организации Владимира Федоровича Пименова, сумевшего, читая это заявление, не дрогнуть, не поколебаться в уже принятом решении.

Воистину железный ректор!

«С тех пор как меня перевели на заочное отделение... — писал Николай Рубцов, — меня преследует неустроенность в работе, учебе и в быту. Конечно, что есть проще того, чтобы устроиться на работу где-либо, прописаться и в этих нормальных условиях заниматься заочной учебой? Но дело в том, что мне, как всякому студенту нашего института, необходимы еще творческие условия. Эти условия я всегда нахожу в одном деревенском местечке далеко в Вологодской области. Так, например, в прошлое лето я написал там больше пятидесяти лирических стихотворений, многие из которых сейчас приняты к публикации в Москве и других городах. Когда я ушел на заочное, я сразу же опять отправился туда, в классическое русское селенье, — и с творческой стороны опять все у меня было хорошо.

Но зато в документах возник беспорядок: у меня нет в паспорте штампа о работе, так как я сотрудничаю в тамошней газете нештатным (штатных мест не было), у меня нет прописки в

паспорте, так как в той местности временным жителям выдают только справки о том, что они с такого-то по такое время проживали именно там.

У меня тоже есть такая справка, но для Москвы она, эта справка, — филькина грамота. Именно из-за этого беспорядка в документах меня оставили тогда ночевать в милиции и написали оттуда такое резкое письмо в институт, т. е. помимо сути акта о нарушении в их руках оказалась еще эта суть. Бесполезно было там все это объяснять...

В заключение хочу сказать, что я ничего не прошу, не прошу даже о восстановлении...

Просто, как Ваш студент, я посчитал своим долгом объяснить то неприятное происшествие, которое в конечном счете явилось результатом моего, так сказать, заочного образа жизни...

27. 4. 65 г. Николай Рубцов».

Сейчас можно только гадать: из осторожности ли, столь свойственной ему, или по причине особого административного садизма потребовал Владимир Федорович Пименов от Рубцова это заявление...

Но читаешь его и невольно задумываешься: **кому** жаловался Рубцов на свой «**заочный образ жизни**»? Ведь такие люди, как Владимир Федорович Пименов, искренне считали, что Рубцов только заочно и имеет право жить...

Хотя **что-то** по свойственной ему манере говорить в жанре полунамеков-полубещаний, сохраняя на лице маску начальственной важности и покровительственного внимания к собеседнику, Владимир Федорович, возможно, и посулил Рубцову.



И я склонен думать, что сделал это Пименов, руководствуясь чисто педагогическими побуждениями. Ведь его не могло не беспокоить, что на той майской сессии 1965 года студенту Рубцову не давался исторический материализм — преподаватель философии не зачел 6 мая его контрольную работу «Роль коммунистической идеологии в формировании нового человека».

Вот Владимир Федорович и решил подбодрить студента.

И это удалось ему...

14 мая, пусть и «с очень большой натяжкой», была зачтена работа студента Рубцова «Классы и классовая борьба».

Так что, может быть, самыми добрыми намерениями — добрый человек был Пименов — руководствовался Владимир Федорович, туманно обещая *что-то* Рубцову.

И разве Пименов виноват, что Рубцов поверил в эти обещания?

Нет, конечно. Это даже как-то нетактично со стороны Рубцова было напоминать Владимиру Федоровичу 3 сентября 1965 года новым заявлением: «Прошу восстановить меня на очном отделении» — о его обещании.

Впрочем, Пименов не обиделся на невоспитанного студента.

«Из-за отсутствия мест отказано» — просто и без затей начертал он на рубцовском заявлении...

4

Понимал ли В.Ф. Пименов, *что* значила для Рубцова учеба именно на дневном, а не заочном отделении института, *что* значила для Николая Рубцова прописка?..

Этого мы не знаем...

Может, и не понимал...
И разве только он не понимал?

«Кто-то, пожалуй, упрекнет меня за некоторую безнравственность... — пишет Лев Котюков. — О, Господи, как озабочены чужой, убывающей нравственностью иные весьма и весьма порядочные люди! Так озабочены, что боязно становится за них, за их всепогодную порядочность, за их собственную нравственность, в конце концов! Но дальнейшие рассуждения о морали и нравственности я опускаю ради собственного покоя, а не для краткости изложения.

На следующее утро один из поклонников Рубцова, очень-очень высоконравственный гражданин, с шикарной квартирой на Арбате и при трехэтажной даче в Переделкине, узрев нас, не скрыл искреннего огорчения по поводу задержки поэта в столице — и почти без раздражения помог не только опохмелиться, но и при занять денег «до завтра» на дорогу.

А когда я завел разговор о прописке Рубцова в Москве или где-нибудь в Подмосковье, поскольку в данный момент поэт был отовсюду выписан и фактически был бомжем, покровитель вспылил, возгневался и жестко попрекнул нас в меркантильности и еще в чем-то мещанском. Брякнул нам возмущенно вслед что-то вроде:

— О душе надо думать, а не о прописках!.. Живите, как птицы небесные!.. С народом надо быть, с народом!..

И захлопнул за нами тяжелую, высокомерную, многозамочную дверь своей наследственной квартиры».

И тут не так уж и важно, насколько осознанно и целенаправленно загоняли Рубцова в темный коридор его псевдодрузья и псевдоблагодетели.

Все они, рафинированные интеллигенты и простоватые аппаратчики, какие бы разные предлоги они ни придумывали, отказывали Рубцову в одном — в праве его на мало-мальски устроенную, человеческую жизнь...

Рубцов понимал это гораздо лучше своих друзей-приятелей...

Об этом, уезжая из Москвы, и напишет он в письме Ф.Ф. Кузнецову...

«Феликс! Я обратил внимание, что листок, на котором я пишу, лежит на «Лит. Газете», а в ней написано: «Моя поэтическая личность... всегда отделена от меня».

Это слова какой-то Майи Борисовой, которые приводит в своей статье «Диалог соседей» твой (и наш общий) друг Ал. Михайлов. Приводит их и добавляет: «Мне близка эта мысль, подтверждающая мою позицию в наших спорах о лирическом герое».

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Умники! Ужас! Михайлов, оказывается, не «рубит» в поэзии.

А ты, говорил...

Нашел еще на кого ссыльаться!

Великий русский поэт Борисова! Ну да ладно: **у них своя компания, у нас — своя** (выделено нами. — Н.К.).

Про **свою компанию** сказано без злобы. Скорее с грустью, что такой вот своей компании у него, поэта Рубцова, не было...

5

Лето 1965 года Николай Рубцов провел в Николе.

Все было как и минувшим летом, не было только прежней беззаботности и веселья...

«Николай очень боялся, когда его вызывали в сельсовет... — вспоминала Генриетта Меньшикова. — Однажды наш участковый пришел к нам и сказал, чтобы он пришел в сельсовет. Николай даже побледнел... А оказалось, что участковый учился заочно и не мог решить контрольную по математике...

В те годы у нас жизнь была трудная.

Земли в колхозе не давали, было у нас три сотки, так картошки еле хватало до Нового года.

Заработки тоже были маленькие. Я получала 36 рублей да мать 27.

Вот на эти деньги и надо было жить...»

Бывший председатель никольского колхоза «Россия» Н.А. Беляевский рассказывал мне, что паспорта они начали выдавать своим колхозникам только в 1967 году, и до этого времени все колхозное хозяйство держалось, по сути дела, на подневольном труде.

В это трудно поверить, но — увы! — и полвека спустя после победы советской власти в нашей деревне жили как при крепостном праве. И, конечно же, сам факт появления в этой закрепощенной деревне вольного человека смущал местное начальство.

И вот произошло то, что и должно было произойти.

Фотография Рубцова появилась на доске «Тунеядцам — бой!» в сельсовете. Рубцов стоит на фотографии в свитере, сложив на груди руки. Чуть усмехаясь, прищурившись, он смотрит с этой, быть может, самой лучшей своей фотографии на нас...

Действительно смешно...

Но тогда было не до смеха.

Угнетало и безденежье...

При расчете за книгу «Лирика» Рубцова безжалостно — так казалось ему! — обсчитали.

«Александр Яковлевич! — писал он 19 июня 1965 года А.Я. Яшину. — Я не знаю, как вы сейчас чувствуете себя (или, как здесь говорят, как можете), все в порядке с Вашим здоровьем? Но искренне надеяясь, что Ваш недуг прошел и Вы, как прежде, стали сильным и могучим, я решил обратиться к Вам с просьбой по вопросу, вернее, по делу, важному для меня.

Дело в том, что у меня в Архангельске в Северо-Западном издательстве вышла маленькая книжечка — 1 п. л.

Недавно за эту книжку, за которую я должен был получить оставшиеся 40% гонорара, мне послали всего-навсего 29 рублей. При этом уведомили меня, что никакого недоразумения здесь нет, что произведен окончательный расчет. (И эту-то несчастную сумму они послали после долгой некрасивой волынки.) Они совершенно неожиданно для меня решили оплатить не все строчки, а только, видимо, рифмованные. Решили — сделали. Оплатили 470 рифмованных строк, но фактически в книжке 640 строк, т.е. за ними остался — я в этом убежден — долг. Это долг за 170 строк по 70 коп. Вот уж действительно свинью подложили! Я не злоупотребляю взбивкой строк, да дело еще и в том, что они сами кое-где ее убрали, а кое-где ввели, — значит, в художественном отношении они нашли это целесообразным. Так чего ж они, балбесы, подсчитали только рифмы! Они обязаны мне оплатить были по договору 1 пл., равный 700 строкам (неважно, рифмованных или нет), фактически они обязаны мне оплатить 0,88 пл., равного 640 строчкам (опять же неважно, рифмованных или нет). Правда ведь?

Да во всех порядочных издательствах оплачивают все строки — это я знаю по себе.

Между прочим, у меня в книжке есть и белые стихи. По какому же принципу они оценили их? Если они взяли тут во внимание ритмические строки, то почему же они не сделали этого по отношению к другим «разбитым» стихам?»

Дальше Рубцов рассуждает о рифме, являющейся лишь художественным средством, которое поэт может использовать или не использовать, дальше уверяет, что он, Рубцов, не является миллионером и поэтому просит Яшина нажать на издательство и т.д., и т.д. Над этими рассуждениями можно иронизировать, но, очевидно, удар по планам Рубцова бухгалтерия Северо-Западного книжного издательства нанесла ощутимый...

Осенью 1965 года в письме А.А. Романову, ответственному секретарю Вологодской писательской организации, Николай Рубцов пытается если не обрести свою компанию в лице Александра Александровича Романова, то хотя бы объяснить ситуацию, в которой он оказался:

«Мне тут, в этой глупи, страшно тут: работы для меня нет, местные власти начинают подозрительно смотреть на мое длительное пребывание здесь. Так что я не всегда могу держаться здесь гордо, как горный орел на горной вершине...»

Нужно обратить внимание на некую перекличку этого письма с письмом, адресованным в прошлом году Н.Н. Сидоренко.

Там, как мы помним, тоже возникали образы, связанные с Кавказскими горами: «А если меня исключили, так вы не беспокойтесь обо мне. Бог с ним! Уеду куда-нибудь на Дальний Восток или на



Кавказ. Буду там, на Кавказе, например, карабкаться по горным кручам. Плохо, что ли? Пока могу карабкаться по скалам, до тех пор я живой и полон сил, а это главное».

Но сейчас не остается сил и на браваду. Сейчас Рубцов прямо пишет, что гордость горного орла на вершине не для него.

У него нет уже сил изображать из себя глупую кавказскую птицу.

Разумеется, Рубцов ничего не пишет Романову ни про нищету, ни про свои страхи, что в Николе его уже зачислили в тунеядцы, но и так — крик о помощи слышится в его письме...

Еще перед отъездом из Москвы, 9 июня 1965 года, Рубцов подписал в издательстве «Советский писатель» договор на книгу «Звезда полей».

В договоре на этот один из лучших сборников русских стихов Николай Михайлович Рубцов указал адрес литеинститутского общежития на улице Добролюбова.

Других адресов у него не было.

По этому адресу и живет он осенью 1965 года.

«Рубцову надо было ехать ночевать к кому-то из московских знакомых, я предложил ему остаться у себя, а утром, уходя на лекцию, положил на стол ключ, — вспоминает Сергей Чухин. — Ключ оставался у него полтора месяца.

За эти полтора месяца я заметил, что Рубцов не любит разговоров на литературные темы. Всего охотнее он сходился с людьми, если не далекими от литературы, то уж по крайней мере не поэтами.

Он весьма охотно выслушивал на наших вечеринках рифмованные потоки, где *ему приходилось отыскивать удачные строки*, строфы, чтобы похвалить не кривя душой».

Так, «похваливая, не кривя душой» юных самовлюбленных стихотворцев, и жил в Москве великий русский поэт Николай Рубцов.

Что ж... Нелегальное проживание в общежитии надо было «отрабатывать»...

А что еще оставалось делать ему, вытесненному дружной литературно-ресторанной компанией друзей и недругов в грязные и темные коридоры бесправия?

Но — увы! — и это воистину ангельское терпение не спасало...

В общежитии можно было переночевать, перекантоваться и месяц, и другой, но без прописки в нашей стране не разрешалось жить ни за похвалы чужим стихам, ни за готовность терпеливо сносить хамство сотоварищей...

Тем более опасно было жить без прописки такому человеку, как Рубцов... Он самим своим видом, кажется, привлекал внимание стражей порядка.

Однажды его задержали с чемоданом на Ярославском вокзале в Москве.

— Что в чемоданчике?

— Кукла...

— Кукла?!

Рубцов открыл чемодан, показывая купленную для дочери куклу, и эта кукла и спасла его от дальнейшей проверки... Милиционер не потребовал паспорт, не проверил прописку.

На этот раз Рубцову повезло. Но рассчитывать на подобное везение и в дальнейшем не стоило.

6

В декабре 1965 года Николай Рубцов снова побывал в Вологде на областном семинаре молодых авторов.

Участвовал он уже не как семинарист, но и не как руководитель...

Открыв семинар, Александр Александрович Романов после паузы объявил:

— У нас присутствует студент Литературного института Николай Рубцов.

Так и определен был его статус.

Стихи Рубцов читал уже в завершение семинара, но не для обсуждения, а так, для разрядки. Поэтому и выбрал он для чтения стихотворение из морского цикла «Однажды к пирсу траулер причалил»...

То и дело вскидывая вверх руки, Рубцов читал, как шумят матросы в пивной...

Я сел за стол —
И грязнули стаканы!
И в поздний час
Над матушкой Двиной
На четвереньках,
Словно тараканы,
Мы расползлись
Тихонько из пивной...

После семинара пошли в ресторан «Север».

«В ресторане было шумно и накурено, — вспоминает Н.А. Старичкова. — За столиком сидели Борис Чулков, Нина Груздева и Николай Рубцов. Мы с Пашовым подсели к ним. Возбужденные после семинара и выпитого вина, все много говорили, не забывали и о еде. Официантка то и дело подносила новые порции всеми любимого блюда — заливного судака.

Рубцов ел и пил мало. Сидел молча.

Нина Груздева пошутила, что он потерял голос.

На что он очень серьезно и грустно ответил: «Вы сейчас разойдетесь по домам, а мне пойти некуда».

С этими словами он резко встал из-за стола и, не глядя ни на кого и не прощаясь, пошел к выходу.

Прошло несколько минут. К столу Рубцов не возвращался».

— Неужели ушел? — спросила Старичкова.

— На вокзал, наверное, отправился... — ответили ей. — В городе у него никого нет.

Старичкова догнала Рубцова.

— Правда, что у вас близких нет в городе? — спросила она.

— Правда, — ответил Рубцов.

— Я живу недалеко отсюда. Вы можете переночевать в моем доме.

— Хорошо, пойдемте, — улыбнулся Рубцов. — Но я мог бы и на вокзале.

Так началось его знакомство с женщиной, ставшей, быть может, самой верной его почитательницей, в доме которой не раз находил он приют и помощь в трудные минуты жизни.

7

«До сих пор поражаюсь, как жил Николай, не имея не только работы, но и крыши над головой в течение 1965-го, 66-го, 67-го, 68-го годов? Теперь, при всеобщей любви к поэту, все это выглядит очень странно, в равной мере как неестественно и нелепо», — пишет Сергей Багров и вспоминает, что многие дни Николай проводил в редакции молодежной газеты.

Он был со всеми, как все....

Но надвигался вечер, кончался рабочий день.

«Журналисты дружно и весело убирали в столы недописанные заметки, выходили на улицу и спешили домой. Лишь Рубцов не спешил. Хорошо,

кабы кто его подхватил и увел к себе на квартиру
Но такое случалось редко. Сам же Рубцов в ноч-
лежники ни к кому обычно не набивался. Выходя
на крыльце, он одиноко пересекал асфальтиро-
ванную дорогу и углублялся в аллеи сквера, где ку-
рил сигарету за сигаретой и мрачно гадал, в каком
из домов для него в этот вечер откроется дверь?»

Положение Рубцова было настолько отчаянным
и безвыходным, что он пытался в конце 1965 года
даже разыскать сестру Галину, чтобы прописаться
хотя бы в ней в Череповце.

Но и с пропиской в Череповце ничего не полу-
чилось.

И снова мысли Рубцова возвращаются к инсти-
туту.

«Заявление

*Прошу восстановить меня на дневном отделе-
нии института.*

*Я перевелся по личному заявлению с дневного
на заочное отделение сроком на один год летом
1964 г., так как хотел побывать ближе к обстанов-
ке современной деревни: это было необходимо для
написания книги.*

*За это время я опубликовал книгу стихов о де-
ревне «Лирика» (г. Архангельск 1965 г.) и подгото-
вил книжку «Звезда полей», которая уже одобрена
издательством «Советский писатель». А также
опубликовал циклы стихов в журналах «Молодая
гвардия», «Октябрь», «Юность» и др.*

*Но поскольку по месту жительства (с. Ни-
кольское Вологодской обл.) я испытываю большие
затруднения в подготовке к занятиям и в повы-
шении своего культурного уровня (ближайшая
районная библиотека расположена за 100 км от*

деревни), я хотел бы завершить свое образование на дневном отделении.

Прошу в просьбе не отказать.

18/III — 66 г. Н. Рубцов»

Но заявление это Рубцов так и не отправил.

Протертное на сгибах, оно хранится не в литеинститутском деле поэта, а в Государственном архиве Вологодской области, в рубцовском фонде.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Горница Николая Рубцова

Трудно проследить все скитания тридцатилетнего Рубцова...

Многие авторы воспоминаний сетуют, что он мог, например, выйти из комнаты и, никому не сказав ни слова, уехать на вокзал и отправиться в Вологду, в деревню.

Проходит день, другой... Замечают, что Рубцова нет. Где же он? Никто не знает...

Но что должен был говорить Рубцов, если он и сам не знал, куда ему ехать, если во всей огромной стране не находилось для него места? Он и ехал куда придется — к товарищам, к полузнакомым людям.

Отношения с семьей к этому времени — увы — окончательно разладились.

1

Л.С. Тугаринова вспоминала, что мать Генриетты Михайловны — Александра Александровна, работавшая уборщицей в сельсовете, окончательно разругалась с ним, когда Рубцов отверг вынашиваемый ею план определить его в председатели Никольского сельсовета.

Теперь, когда Рубцов приезжал в Николу, Александра Александровна встречала его вопросом:

— Чего ты, Колька, опять приехал? Своих-то (это говорилось про дочь и внучку) когда заберешь?

Генриетта Михайловна, конечно, радовалась, когда приезжал Рубцов, топила с дороги баню, но ей и самой (36 рублей жалованья) жилось с дочерью нелегко.

«Плохо, плохо они с Гетой его держали... — рассказывала Л.С. Тугаринова. — Пойдем с ним, бывало, на целый день на болото за клюквой, а он только хлеб ест да водичкой запивает...

Я скажу:

— Возьми хоть молока попей...

— Молока? Молока, — говорит, — можно.

А клюкву он чисто брал — ни одной соринки. Ее по семьдесят копеек тогда принимали».

Об этом же вспоминает и Нина Геннадьевна Курочкина:

«Когда летом ходили с ним на болото, Рубцов мне показывал все сенокосы, где они с детдомовскими ребятами работали. За Левашиной показал на место бывшего хутора и сказал: «Вот бы здесь построить домик в три окна. За домом — березы, а под окном — смородина, рябина, черемуха. Пиши сколько душе угодно, никто не помешает...»¹

Нелепо упрекать Генриетту Михайловну или ее мать Александру Александровну за такое отношение к Николаю Рубцову. И помощи от него для семьи не было, и характер был, мягко говоря, нелегкий...

Рубцов понимал это, но понимал по-своему:

«Я проклинаю этот божий уголок за то, что нигде здесь не подработаешь, но проклинаю молча,

¹ Про эту избу, воспетую впоследствии Николаем Рубцовым, вспоминает и Генриетта Михайловна Меньшикова: «Коля все хотел купить домик. За деревней около мастерских была столовая, стояла она у оврага, вот он и хотел ее купить...»

чтоб не слышали здешние люди и ничего обо мне своими мозгами не думали. Откуда им знать, что после нескольких (любых, удачных и неудачных) написанных мной стихов мне необходима разрядка — выпить и побалагурить».

Иначе, но об этом же писал он и в стихотворении «Полночное пенье».

Когда за окном потемнело,
Он тихо потребовал спички
И лампу зажег неумело,
Ругая жену по привычке.

И вновь колдовал над стаканом,
Над водкой своей, с нетерпением...
И долго потом не смолкало
Его одинокое пенье.

За стенкой с ребенком возились,
И плач раздавался, и ругань,
Но мысли его уносились
Из этого скорбного круга...

«Тот, кто встречался с ним, — пишет Станислав Куняев, — не забудет, как Рубцов пел свои песни. Пел их для себя в минуты свободы, тоски и полной раскрепощенности. Но чтобы раскрепоститься, Рубцов должен был обязательно выпить, как он говорил, «вина».

Вот тогда-то он брал в руки обшарпанную гармошку или гитару, склонял голову с прядью редких волос, зачесанных на лоб, и, рванув меха, начинал не петь, а плакать, равномерно раскачиваясь:

П-о-о-тону-ула во мгле
Отдале-о-о-нная при-и-истань...

Вся жизнь с ранним сиротством, с деревенским детдомом, со скитаниями по России-матушке, с вечной бездомностью, с тоской по близкой и не встретившейся на житейских дорогах душе изли-

валась под скрипучие звуки разбитой гармошки...
Это было не исполнение, а самозабвение...»

С таким же «самозабвением», должно быть, поет и герой «Полночного пенья».

И долго без всякого дела,
Как будто бы слушая пенье,
Жена терпеливо сидела
Его молчаливою тенью.
И только когда за оградой
Лишь сторож фонариком светит
Она говорила: — Не надо!
Не надо! Ведь слышат соседи! —
Он грозно вставал,

— Я пью, — говорил, — ну и что же? —
Жена от него отходила,
Воскликнув: — О господи боже!.. —
Меж тем как она раздевалась
И он перед сном раздевался,
Слезами она заливалась,
А он

Разумеется, тщедушный Рубцов, покупавший одежду в детских магазинах¹, только самому себе в алкогольном опьянении и мог показаться «громилой»...

Покойный Борис Примеров, тоже не отличавшийся могучим телосложением, вспоминая о встречах с Рубцовым, употребил очень точное словечко: «Рубцов вспыльчивый был, а я тоже горячий... Вот и *сцепились мы* с ним однажды *в две моши...*»

Так что, сравнивая своего героя с «громилой», Рубцов отнюдь не случайно употребил это слово.

¹ Примечание для нынешних читателей. В советские годы детская одежда даже и больших размеров стоила намного меньше, чем взрослая.

В стихах он **все** понимал, **все** мог выразить. Совсем другое дело — в жизни.

Здесь Рубцов часто и не хотел ничего понимать...

Финальные строки «Полночного пенья» — случайно ли? — перекликаются с «Соловьями», описывающими разрыв с Таей Смирновой.

Соловьи, соловьи заливались, а ты
Все твердила, что любишь меня.
И, угрюмо смеясь, я не верил тебе.
Так у многих проходит любовь...

Можно только догадываться, **как** пугала близких Рубцова его способность сознавать свою неправоту, мучиться ею и тем не менее продолжать утверждать ее в жизни...

И дело тут не в какой-то угрюмости или озлобленности Рубцова, а просто в неумении соразмерять свои слова и поступки с окружающим бытом. Основу этому, как мы уже говорили, заложил детдом, а дальнейшая скитальческая жизнь еще сильнее развila это свойство.

В десятках воспоминаний сохранилась история, как однажды Рубцов снял в Красном уголке, в общежитии Литературного института, все портреты классиков и затащил к себе в комнату. Наутро он объяснил разгневанному коменданту, что ему просто хотелось провести какое-то время в компании приличных людей.

Случай анекдотичный, но для Рубцова характерный.

Разговаривать с портретами иногда было проще, чем говорить с живыми людьми. Рубцову действительно — вспомните: он судил коллег на уровне своего мастерства, а это было слишком высоко и непонятно для многих окружающих его людей... —



могло показаться, что портреты понимают его лучше.

И вот в середине шестидесятых в Рубцове происходит перелом.

После ряда безуспешных попыток хоть как-то ублагополучить себя в жизни — все его заявления и просьбы оказались безрезультатными! — Рубцов словно забывает, что нужно устраиваться, и уже не предпринимает ничего, окончательно свыкнувшись с мыслью, что только в своих стихах и может он существовать...

И перебирая сейчас адреса, по которым жил Рубцов в середине шестидесятых, понимаешь, что **по-настоящему** Рубцов жил не в общежитии на Добролюбова, не в Николе, не у вологодских и московских своих приятелей, а только в поэзии.

Там и было его жилье, ***его горница...***

2

Обманчива простота и ясность рубцовских стихов.

Если вдумываться, отыскивая в них будничный смысл, то окажется, что все здесь как-то несуразно и нелепо...

В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.

Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды...

Ну зачем, скажите, идти матери ночью за водой, какая надобность? И при чем тут «красные цветы», которые «в садике завяли все»? При чем «лодка на речной мели», которая «скоро догниет совсем»?

Поиск будничного смысла разрушает волшебство стихотворения, превращает его в груду нелепых обломков...

Но еще более нелепо предполагать, что эти прекраснейшие стихи написаны по рецепту эстрадной песни, где только звучание голоса и создает реальность, где только мелодия и ритм и могут связать бессмысленные слова...

Чтобы найти разгадку, вспомним, что первая редакция «Горницы»¹ существенно отличалась от канонического варианта.

Первоначально это стихотворение было названо «В звездную ночь».

В горнице моей светло,
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды.

— Матушка, который час?
Что же ты уходишь прочь?
Помнишь ли, в который раз
Светит нам земная ночь?

Красные цветы мои
В садике завяли все,
Лодка на речной мели
Скоро догниет совсем.

¹ Николай Рубцов. Собрание сочинений в трех томах. Т. 3. стр. 186.

Сколько же в моей дали
Радостей пропало, бед?
Словно бы при мне прошли
Тысячи безвестных лет.

Словно бы я слышу звон
Вымерших пасхальных сел...
Сон, сон, сон
Тихо затуманит все.

Сравнивая эту редакцию с окончательным текстом, видишь, чего добивался Рубцов. Он уходит от описания погружения в то состояние души, которое воссоздано в «Горнице», к самому этому состоянию...

Рассчитывая на чуткого читателя, Рубцов не снабжает свое стихотворение подзаголовком — «сон», более того, он безжалостно вычеркивает все строфы, дающие ключ к такому прочтению стихотворения, и прямо с первых же строк разворачивает сновидение:

В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.

И все упорядочивается, все встает на свое место.

Разумеется, светло!

Звездный свет не высветит ни чугун с картошкой, ни табуретку. Для быта его не хватает — зато вполне достаточно для памяти, для того, чтобы увидеть в ее сумерках самое главное, то, что, кажется, навсегда было позабыто.

Звезды вообще дают у Рубцова больше **нужного** света, чем луна или солнце. Того света, который необходим для прозрения:

Виднее над полем при звездном салюте,
на чем поднималась великая Русь.

И сейчас, в свете ночной звезды, тоже виднее.
Видно давно умершую, но никогда не умиравшую
в памяти Рубцова мать. И ее поступки, ее действия:

Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды... —

alogичны только для дневного, «забытого»
сознания, не замечающего, что «в любой воде та-
ится страх...».

Здесь же, в сновидении, они полностью оправ-
даны, ведь:

Красные цветы мои
В садике завяли все.

Te красные цветы, которые в поэтическом мире
Рубцова неразрывно связаны с матерью, с ее смер-
тью...

Об этом, как мы уже говорили, Рубцов писал и
в своей прозе, и в стихотворении «Аленький цве-
ток»...

Красный цветок нес шестилетний Рубцов за
гробом матери...

Чтобы полить этот увядший в памяти цветок, и
принесит матушка воды. И тогда сразу оживает за-
бытое в дневной сутолоке: «Лодка на речной мели
скоро догниет совсем». Та лодка, на которой пред-
стоит плыть «на тот берег», когда завершится жиз-
ненный путь.

Появление матери стряхивает дремоту с души,
вселяет в нее силу, необходимую для свершения
самых главных дел, о которых днем недосуг было
подумать:

Завтра у меня...
Будет хлопотливый день!
Буду поливать цветы,

Думать о своей судьбе,
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе...

Опять-таки и здесь ночная звезда является не просто как знак конца дневного времени суток, не только для закольцовки стихотворения, а как некая мера духовного, эталон, по которому дневные, будничные мысли выверяются с вечными...

Разумеется, никто не читает рубцовские стихи, детально расшифровывая их смысл.

Это и не нужно.

Глубинный смысл передается за счет высокого духовного напряжения прямо в душу читателя.

Перед нами художественное в высшем его проявлении, и оно не нуждается ни в дополнительном толковании, ни в расшифровке. Поэт точно и во всей глубине передал свое душевное состояние, в простых и как бы безыскусных словах сумел закрепить свет, замерцавший в его душе.

И свет этот стал принадлежать всем.

Если сравнить стихотворение «В горнице» с тем, что писал Рубцов о матери на флоте:

Еду в отпуск в Подмосковье
И в родном селении опять
Скоро, переполненный любовью,
Обниму взволнованную мать... —

ясно можно увидеть тот путь, который прошел он за это десятилетие.

Разница, разумеется, не только в так называемом поэтическом мастерстве, не в том, что во флотских стихах содержание нередко диктуется условиями рифмовки (если с «любовью» лучше рифмуется «Подмосковье», то именно туда, в еще неведомую Николаю Рубцову местность, и отправляется герой)...

Различие тут — в методе преодоления границы, разделяющей живых и мертвых.

В «Горнице» встреча с умершей матерью становится реальностью в том особом состоянии души, которого достигает поэт.

Лирическая стихия Рубцова — это особая стихия, которая хотя и персонифицируется порою в поэте, даже и в этот момент одновременно живет по другим, недоступным для живого человека законам, ибо наделена несвойственными человеку способностями.

Эта самостоятельная сущность, сливаясь с которой и получает поэт возможность ощущать за предельные миры, получая ту информацию из будущего, — вспомните: «Я умру в крещенские морозы...», — которая недоступна обыкновенному человеку, не умеющему различить голоса иных сфер...

Читая воспоминания о Рубцове, и иногда кажется, что он прямо из своей *горницы* и появлялся порою перед людьми. Так, на наш взгляд, появился Николай Михайлович в деревне Петряево, где жила мать Александра Александровича Романова...

«Стоял на крылечке такой бесприютный, а в спину ему так и вьет снегом, — вспоминала она. — Ну, скорей зову в избу. Пальтишко-то, смотрю, продувное...

Поутру он встал рано. Присел к печному огню да попил чаю и заторопился в Воробьево на автобус. Так уж просила подождать горячих пирогов, а он приобнял меня, поблагодарил и пошел в сумерки.

Глянула в окошко — а он уже в белом поле покачивается. В вихрях снега...»

Еще рассказывала Александра Ивановна, что вечером, отогревшись после дороги, Рубцов читал стихи...

— Про детство свое, когда они ребятенками малыми осиротели и ехали по Сухоне в приют. Про старушку, у которой ночевал, вот, поди-ко, как у меня. Про молчаливого пастушка, про журавлей, про церкви наши, поруганные бесами... И вспугнуть-то боюсь: так добро его, сердечного, слушать, а у самой в глазах слезы, а поверху слез — Богородица в сиянии венца. Это обручальная моя икона... А Коля, будто троеперстием, так и взмахивает над столом, будто крестит свои стихотворения.

«Это было в предзимье, — писал, вспоминая рассказ матери, Александр Александрович Романов. — Когда разбитая за осень дорога на Двиницком волоку крепнет от первых морозов и трогаются на конец-то автобусы в дальние места. Возможно, он пробирался в Тотьму, в свои палестины, и вздумал попутно взглянуть и на мою деревню, отстоящую всего в пяти верстах от Двиницкого волока. Бог весть».

Бог весть...

Время размывалось не только в стихах Рубцова, но и в его жизни, и, может, действительно пробирался тогда Рубцов в свои «палестины», а может, просто, как пять лет назад, искал свою горницу, в которой можно приткнуться со своими стихами, выйдя из окутанного снежными вихрями зимнего поля сиротской судьбы...

3

А это: «13 февраля. У нас третий день живет Николай Рубцов, поэт из Тотьмы...» и «19 февраля. Н. Рубцов пришел пьяным и поздно, отказали ему в дальнейшем гостеприимстве», — записи из дневника Александра Яшина за 1966 год...

Негде было Рубцову жить в Москве, негде было жить и в Вологде.

— У него уже была семья, — рассказывала Нина Васильевна Груздева: — Вот если бы ему дали раньше квартиру, они все вместе жили бы одной семьей, как все нормальные люди. А так они порознь жили. Он скитался, ночевал где придется, потом стал выпивать. Он ведь очень замкнутый был, когда трезвый. Его не разговоришь было.

А когда выпьет, раскрывался и становился интересным собеседником, брал гитару или гармошку, пел свои песни. Люди получали удовольствие от этого. И чтобы получить это удовольствие, они приходили к нему с бутылкой. Или там, куда он приходил, появлялась бутылка, а закуски не было...

На работу без прописки его не брали. Только в областных газетах подрабатывал, и все. А их всего две у нас было на всю Вологодскую область. От газеты его могли иногда послать в какую-то командировку и оплатить ее. А на это ведь не проживешь, и на гонорар семью нельзя содержать.

Ко мне он частенько приходил, денег занимал.

Один раз пришел зимой: сидит, молчит, а на улице холодно. Он всегда ходил в таком осеннем пальтишке, всегда без рукавиц. Постоянно терял рукавицы, а на новые у него не было денег...

И вот пришел к нам, сидит целый вечер, молчит. Я вижу, что ему идти некуда, шепчу Рите: «Рита, Коле некуда идти».

Она говорит: «Сходи, попроси вахтершу, может, она ему разрешит переночевать. Мы на одной кровати спим, а он — на другой».

В общежитии мы тоже не сами себе хозяева. Я пошла уговаривать вахтершу. В такую метельную ночь как его выгонишь?

Вахтерша меня поняла: «Хорошо, девки. Только до восьми утра».

Я вернулась. Мы его покормили.

— Коля, — говорю, — ложись на мою кровать.

— А ты куда?

— А я с Ларисой посплю.

Кровати-то у нас узенькие, но и мы тогда худенькими были, вместе с Ларисой поместились бы на одной.

— Нет, — говорит, — я на полу посплю, закроюсь своим пальто и посплю.

Так до полночи и не могли его уговорить на кровати спать.

Вот ведь как он жил! Он переночевать на полу и то был рад. А если бы ему жилье дали? То и жил бы как все нормальные люди. Может быть, до сих пор жив бы был...¹

Иногда Николай Рубцов шел к Н.А. Старичковой.

«Диванчик стал постоянным местом, куда Коля садился, — вспоминает она. — Садился не расслабленно, не разваливаясь, а стесненно, с краешку, положив нога на ногу и переплетая их. Целый вечер он мог просидеть в такой позе, чуть подаввшись вперед при разговоре и жестикулируя руками. Что-то беззащитное было в таком его облике, даже волосы, легкие и тонкие, трогательно пушились на затылке...

За разговорами время летит незаметно. Вот уже вечер. Приходит с работы жена брата. Коля не собирается уходить. Да и куда он пойдет? Угла у него по-прежнему нет. Сидит, задумавшись, вроде бы погруженный в себя, а рядом — чужая семейная жизнь.

¹ Е. Суворов. В гости к Рубцову. www.rubtsov.id.ru/nash_rubtsov/kirillova.htm

Молодая, энергичная женщина занимается домашними делами: то уходит на кухню, то возвращается снова. Ни говоря ни слова, принимается мыть пол.

И тут Коля, не поднимая головы, говорит:

— Люся, ты же меня смущаешь...

— А ты, Коля, не смотри! — сразу же парирует она.

— Да, мне не надо смотреть... — тихо говорит он, с ударением на «не надо».

Нинель Александровна вспоминает, что Рубцов не любит слово «должен».

— Ты должен понять! — как-то сказала она.

— Я никому ничего не должен! — вспылил Рубцов. — Ничего не должен.

И он резко замахал руками, как бы стряхивая с них что-то.

— Ну, — сказала Старичкова, — если ты так считаешь...

— Я не бухгалтер... — еще больше возбудился Рубцов. — Я не считаю, я ничего не считаю...

4

Лето 1966 года Рубцов встретил в общежитии Литературного института.

Опять наступали каникулы, и опять некуда было ехать ему...

«Пошли однажды компанией, человек семь, в столовую пить пиво... — вспоминает Борис Шишаев. — Сидели долго. Николай неожиданно сказал: «Надо мне куда-нибудь поехать. Туда, где никто меня не знает...»

Слова эти выражали усталость».

Мы говорили о том, как, пытаясь возвыситься, унижали Николая Михайловича Рубцова юные лит-

институтовские «гении». Но надо сказать и о том, что нигде больше за всю свою жизнь не встречал Рубцов такой (пусть зачастую хамоватой и полу-пьяной) отзывчивости, как в общежитии на улице Добролюбова...

Вот и сейчас — едва успел сказать, — как тут же начали предлагать адреса, куда можно поехать. И уже вечером Рубцов «ходил по комнате и с веселым, не соответствующим теме видом твердил экспромт:

Наше дело — верное,
Наши карты — козыри,
Наша смерть, наверное, —
На Телецком озере.

Таким — веселым, но со страшными словами о смерти — и запомнился Рубцов товарищам накануне поездки на Алтай.

В этом неожиданном предприятии была своя логика.

До смерти надоело прятаться от коменданта, ночевать на чужих кроватях. Хотя «надоело» — неудачное слово. Правильнее заменить его — усталостью. Смертельная усталость порою охватывала перевалившего на четвертый десяток Рубцова, та усталость, когда человеку в тягость становится и сама жизнь. Поэтому, наверное, и не удивляло никого сочетание «веселой улыбки» и страшного содержания экспромта.

С мыслями о смерти Рубцов, кажется, уже и не расставался, а веселье тоже объяснимо. Оно оттого, что удалось так хорошо придумать — уехать, забиться в даль, где тебя никто не знает, исчезнуть, чтобы... чтобы...

Едва ли Рубцов думал в ту минуту о смерти всерьез, но, поскольку эта мысль всегда жила в нем, она

получала неожиданное и какое-то романтически-красивое развитие.

Вот и улыбался Рубцов, повторяя свой страшный экспромт.

Но повторим, что удивляет — не это...

Удивительнее то, что Рубцов пережил в Сибири...

Он взял в журнале «Октябрь» командировку и поехал в Сибирь, словно бы притихнув, как и всякий впервые едущий туда человек, перед самой огромностью этого слова.

Сибирь он представлял себе смутно...

«Пишу тебе из Сибири, — сообщил он 28 июня А.А. Романову. — Ермак, Кучум... Помнишь? Тайга, Павлик Морозов...»

Но Сибирь встретила Рубцова совсем не угрюмо, совсем не сурово, а не по-сибирски весело.

И не пустынной оказалась она, а переполненной людьми.

По-ярмарочному тесно и весело в стихотворении Николая Рубцова «Весна на берегу Бии»:

Трактора, волокуша с навозом,
Жеребята с проезжим обозом,
Гуси, лошади, шар золотой,
Яркий шар восходящего солнца,
Куры, свиньи, коровы, грачи,
Горький пьяница с новым червонцем
У прилавка
и куст под оконцем —
Все купается, тонет, смеется,
Пробираясь в воде и грязи!

И такая животворящая сила исходила от этого весеннего столпотворения людей и домашней живности, солнца и воды; такая сила вливалась в поэта от этой еще не до конца разоренной кремлевскими упырями земли, что забывались мрачные мысли. Их вытесняло ощущение сказочного,

былинного могущества, когда «услышат глухие», «прозреют слепые», когда захлестывает человека рвущаяся изнутри радость жизни:

Говорю я и девушке милой:
— Не гляди на меня так уныло!
Мрак, метелица — все это было
И прошло — улыбнись же скорей.

Этот радостный оптимизм в общем-то совершенно несвойствен Рубцову. И объяснить его можно только удивительным состоянием самого поэта, пережитым в Сибири. Даже в письмах к друзьям прорывается столь нехарактерная для эпистолярного наследия поэта радость жизни:

«Цветы здешние мне понравились. Вино плохое. Поэтому, наверное, я его так редко здесь пью. Предпочитаю чай».

5

Борис Шишаев в очерке «Алтайское лето Николая Рубцова» приводит воспоминания Матрены Марковной Ершовой, у которой в деревянном домике № 161 по улице Радищева останавливался в Барнауле Рубцов...

Войдя в дом, Рубцов нерешительно поздоровался и негромко сказал:

— Наверное, вы и есть Матрена Марковна... А меня зовут Николай Рубцов. Я из Москвы, от вашего брата Васи Нечунаева. Мы учимся с ним вместе. Он сказал, что вы разрешите мне остановиться у вас на некоторое время. И письмо вот просил передать...

Матрена Марковна засуетилась, стала расспрашивать о брате — как он там? — но тут же прервала себя:

— Господи, ведь человеку надо умыться, поесть с дороги...

Поначалу Матрена Марковна растерялась — из самой Москвы гость...

Но потом присмотрелась — пиджак поношенный, и туфли стоптались, пора бы уже и новые. Понравились добрые глаза, понравился свойский и в то же время культурный разговор. Понравилось, что стесняется...

Слово за слово — и незаметно напряженность ушла.

Расспрашивал Николай просто, неназойливо, и, отвечая ему, Матрена Марковна с удовольствием рассказывала о своей жизни, словно душу облегчала.

Скоро ей начало казаться, что она знает Рубцова давным-давно.

— А как там Вася наш? — спросила она. — Не пьет?

— Не пьет... — ответил Рубцов и опустил глаза.

Это тоже понравилось Матрене Марковне.

В сказку о непьющем брате она все равно не верила, но дорого было, что Рубцов не стал врать, глядя прямо в глаза. Сразу стало видно — ***не умеет кривить душой, хоть и поэт.***

Еще Матрене Марковне понравилось, что ребята — и Раев, и Вовка — моментально приладились к гостю.

«Раньше придет кто-нибудь чужой, — рассказывала она Борису Шишаеву, — так они дичатся, стараются на глаза не показываться. А Николай заговорил, расспросил их о том о сем, пошутил раз другой, а они уже болтают с ним, смеются, как со своим».

Сели за стол — Матрена Марковна поставила перед Николаем отдельную тарелку, но он запротестовал:

— Что вы! Что вы! Я с вами из общей буду. Ведь так вкуснее! С детства люблю из общей.

Определили Рубцова в той самой комнатке, где до поступления в Литературный институт жил Василий. Стены ее сплошь были испещрены нечунаевскими стихами и рисунками. Ни одного из этих четверостиший Матрена Марковна раньше прочитать не могла — слишком мудреный был у брата почерк. А тут, перед самым сном, слышит — смеется Николай в комнатушке. Заглянула — он читает строки на стене. Расшифровал и ей несколько озорных надписей, посмеялись вместе, вспомнили опять о Василии.

Тогда и подумала Матрена Марковна, что Николай ничуть не похож на других друзей Василия — поэтов, которые нередко наведывались к брату в гости. Да и вообще **на поэта не похож**.

Добрый, вежливый и внимательный...

Переночевав у Ершовых, Рубцов сказал Матрени Марковне, что ему надо встретиться с барнаульскими писателями, а потом он, возможно, поедет в Горный Алтай.

Ушел, и несколько недель его не было. Появился неожиданно — загорелый и посвежевший, в хорошем настроении. Рассказал, что гостил у поэта Геннадия Володина в предгорном райцентре Красногорское.

И снова оживленно и радостно сделалось в доме, когда Рубцов снова поселился в нечунаевской комнатушке. На огороде к тому времени начали созревать огурцы и помидоры.

— Вот что, Матрена Марковна, — сказал однажды Николай, — пойду-ка я нарву помидоров и сочиню салат по-ленинградски. Вы такого никогда не ели.

И сделал, да так получилось вкусно, что уничтожен был салат мгновенно, а Рая с Вовкой даже еще захотели. Ели опять же из общей миски, и очень нравилась Николаю такая простота.

Помогал Рубцов Матрене Марковне и в других делах по дому, и всегда удивлялась она его сноровке, обнаруживающей большой жизненный опыт.

А вечерами вели неторопливые разговоры — вспоминали каждый о своей нелегкой жизни. Матрена Марковна рассказывала, как потеряла во время войны любимого человека, а потом неудачно вышла замуж, намучилась вволю и в конце концов осталась одна с двумя детьми. Открывала наболевшее, и легче становилось на сердце, потому что светилось в рубцовских глазах родственное понимание и сочувствие.

Матрена Марковна рассказывала, что Рубцов — а такое редко случалось с ним! — охотно делился с нею воспоминаниями о сиротской жизни...

6

Это свидетельство важно и потому, что именно в Сибири Рубцов сумел преодолеть назревавший кризис, увидел другой, возможный для себя вариант жизни.

Об этом его стихотворение «В сибирской деревне»:

То желтый куст,
То лодка кверху днищем,
То колесо тележное
В грязи...
Меж лопухов —



Мастерскими, как бы небрежными мазками на-брасывает Рубцов пейзаж окружающей местности, а на самом деле, как и положено у Рубцова, каждая деталь пейзажа несет тот внутренний, почти не осознаваемый смысл, который определяет логику стиха.

Лодка, которой по законам рубцовской поэзии положено догнивать на речной мели, перевернута кверху днищем, готова к ремонту, а может, уже и к будущему плаванию...

Поэтому и не пугает валяющееся в грязи колесо от разбитой телеги.

Все равно, дальше уже не ехать, а плыть... плыть...

И малыш сидит среди лопухов...

На мгновение, словно легкий вздох, еще слышен голос неторопливого пейзажиста:

Его, наверно, ищут... —

и все, пейзаж исчезает, вернее, автор-пейзажист исчезает, сливаясь с ребенком.

И хотя намеченное действие еще продолжается: «Скулит щенок и все ползет к ребенку...», — оно потеряло смысл, игра закончена. Взрослый мир Николая Рубцова стремительно заполняет строфу смертной печалью:

А тот забыл,
Наверное, о нем —
К ромашке тянет
Слабую ручонку
И говорит...
Бог ведает, о чем!..

Про ромашки у Николая Рубцова написано не-мало, и всегда ромашки у него «будто бы не те»...



Понятно, что с реальным пейзажем распахивающееся перед нами мироздание сходно точно так же, как берег моря с крохотной песчинкой на нем. Само необратимое время перестает действовать в безднах открывающейся высоты, оно уже не властно в распахнувшемся пространстве:

Но крепче сон,
Когда в ночи глухой
Со всех сторон
Шумят вершины сосен,
Когда привычно
Слышатся в лесу
Осин тоскливых
Стоны и молитвы...

Слово, обращенное к Богу — не забудем, что у Рубцова оно произносится младенческими устами! — и достигшее Его, уже само несет в себе исконый Ответ об ином, возможном в пространстве, где нет времени, Пути.

Отец, тот предатель, которого столько раз при жизни убивал Рубцов в своих стихах и с которым он полупримирился четыре года назад, незадолго до его реальной смерти, снова возникает из смешанных с глухой тишиной стонов и молитв:

В такую глушь,
Вернувшись после битвы,
Какой солдат
Не уронил слезу?

И сливаются слезы отца и сына в едином искупительном порыве прощения и покаяния.

Примирение состоялось.

Медленно рассеивается мерцающий свет вечности...

Случайный гость,
Я здесь ищу жилище... —

все еще про себя, все еще *там* говорит Рубцов, но окружающий мир уже обретает привычные глазу очертания, и только память об искупительном чуде помогает ровно, не ломая интонации, закончить эту более сходную с молитвой пейзажную зарисовку:

И вот пою
Про уголок Руси,
Где желтый куст
И лодка кверху днищем,
И колесо,
Забытое в грязи...

Незаметное стихотворение Рубцова «В сибирской деревне», несомненно, имело истоком какое-то очень глубокое прозрение его автора.

Свидетельством этого прозрения может служить и стихотворение «Шумит Катунь»:

...Как я подолгу слушал этот шум,
Когда во мгле горел закатный пламень!
Лицом к реке садился я на камень
И все глядел, задумчив и угрюм,

Как мимо башен, идолов, гробниц
Катунь неслась широкою лавиной,
И кто-то древней клинописью птиц
Записывал напев ее былинный...

Правда, само стихотворение является как бы конспектом произошедшего озарения. Из него можно лишь узнать, в чем именно («Молчат цветы, безмолвствуют могилы, И только слышно, как шумит Катунь...») состояло озарение, но никакого чуда, подобного тому, что происходит в стихотворении «В сибирской деревне», в нем не совершается...

— Я еще раз поеду на Катунь, — говорил Николай Рубцов Г. Володину, — поброшу по берегу, шум

реки послушаю. Знаешь, в этом шуме свой ритм и своя интонация. Ни с чем не сравнимая интонация...

7

Впрочем, «конспект» пригодился Рубцову, когда он здесь же, на Алтае, на Чуйском тракте, писал «Старую дорогу»:

Все облака над ней,
все облака...
В пыли веков мгновенны и незримы,
Идут по ней, как прежде пилигримы,
И машет им прощальная рука.
Навстречу им июльские деньки
Идут в нетленной синенькой рубашке,
По сторонам — качаются ромашки,
И зной звенит во все свои звонки,
И в тень зовут росистые леса...
Как царь любил богатые чертоги,
Так полюбил я древние дороги
И голубые вечности глаза!¹

Страшному, сопровождаемому грохотом и воем, лязганьем и свистом пути, по которому движется «Поезд», Рубцов сумел противопоставить этот путь «Старой дороги», где движение осуществляется, как и в стихотворении «Видения на холме», в молитвенной одновременности прошлого и будущего:

Перекликаясь с теми, кто прошел,
Перекликаясь с теми, кто проходит...
Здесь русский дух в веках произошел.
И ничего на ней не происходит.

Интересно, что этим летом 1966 года товарищ Николая Рубцова по детдому Анатолий Мартю-

¹ Стихотворение «Старая дорога» было опубликовано в «Алтайской правде» 30 августа 1966 года.

ков, **как бы вместо Рубцова**, побывал в Никольском...

Разумеется, летом 1966 года Анатолий Мартюков не знал стихотворения «Старая дорога», но, ывая проносящуюся за окном автобуса до вспоминал слова Рубцова, имевшие самое едственное отношение и к стихотворению, **ой старой дороге...**

аль старой дороги. Новую прямую проют. Разрежут все на мелкие части... Пеше-ничего не остается...

стаяя дорога звала ускорить шаг, прибавляла то была дорога встреч на каждом ее кило-

мнились покатые поля за Фатьянкой, среди разнотравья, желтая извилистость дороги. ин километр легкого пути к Николе. С гор- редчествием близкой сырости болотин и . К деревянному мосту через Толшму, что лым селом Никольским. Под красной цер- Николая Чудотворца...»

олий Мартюков утверждает, что эти впечат- – из той, 1966 года, поездки в Никольское... ѿедь, по сути дела, **это** впечатления самого я Рубцова, вернее лирического героя его ворения, который на старом Чуйском трак- ет о душе, которая «звенит, перекликаясь со сняющей солнечной листвой»...

зве не чудо поэзии, что эта перекличка душ ает быть поэтическим образом, а становит- же самое мгновение реальностью жизни...

Но этот дух пройдет через века!
И пусть травой покроется дорога,
И пусть над ней, печальные немного,
Плынут, плынут, как мысли, облака...

Такие стихи можно писать, только когда знаешь, что «летом земля (вообще жизнь) особенно красива. А сколько еще впереди этих лет?»

Задавая этот вопрос в письме к приятелям, Рубцов подразумевал, что таких лет теперь у него будет много, очень много...

Между тем и всяких-то лет оставалось у Рубцова впереди, не считая лета шестьдесят шестого года, всего четыре...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Звезда полей

«Лысеющая голова, высокий лоб, маленькие, с прищуром, глубокие темные глаза — очень умные, проницательные до пронзительности».

«Одет он был в новый коричневый костюм с еле заметной серой полоской. Белизна рубашки при зеленом галстуке оттеняла его смуглое, тщательно выбритое лицо. И выглядел он красивым. Был возбужден и энергичен. Нервничая, он настойчиво добивался по телефону связи с каким-то московским издательством».

«Цену себе как поэту он знал, и во всем его облике и поведении нет-нет да проскальзывало то смиление, что «паче гордыни»...

1

Таким был Рубцов в 1967 году, когда с легкой руки Егора Исаева¹, «под зеленый свет», вышла книга «Звезда полей», и Рубцов почувствовал, что становится знаменитым.

¹ 30 марта 1965 года Егор Исаев, заведовавший отделом поэзии в издательстве «Советский писатель», написал такое распоряжение редактору Владимиру Семакину: «Володя! Срочно прочитай рукопись Рубцова... определи состав. Надо с ним заключить авансовый (25%) договор. Бор. Ваныч. поддержит, я уже договорился. Будь добр, не затягивай — Рубцов хороший поэт из пленской — петровской и он сейчас белствует Петжи

«Перелистывая книгу «Звезда полей», — вспоминает Игорь Лободин, — по настрою души я сразу выделил для себя из других стихотворение «Прощальная песня».

Запах сирени после дождя, терпкий привкус вина на губах, ровный шум в самом центре Москвы и древний перезвон курантов как бы наплывали, накладываясь на это грустное стихотворение...».

— Как ее зовут? — спросил Лободин.

— Имя у нее не деревенское... — ответил Рубцов и, отпив глоток вина, стал как-то серьезнее. — Гета ее зовут...

Потом помолчал и добавил:

— Недавно она мне письмо прислала. Тебе прочитаю.

Рубцов достал из бокового кармана потертую записную книжку с адресами и телефонами. Из книжки он вынул письмо без конверта и протянул Лободину.

«После обычных слов привета и житейских новостей запомнил я такие строчки письма к Николаю от его невенчанной (и нерасписанной. — Н.К.), кажется, жены: *«Коля, мы с Леной тебя ждали на день ее рождения, но ты не приехал. Напиши нам или сразу приезжай. На этом заканчу, а то еще что-нибудь напишу»*.

Рубцов, как пишет Лободин, словно бы только тут и понял смысл приписки и, прищурив глаза, сказал:

— Лена — моя дочь. Я обещал ей подарить куклу. Сама открывает и закрывает глаза. Мигает.

«Когда мы допили вино и вышли на Красную площадь, мне все думалось об этом печальном стихотворении и незнакомой женщине, разлука с которой на бессрочное время словно передалась

мне», — пишет Игорь Лободин, завершая воспоминания о выходе в свет гениальной русской книги «Звезда полей».

2

И хотя в родной Вологде выход «Звезды полей» был ознаменован тем, что Николая Михайловича Рубцова ни за что ни про что, а так, на всякий случай, наголо постригли в милиции¹, налаживались и вологодские дела.

За первую половину 1967 года Рубцов буквально исколесил Вологодскую область. В апреле, только-только вернувшись из Москвы, он едет в Бабаево, а 20 мая Рубцов уже в Череповце. Далее следуют поездки в Сокол, Тотьму, Липин Бор, Белозерск... И, конечно, снова в Москву...

¹ Рубцов приехал из Москвы рано утром. К знакомым идти было рано, а погода благоприятствовала, и Рубцов отправился в скверик.

Постелил на траву пиджачок и открыл бутылку вина.

Он совсем немного и выпил, когда заметил, что с дорожки его разглядывает молодая женщина. Или бутылку, к которой время от времени Рубцов прикладывался...

Определить, куда именно смотрит женщина, издалека было трудно, и Рубцов поманил ее, чтобы подошла ближе. Женщина подошла и села рядом.

Поговорили. Рубцов почитал стихи...

Когда вино в бутылке закончилось, женщина сказала, что стихи ей понравились и она не против продолжения знакомства...

Рубцов обрадовался. Оставил женщину сидеть на своем пиджачке и сторожить чемоданчик, а сам побежал в ларек еще за одной бутылкой вина.

Когда же вернулся, женщины в скверике уже не было. Не было и чемоданчика. Пиджачка тоже не было...

Сообразив, что далеко уйти с чемоданом женщина не могла, Рубцов бросился догонять ее и на бегу врезался в милиционеров, а те, недолго думая, ухватив его под руки, отвели в отделение.

Пока ждали начальство, пока где-то разбирались в документах, поэта остригли. И только потом, увидев, что он не пьян и не буйнат, а главное, сообразив, что он ничего нарушающего общественный порядок не совершил, отпустили.

Но венцом этих странствий, да и всего «звездного» для Николая Михайловича Рубцова года можно считать поездку на теплоходе «Теплотехник» от Череповца до Вытегры.

Поездка была устроена Вологодским обкомом партии, и участвовали в ней, помимо Рубцова, Александр Яшин, Василий Белов, Александр Романов, Виктор Коротаев, Дмитрий Голубков, Николай Кутов, Леонид Беляев, Борис Чулков...

Писателей, участвовавших в поездке, Рубцов знал и так, но знал каждого по отдельности.

Сейчас они были все вместе...

И это было не простое сборище, не просто вся областная писательская организация, а нечто большее — почти собор единомышленников, почти литературное направление, школа...

Если учесть, что в этом же году почти одновременно со «Звездой полей» Николая Рубцова вышла в свет повесть Василия Белова «Привычное дело», основания для подобных заключений имелись весьма веские.

Плыли по разлившейся Шексне...

Иногда капитан Александр Иванович заводил судно в затопленный лес, и здесь среди деревьев ловили окуней на уху...

25 августа в Топорне свернули из Шексны в Северо-Двинскую водную систему, в сторону озера Кубенского к Кириллову.

Поплыли сквозь старинные, деревянные шлюзы... Кириллов, Ферапонтово, Белозеро, Варги, Вытегра...

Потом Рубцов скажет в стихотворении «Последний пароход»:

В леса глухие, в самый древний град
Плыл пароход, разбрызгивая воду, —
Скажите мне, кто был тогда не рад?
Смеясь, ходили мы по пароходу...

«Теплотехник» шел по Волго-Балту, останавливаясь в райцентрах и крупных поселках. Писатели выступали у речников, выступали в колхозах... Вместе со всеми читал и Николай Рубцов, и стихи его принимались слушателями «на ура». Успех Рубцова был так велик, что Н. Кутов даже пожаловался, дескать, после него выступать трудно.

Встречи с читателями плавно перетекали в совместные пьянки.

И казалось бы, ничто не мешало Рубцову сохранять благодушие, но нет...

«Понедельник. Село Липин Бор — Вашкинский район, — запишет в дневнике 28 августа Александр Яшин. — Тут рыбакские колхозы... Вынимали рыбу из сетей... На вечере в Доме культуры... После вечера опять банкет. Пить больше не могу... *Рубцов тыльный нехорош*, но поэт редкого дарования».

3

Рубцов далеко не всегда становился *некоторшим* под воздействием алкоголя. Как правило, ему нужно было помочь стать *некоторшим*.

Как доводили Рубцова до этого состояния в Москве, мы рассказывали. О причинах нервности Николая Рубцова на «Теплотехнике», в окружении друзей, нужно сказать особо.

Если выстраивать литературную иерархию по степени одаренности, по реальному вкладу в отечественную литературу, то, разумеется, Рубцов и Белов в 1967 году должны были возглавлять список участников поездки.

Но на деле иерархия выстраивалась по другому принципу...

Как вспоминает инструктор Вологодского обкома КПСС Георгий Дмитриевич Соколов, сопровождавший писателей на «Теплотехнике», «спал Николай Рубцов не в каюте, а в своеобразной прихожей между каютами в носовом отделении, на топчане. Он каждый день его застилал».

Учитывая, что как раз во время поездки главная партийная газета «Правда» в обзорной статье о поэзии высоко оценила поэзию Николая Рубцова¹, инструктор Вологодского обкома КПСС не мог надивиться, почему именно Рубцова разместили в коридорчике.

Проявляя партийную заботу, Георгий Дмитриевич каждое утро спрашивал, удобно ли Рубцову жить в коридорчике, и тот всякий раз отвечал: «Все нормально, все хорошо».

Такая вот, почти ангельская смиренность Рубцова...

Но дело тут не только в том, что Рубцов не умел и не любил «качать права».

Увы... Среди членов Союза писателей, собравшихся на теплоходе, Николай Рубцов был тогда единственным нечленом.

Прав плыть на «писательском» теплоходе вообще не было у него, и торопливо скороговоркой, дескать, все нормально, все хорошо, он мешал Георгию Дмитриевичу уяснить этот очевидный факт.

Опасение было связано, разумеется, не с пребыванием на «Теплотехнике», а с заявлением, которое месяц назад Рубцов подал в обком КПСС...

¹ «Наиболее приметное и самобытное явление — книга Николая Рубцова «Звезда полей», лучшие страницы которой захватывают чистым и проникновенным лиризмом и чем-то отвечающим есенинскому, но совершенно самостоятельным по своему характеру», — писала «Правда» в номере за 19 августа 1967 года.

*«В Вологодский обком КПСС
от члена Вологодского отделения
Союза писателей РСФСР
Рубцова Н.М*

ЗАЯВЛЕНИЕ

*Прошу Вашей помощи в предоставлении мне
жилой площади в г. Вологде.*

Родители мои проживали в Вологде. Я тоже родом здешний.

Жилья за последние несколько лет не имею абсолютно никакого. Большую часть времени нахожусь в Тотемском районе, в селе Никольском, где провел детство (в детском доме), но и там, кроме как у знакомых, пристанища не имею. Поскольку я являюсь студентом Литературного института им. Горького (студент-заочник последнего курса), то бываю и в Москве, но возможность проживать там имею только во время экзаменационных сессий, т.е. 1-2 месяца в год.

Все это значит, что у меня нет ни нормальных бытовых условий, ни нормальных условий для творческой работы.

Я автор двух поэтических книжек (книжка «Звезда полей» вышла в Москве, в издательстве «Советский писатель», «Лирика» — в Северо-Западном книжном издательстве), я также автор многочисленных публикаций в периодике, как в центральной, так и в областной.

В заключение хочется сказать, что меня вполне бы устраивала и радовала жизнь и работа в г. Вологде.

*Н. Рубцов
15 июля 1967 г.».*

Обратите внимание, что Николай Михайлович Рубцов именует себя в этом заявлении членом Вологодского отделения Союза писателей РСФСР. Но нельзя было стать членом Вологодского или Иркутского отделения Союза писателей, не став членом Союза советских писателей.

Хотя приемные документы Рубцова уже и готовились к пересылке из Вологодского отделения в Москву, но его еще не приняли и в Союз писателей РСФСР, и поэтому Рубцов (скорее всего с ведома А.А. Романова!) немного скучавил, назвав себя членом Вологодского отделения Союза писателей РСФСР.

И если и опасался Рубцов «разоблачения», то, разумеется, только из-за осложнений, которые могли возникнуть с его заявлением в Вологодском обкоме КПСС.

Повышенная нервность в Николае Рубцове в ходе поездки по Волго-Балту обуславливалась и, как это ни странно, появлением его «Звезды полей»...

Еще в начале лета — это очень важно для дальнейшего повествования — большую часть тиража книги заслали в Вологодский книготорг, где ее, естественно, раскупали медленно.

В районных газетах тогда появились рекламные заметки: «Книга «Звезда полей» поступила в нашу область и направлена в магазины книготорга и потребкооперации. Читатели, живущие в глубине района, вдали от книжных магазинов, могут выпишать это издание по адресу: г. Вологда, ул. Мира, 14, «Книга — почтой».

В конечном счете промашки книготорга никак не отразились на читательской судьбе гениальной книги Рубцова, но момент для самого автора был неприятный — «Звезда полей» долго лежала на



прилавках вологодских магазинов, так же как книги Яшина, Романова, Коротаева и других вологодских поэтов, словно она ничем и не отличалась от них.

Да и сам Рубцов постоянно чувствовал, что так и воспринимают его вологодские друзья. Они относились к нему благожелательно, дружески и — авансом! — почти как к равному, такому же, как и они...

Глупо было бы утверждать, что Рубцова, размещенного на «Теплотехнике» в коридорчике между каютами, терзало уязвленное самолюбие, но очевидно, что и предстоящее «возвышение» его до положения рядового областного поэта не могло не создавать душевный дискомфорт.

Товарищи чувствовали это.

Уже тогда в среде вологодских литераторов к Рубцову приклеилась полунасмешливая кличка **«наш гений»** ...

Но повторим, что сильнее всего нервировало Николая Рубцова то обстоятельство, что здесь, на пароходе, плывущем по Волго-Балту, на совместных застольях, на рыбалках и должна была, как ему казалось, решиться судьба его просьбы о даровании ему, разменявшему четвертый десяток русскому поэту, собственного угла...

Представившийся ему шанс поэт упускать не собирался. Процитированное нами заявление с просьбой предоставить жилую площадь Николай Михайлович подкрепит в конце поездки надписью на книге «Звезда полей», подаренной им инструктору Вологодского Обкома КПСС Георгию Дмитриевичу Соколову: «Дорогому Георгию Дмитриевичу с чувством самого большого уважения и на добрую память о совместной (под вашим добрым

и мудрым руководством) поездке 31 августа 1967 г.
Н. Рубцов».

А заведующему сектором печати Вологодского обкома КПСС Василию Тимофеевичу Невзорову Рубцов посвятил целое стихотворение:

Стих, разумеется, сомнительного качества...

Поэзия подчинена пиетету перед «всем нам дорогим» — а как это заведующий отделом печати обкома КПСС может быть не дорогим? — Василием Тимофеевичем Невзоровым...

Но, как и все в поэзии Рубцова, и этот «стих-привет» подчиняется отнюдь не холуйской угодливости, а высокой — «Так сказать, во мгле моей души...» — логике рубцовской судьбы.

Посмотрите, как безысходно, грустно и страшно перекликается зачин этого стихотворения с началом «Последнего парохода», посвященного Александру Яковлевичу Яшину, который — уже и

на пароходе было это видно! — недомогал, хотя и старался не показывать виду.

Сравните, как преломляются вроде бы бездумные строчки о поэте, затерявшемся «где-то я в народе», с портретом по-настоящему умирающего человека...

А он, большой, на борт облокотясь,
Он, написавший столько мудрых книжек, —
Смотрел туда, где свет зари и грязь
Меж потонувших в зелени домишек...

Воистину, не «во мгле души», а в сумерках рубцовской судьбы рождается это страшное сближение...

Потерю Александра Яшина Рубцов будет переживать очень тяжело.

Мы сразу сталитише и взрослей.
Одно поют своим согласным хором
И темный лес, и стаи журавлей
Над тем Бобришным дремлющим угором... —

напишет он через год, когда Яшин уже не будет.

Но это через год, а пока Яшин был еще жив, и Рубцов в начале поездки явно не желал забыть о том, как в Москве Яшин «отказал ему в гостеприимстве»¹.

«Месть» его была, разумеется, совершенно ребяческой. Все вологодские писатели еще в Череповце подарили Яшину свои книги, а Рубцов свою «Звезду полей» дарить не стал.

¹ Между прочим, еще 24 февраля 1967 года А.Я. Яшин написал в Вологодское отделение Союза писателей РСФСР: «Поэтическое дарование Николая Рубцова настолько бесспорно и уже так отчетливо выявилось в 2-х его книгах и в журнальной и газетной периодике, что я не вижу необходимости в подробной характеристике его работы. Рекомендую принять поэта Николая Рубцова в члены Союза советских писателей».

— Я все ходил, разговаривал с ним, — рассказывал он потом. — А книжки своей не дарил. Все тянул. Думаю, посмотрю: обидится он на меня или нет?

Яшин долго не мог сообразить, чего хочет от него Рубцов, а когда сообразил, разрешил проблему с присущей ему простотой и мудростью... Купил книгу Рубцова сам и, напустив на себя для виду сердитости, подошел к нему.

— На! — сказал он. — Подпиши! Я вот разорился все-таки на 15 копеек!

Рубцов все понял.

«Александру Яковлевичу Яшину с вечной любовью и благодарностью» — написал он на своей «Звезде полей».

Не рискуя ошибиться, можно предположить, что и этот эпизод вспоминался Рубцову, когда он писал:

И мы сосредоточась, чуть заря,
Из водных трав таскали окунишек,
Но он, всерьез о чем-то говоря,
Порой смотрел на нас, как на мальчишек...

Порою в этой поездке Рубцов был ненавязчиво предупредителен, даже нежен в обращении с Яшиным, а такое с ним вообще случалось редко...

«И вот уже под Вытегрой, видя, что Яшин чрезмерно утомлен поездкой, и, видимо, втайне переживая за него, — вспоминал Сергей Чухин. — Рубцов отзывал меня и сделал форменный выговор, будто я никчемными разговорами отнимаю у Яшина время. Я был изумлен, так как разговоры мои ограничивались общей беседой за обеденным столом, но Рубцову и это казалось слишком.

Спорить я не стал, хотя обиделся: зачем на мне



срывать свою досаду? Потом уже, в Вологде, Николай Михайлович объяснил мне причины своей вспышки:

— Не видно разве, что человеку тяжело? — И мы помирились».

4

Из Вытегры — сохранились групповые фотографии в вытегорском аэропорту сильно помятых и утомленных в путевых застольях писателей! — вологодские соратники возвращались на самолете. В Вологде руководителей группы принял секретарь обкома Василий Иванович Другов.

«2 сентября, — записал в дневнике А. Яшин. — Были у секретаря обкома Другова Вас. И. Рассказали о поездке. Просили опять за Рубцова. Обещал пока поселить в общежитии Совпартишколы... Обещание комнаты Рубцову».

Так что не пропало даром восхищение Николая Михайловича Рубцова добрым и мудрым руководством инструктора Вологодского обкома КПСС Георгия Дмитриевича Соколова, дифирамбы «всем нам дорогому» заведующему отделом печати обкома КПСС Василию Тимофеевичу Невзорову...

Не пропали даром и хлопоты А. Яшина и А.А. Романова...

Жилье Рубцову было обещано.

Только вот Николая Михайловича эта государственная щедрость отчего-то не привела в восторг.

Многие биографы поэта и исследователи его творчества отмечают, что что-то в очередной раз надломилось в Рубцове как раз в его самый «звездный» год...

«Осенью (так у автора! — Н.К.) 1967 года вышла «Звезда полей» Николая Рубцова... — вспоминает



Василий Оботуров. — Выслушал он немало похвал, но оставался к ним равнодушен. Высказывались о книге или нет — он знал, что ее читали, *чувствовал истинное отношение к его стихам по интонации, по тому, как к нему обращались* (выделено мной. — Н.К.)... Видимо, перегорел человек ожиданием...»

6 сентября по итогам поездки состоялся большой литературный вечер в вологодском городском Доме культуры.

После вечера все участники отправились в малый зал ресторана «Вологда»... Когда все уже порядочно выпили, Александр Яшин вдруг повернулся к Рубцову и сказал:

— Коля, твой тост. Давай экспромтом что-нибудь, а?

Рубцов вспыхнул, но сдержался.

— Хорошо, Александр Яковлевич, — тихо ответил он. — Попробую.

Как пишет А. Рачков: «Волнение с лица постепенно спадало, и оно становилось уверенно-спокойным и даже властным: плотно сжатые губы, жестко очерченные скулы, прищуренные глаза — все выражало упорную мысль. Взгляды были устремлены на Рубцова. И он это не столько видел, сколько чувствовал. И вот словно прояснение озарило его лицо. Оно стало спокойное и сдержанно-ликующее. Пальцы, до этого нервно перебиравшие ножку бокала, замерли, цепко облегли нагретое стекло, а рука вынесла бокал на средину стола и зависла над ним, как указующий перст, вздрагивая в такт чтению:

За Вологду, землю родную,
снова стакан подниму!
И снова тебя поцелую,

И снова отправлюсь во тьму,
И вновь будет дождичек литься...
Пусть все это длится и длится!»

Стихи хорошие, и описание, сделанное А. Рачковым, хотя он, по-видимому, и не очень-то разобрался в состоянии Рубцова, точное...

Видно, как перебарывает Рубцов раздражение, вспыхнувшее от довольно развязной просьбы, как пытается успокоиться.

Тост-то, надо сказать, получился никудышный...

И если бы внимательнее вслушивались за столом в смысл его, может, и не полез бы Яшин целовать Рубцова. Хорошенький тост, в котором автор заявляет, дескать, отправится во тьму, но все равно — «пусть все это длится и длится»... Неприлично много для застольной шутки трагизма в этом экспромте.

Хотя, быть может, Яшин как раз и понял все, как понял и неловкость своей просьбы, поэтому и обнял Рубцова, уже раскаиваясь, что нечаянно обидел его.

Кстати сказать, на том вечере сам Александр Яковлевич Яшин выдал экспромт, на наш взгляд, намного более высокого качества. Случилось это, когда разговор за столом сделался оживленнее и откровеннее.

«Не сошлись во мнениях о современном искусстве скульптор Орлов и писатель Белов, — вспоминает А. Рачков. — Разногласие в любви к малой родине возникло у Яшина с Орловым. Александр Яковлевич вспылил, махнул рукой и, чтобы прекратить спор, в котором была большая дистанция непонимания друг друга, вместе со стулом отодвинулся от Сергея Михайловича Орлова. Сын того, оскорбленный за отца, иронически спросил:

— Вы, может быть, еще дальше двинетесь, Александр Яковлевич?

Яшин быстро повернул голову к Рубцову, чуть помедлил, потом оглядел все застолье, сверкнул глазами, и под усами у него растеклась улыбка:

— С удовольствием бы, но дальше — некуда. Там Рубцов».

5

И еще несколько портретов Николая Михайловича Рубцова из 1967 года...

«Рубцов был в коричневом в темную полоску костюме, с аккуратно отточенными (по-флотски) стрелками на брюках... Внешность поэта если и привлекала внимательный взгляд, то только скромностью одежды и напряженно-нервным аскетическим лицом с высоко оголенным лбом...

Заметно было его волнение...

Рубцов прочитал свое любимое «В минуты музыки»... Не любитель давать автографы, в ту встречу Рубцов охотно подписывал «Звезду полей»...

«Он был в берете, в демисезонном пальто с поднятым воротником, который защищал от знобящего ветра почти всю шею, небрежно замотанную шарфом...»

«Обращала на себя внимание смугловатая бледность его узкого лица с большим лбом, а карие при добром расположении глаза в гневе темнели. Говорили о его вспыльчивости и нетерпимости — и говорили во многом напрасно. Мне довелось не раз видеть его возмущенным, и не помню, чтобы он был неправ.

Хамского пренебрежения Николай действительно не терпел. Чем он вызывал раздражение людей определенного сорта, трудно сказать, то ли какой-то особой внутренней сосредоточенно-

стью, то ли цепкостью быстрого взгляда, который был «не как у всех»...

А между тем выглядел он скорее незаметно, чем вызывающее».

Об этой «невызывающей» Рубцова говорит и М.М. Субботин, сотрудник великоустюжского райкома партии, увидевший Рубцова в гостиничном буфете.

«Хорошего разговора не получилось, — вспоминает он. — Рубцов, к сожалению, был не в «форме». Стал что-то доказывать журналисту, как бы продолжая не законченный ранее с ним разговор.

Кое-как успокоив его, мы отошли.

Утром следующего дня мы снова заметили Рубцова в столовой, у буфетной стойки. Он считал в ладони мелочь, взял чай и бутерброд с селедкой.

Был в пальто с поднятым воротником...

Вид поэта, конечно, не сходился с его творчеством.

Тягостное впечатление было от всего увиденного, но разочарования не было.

Я знал, читал стихи Рубцова. Они были мне очень симпатичны...»

На наш взгляд, воспоминания эти очень важные.

Даже и тягостное впечатление от личного общения с Рубцовым не порождало разочарования. Но это, как справедливо отмечает М.М. Субботин, при условии, если собеседник читал стихи Рубцова...

6

Н.А. Старичкова в своей книге «Наедине с Рубцовым» вспоминает, как 23 октября 1967 года к ней заявились с коньяком Николай Рубцов, Василий Белов, Александр Романов и Нина Груздева.

Пришли они, чтобы отметить день рождения Василия Белова.

«После соответствующих в такой момент поздравлений разговор быстро перешел на стихи. Что хорошо, что плохо. Посыпались примеры классической поэзии. У Рубцова опять образец — Тютчев!

И тут Коля, как оратор, набирает темп. Он начинает критиковать пишущих (я поняла, что весь наш литературный актив), но обращается с этими словами к Саше Романову как возглавляющему Вологодское отделение Союза писателей. Он кипяится, как самовар, не подбирает хороших слов:

— Вы не поэты, а г...»
 — А ты кто такой? — спросил у него Романов.
 — Я? — переспросил Рубцов и начал читать свою «Зимнюю ночь».

В этой деревне огни не погашены.
 Ты мне тоску не пророчь!
 Светлыми звездами нежно украшена
 Тихая зимняя ночь.

Светятся, тихие, светятся, чудные,
 Слышится шум полны...
 Были пути мои трудные, трудные.
 Где ж вы, печали мои?

Скромная девушка мне улыбается,
 Сам я улыбчив и рад!
 Трудное, трудное — все забывается,
 Светлые звезды горят!

Кто мне сказал, что во мгле заметеленной
 Глохнет покинутый луг?
 Кто мне сказал, что надежды потеряны?
 Кто это выдумал, друг?

В этой деревне огни не погашены.
 Ты мне тоску не пророчь!
 Светлыми звездами нежно украшена
 Тихая зимняя ночь...

Нинель Александровна лишь точками обозначает ненормированную лексику, к которой прибег Александр Александрович Романов, чтобы выразить свое отношение к поведению Рубцова.

— Нельзя так, это жестоко, — негромко, но впечатительно сказал Белов.

И тут Николай Рубцов сразу обмяк и, как вспоминает Н.А. Старицкова, «сник, присел, как обычно, с краешку на диванчик и заплакал. По его лицу покатились слезы. «В горнице моей светло, — произнес он нараспев, — это кто написал? Это же я написал!». И плакал, плакал, как ребенок».

7

В начале зимы данное в обкоме КПСС обещание было исполнено.

Правда, получил Николай Рубцов не комнату, а всего лишь место в общаге по адресу: улица Октябрьская, 19, но общежитие было квартирного типа, в таких Рубцов за тридцать один год своей жизни еще не живал.

Стояло это двухэтажное каменное здание с балкончиками во дворе Совпартишколы...

«С бьющимся сердцем поднялась по лестнице, позвонила в квартиру, — вспоминает Н.А. Старицкова. — Открыл Коля, совершенно непохожий на вчерашнего: спокойный, уверенный в себе... В комнате, кроме Рубцова, были два молодых человека. Оба рослые, подтянутые. По сравнению с Колей они казались одетыми для торжества: в одинаковых темных костюмах.

Коля не представил их мне. Они при моем появлении переглянулись и моментально ускользнули в кухню. Коля прошел следом за ними.

Остановившись в середине комнаты, огляделась. Типичное мужское общежитие: кровати, тумбочки, посередине стол. Две кровати заняли более удобное место: в стороне, у окна, с тумбочками. А эта — напротив двери, с выгнутым наружу железным прутом спинки, кровать Коли Рубцова...

Соседи между тем оделись и так же быстро исчезли за входной дверью.

— Почему они ушли?.. Я же ненадолго.

Но он, не отвечая, подбегает к окну, выглядывает в него, зовет меня:

— Иди сюда, быстрей, быстрей... Смотри! Видишь?

Вижу, как его соседи вышли парой из подъезда и быстрым шагом (в ногу, как на параде) скрылись за углом.

— Видела? — вопрошают Коля. — Это не только сегодня. Они всегда так строем ходят. Это комсомольские ребята».

То ли шагающие строем, облаченные в одинаковые темные костюмы ребята похлопотали, то ли сам Рубцов перебрал на радостях, но 7 декабря он попал в вытрезвитель.

Случилось это незадолго до приезда из Николы дочери...

11 декабря 1967 года Рубцов получил телеграмму: «*Будем в Вологде 12, Челюскинцев 41, кв. 2. Гета, Леночка*».

Любопытно тут, что в тот самый день, когда Рубцов вышел из вытрезвителя, главная газета страны «Правда» опубликовала его стихи «Шумит Катунь» и «Детство».

Партийное начальство — вот уж, действительно, дилемма! — не сразу и смогло сообразить, как тут реагировать. На публикацию стихов Рубцова

в главной партийной газете или на сообщение из вытрезвителя?

На всякий случай в ожидании отдельной комнаты Рубцова перевели в другую общагу, рангом пониже, попроще.

Здесь, в общежитии на улице Ветошкина, и предстояло гениальному русскому поэту Николаю Михайловичу Рубцову проводить свой «звездный» 1967 год...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

«...Вблизи пустого храма»

«На глазах подтачивались нервы Николая... — вспоминает Борис Шишаев. — Говорить с ним об этом было бесполезно — он раздражался. Все чаще пропадал где-то. Иногда с ним в общежитие приезжали какие-то незнакомые люди.

Однажды зашел я на шум в одну из комнат. Двое здоровенных парней — не наши, как я сразу определил, — тащили куда-то Рубцова. «Никуда я не пойду, надоели вы мне, сволочи!» — кричал он. «Да что тут торчать, пошли!» — тянул Николая за руку светловолосый, в очках.

Они схватили его с двух сторон, но он — я удивился такой силе — с остервенением стал мотать их обоих по комнате».

Или еще из этих же воспоминаний:

«Приехал как-то Эрнст Сафонов, разыскали мы Николая и пошли в столовую пообедать. Сидели, вспоминали о былом, и вдруг Николай вспылил без всякой причины, заговорил обиженно, грубо.

— Что с тобой, Коля? — сказал Эрнст. — Я не узнаю тебя.

— Все вы меня не узнаете! — крикнул Николай. И добавил тихо: — Я и сам себя не узнаю...»

Конечно, удивляться надо не срывам Рубцова...

Сам он мечтал вырваться из этой жизни, даже писал об этом:

И однажды, прижатый к стене
Безобразьем, идущим по следу,
Одиноко я вскрикну во сне
И проснусь, и уйду, и уеду... —

но уже не оставалось сил, чтобы уйти, чтобы уехать...

И надо ли удивляться тут нервным срывам и внезапно находящим сердечным болям...

Нет...

Даже если бы и одарила природа Рубцова богатырским здоровьем, разве хватило бы его на такую жизнь? Так что тут надо удивляться другому — тому, что и в этих условиях Рубцов продолжал работать...

1

Так получилось, что окончание работы над книгой «Душа хранит» и начало работы над книгой «Сосен шум» сошлись для Рубцова в вологодском городке Липин Бор на Белом озере...

Сергей Чухин, к которому приехал в Липин Бор Рубцов, сидел на заседании в Доме культуры, когда ему передали по рядам записку:

«Сережа! Я прилетел. Можешь выйти? Н. Рубцов».

Когда Чухин выбрался с заседания, Рубцов сидел на деревянных ступеньках в демисезонном, не по погоде, пальто.

— Извини... — сказал он. — Я без предупреждения. Приехал в аэропорт, билеты есть...

Чухин устроил Рубцова в редакции районной газеты «Волна».

Через несколько дней Рубцов объявил редактору Василию Елесину, что потерял рукопись книги,

и спросил, не помогут ли в редакции перепечатать рукопись заново.

— Как же машинистка перепечатает, если рукопись потеряна? — удивился Елесин.

— Я ей продиктую.

— А сколько стихотворений было в рукописи?

— Около ста двадцати...

— И ты все помнишь наизусть?!

— Конечно! Ведь это мои стихи.

Сто двадцать стихотворений — это примерно половина всего творческого наследия Рубцова... Рубцов уже настолько сбылся со скитальческой жизнью, что — эта привычка сохранилась до конца жизни — не нуждался ни в черновиках, ни в текстах, «носил» их в голове.

Здесь, в Липином Бору, днем он диктовал машинистке свои тексты, которые должны были войти в архангельский сборник «Душа хранит», а по вечерам, затопив редакционную печку, слушал шум ветра в деревьях.

В который раз меня привёгил
Уютный древний Липин Бор,
Где только ветер, снежный ветер
Заводит с хвоей вечный спор...
Да как же спать, когда из мрака
Мне будто слышен глас веков,
И свет соседнего барака
Еще горит во мгле снегов...

В этом стихотворении шумят сосны стихотворения «В сибирской деревне», написанного на Алтае, но перекличка на этом не заканчивается, эхо ее разносится по всем стихам сборника, ставшего последним прижизненным изданием Рубцова...

2

Открывается сборник «Сосен шум» стихотворением «Тот город зеленый».

Мы уже говорили, что если подсчитать, когда, где и сколько жил Рубцов, то получится, что большую часть своей жизни он провел не в Москве и Ленинграде, не в деревне, а в таких небольших, как Липин Бор, как Тотьма, как Приютино, городках и поселках городского типа...

Вот и в стихотворении, открывающем сборник, посвященном — в самом заголовке обозначено это — размышлениям о своей судьбе, попытке постигнуть взаимосвязь прошлого и будущего с настоящим, возникает, как на картинах Брейгеля, предельно насыщенный фигурами людей и неторопливым движением пейзаж небольшого городка...

На площади главной... Повозка
Порой громыхнет через мост,
А там, где овраг и березка,
Столпился народ у киоска
И тянет из ковшика морс.
И мухи летают в крапиве,
Блаженствуя в летнем тепле...

Все просто, все бесхитростно в этом мире, где «сразу порадуют взор земные друг другу поклоны людей, выходящих во двор», и вместе с тем исполнено той волшебной полноты жизни, которая способна наполнить любое, самое отдаленное воспоминание и превратить его в реальное, сиюминутное переживание...

Сорву я цветок маттиолы
И вдруг заволнуюсь всерьез:
И юность, и плач радиолы
Я вспомню, и полные слез
Глаза моей девочки нежной
Во мгле, когда гаснут огни...

Как я целовал их поспешно!
 Как после страдал безутешно!
 Как верил я в лучшие дни!

И нет, не может быть никакой озлобленности в этом «городе зеленом». Какими бы страданиями ни обернулась жизнь, но всегда:

Сей образ прекрасного мира
 Мы тоже оставим навек.
 Но вечно пусть будет все это,
 Что свято я в жизни любил:
 Тот город, и юность, и лето,
 И небо с блуждающим светом
 Неясных небесных светил...

Вторым в сборнике «Сосен шум» поставит он стихотворение «Последний пароход», посвященное памяти Александра Яшина, которое тоже рождается как бы из вечного шума сосен, в «просветлении вечерних дум».

Ну, а стихотворение «Сосен шум», давшее название последней прижизненной книге Рубцова, похоже на клятву перед последней дорогой. Не спрашит, что и оставшийся путь будет таким же нерадостным, как тот, что уже пройден.

Пусть завтра будет путь морозен,
 Пусть буду, может быть, угрюм,
 Я не просплю сказанье сосен,
 Старинных сосен долгий шум...

Когда книга «Душа хранит» была перепечатана, когда сложился и сборник «Сосен шум», «Рубцов, — как пишет Сергей Чухин, — стал собираться в Вологду. Мы проводили его на аэродром».

3

19 апреля 1968 года Николай Рубцов был принят в Союз писателей.

Вопреки утверждениям, что «прием в Союз писателей Николай Рубцов воспринял как должное, без особых восторгов»¹, в последнее время появились публикации, свидетельствующие, что к этому событию он относился иначе.

Вологодские биографы поэта усматривают сейчас даже некую символику в том, что Рубцов стал двенадцатым членом Вологодской писательской организации, но важнее для Рубцова было, конечно, то, что этот документ подтверждал его официальный статус писателя.

Насколько важным было для него в 1968 году обретение такого документа, показывают события, связанные с вселением Рубцова в коммунальную квартиру в четырехэтажном доме на набережной VI Армии².

Случайно ли, но само получение им отдельной комнаты совпало с приемом в Союз писателей, хотя, судя по воспоминаниям Владимира Степанова, Рубцов был занят хлопотами с получением этой комнаты еще в начале года:

«Как-то выжным днем, уткнувшись подбородком в шарф и ежась в легком, явно не по погоде пальто, Рубцов остановил меня в центре города и спросил:

— Как писать заявление на жилье? Мне говорят: напиши заявление и сходи к одному начальнику, расскажи о себе. Как это делается? Никогда мне не приходилось. Не умею я, не могу...»

¹ Василий Оботуров. Искреннее слово. М.: Советский писатель, 1987.

² Набережная VI Армии, дом 209, квартира 43.



Владимир Степанов вспоминает, что Рубцов неодобрительно поворчал тогда по поводу начальника, к которому отправляли его, и ушел своей дорогой, но через два месяца, когда снова встретился со Степановым, первым делом заговорил о своих квартирных хлопотах.

На этот раз он отзывался о неведомом радетеле с восторгом.

— Оказывается, умный и добрый человек! — говорил он. — И в литературе не профан. Не ожидал. Нельзя судить о людях, не познакомившись с ними.

Ситуация не смешная, скорее грустная...

На тридцать втором году жизни человек обретает наконец-то собственный угол!

Причем Рубцов не знает еще, что борьба за собственную жилплощадь не завершается с получением ордера, а только начинается...

Работник горкома партии А.В. Сидоренков (в воспоминаниях вологодских знакомых поэта он проходит под именами «партийного ярыжки», «бесцеремонного соседа с рыбьим лицом» или «рассудительного мужчины»), вселившийся с женой Екатериной и детьми в другую комнату квартиры № 43, считал, очевидно, что квартиру могли бы дать ему целиком, а не уплотнить неким блатным субъектом, коим рисовался ему Николай Михайлович Рубцов, получавший жилплощадь не в порядке городской очереди, а по чьему-то указанию...

Рубцов, естественно, о грозящей опасности даже и не подозревал.

Переходящий в эйфорию восторг просто переполняет его в эти дни.

Герман Александров, который работал в то время в газете «Маяк» Вологодского района и куда Ни-



Николай Рубцов частенько заносил свои стихи, вспоминает, что Рубцов пришел возбужденный, радостный и сообщил:

— Получаю квартиру, может, поможешь мне въехать?

— Какой разговор, конечно, помогу!

«Каково же было мое удивление, — пишет Герман Александров, — когда мы пришли в пустую длинную комнату, в которой, кроме старенького чемодана, ничего не было.

— И это все? — спросил я.

— Все, — ответил Николай.

В тот вечер мы вымыли окно, пол и отпраздновали Колино новоселье. Купили курицу, попросили у соседей кастрюлю и сварили в ней куриный бульон. Николай был жизнерадостен, много шутил, стал показывать мне свои фотографии».

Сохранилось описание и «большого» новоселья на набережной VI Армии.

«Квартирой оказалась комната, — вспоминает А. Рачков. — И была она совершенно пуста, если не считать небольшого чемодана и трех порожних бутылок, стоящих в переднем углу на обрывке газеты...

Рубцов сидел на газете, как на пышном ковре, скрестив ноги по-турецки. И настроение его было поистине султанское: радость за четыре «собственные» стены и постоянный потолок над головой возвышали в собственном мнении».

Вероятно, после этого новоселья, уже в отсутствие Рубцова, побывала первый раз в рубцовской комнате на набережной VI Армии и Нинель Старичкова.

«Дверь (после расспросов, кто и зачем) открыла хозяйка квартиры и стала жаловаться на Колю:

— Очень шумно у него, всегда что-то кричат, спорят, постоянные звонки. Приходят, уходят, опять приходят. А у нас дети... *Я за дочку свою боюсь, когда он пьян. Он всегда так на нее смотрит...* (Выделено мной. — Н.К.)

Открыла дверь в Колину комнату и ужаснулась: побоище, что ли, было?

Обрывки грязных газет, окурки. На свежевыкрашенном полу наслежено, словно человек десять топталось, не меньше. В воздухе стоял алкогольный запах, а также от малярных работ и табачного дыма.

Катя (так представилась мне Колина соседка) заглянула вслед за мной в полуоткрытую комнату.

— Ой, что тут делается, а вы в хорошем платье. Я вам сейчас что-нибудь принесу.

Она принесла мне передник, таз, тряпку».

4

Все эти подробности необходимы, чтобы понять, что же все-таки случилось с рубцовской жилплощадью на набережной VI Армии. История эта, с одной стороны, весьма темная, она так и осталась непроясненной даже для близких Рубцова людей, а с другой стороны, обычная, рядовая история, из числа тех, что повсеместно происходили в те годы.

Когда сопоставляешь воспоминания, бросается в глаза, что авторы их расходятся с датировкой вселения Рубцова на набережную VI Армии.

Владимир Степанов и Нинель Старичкова вспоминают, например, что были в этой комнате еще в марте 1968 года, а Сергей Багров утверждает, что «на Красноармейскую набережную Рубцов перебрался осенью 1968 года».

Однако противоречие это кажущееся, поскольку авторы воспоминаний, скорее всего, обозначают дату начала большой коммунальной войны в квартире № 43 дома № 209 по набережной VI Армии и дату перемирия, так сказать, перегруппировки сил в семействе Сидоренковых.

Повторим, что начинались коммунальные стычки в квартире № 43 отнюдь не по вине Николая Рубцова и совершенно нежданно-негаданно для него.

Рубцова, конечно, смущали соседи, «чуждые как по образу жизни, так и по духу», но он прожил всю жизнь в общежитиях, среди чужих людей, и никакие коммунальные утеснения не могли смутить его.

Сидоренковы последовательно, сантиметр за сантиметром захватывали общее пространство квартиры, но Рубцов, кажется, и не обращал на это внимания. У него была теперь собственная отдельная комната, в которой он мог укрыться, и для него, всю жизнь прожившего без собственного угла, это было великим счастьем.

К тому же из окна рубцовской похожей на пенал комнаты открывался прекрасный пles, мост через реку, церковь за тополями...

Здесь сами слагались стихи:

Живу вблизи пустого храма,
На крутизне береговой,
И городская панorama
Открыта вся передо мной.
Пейзаж, меняющий обличье,
Мне виден весь со стороны
Во всем таинственном величье
Своей глубокой старины...

Строчка «живу вблизи пустого храма», как и все в поэзии Рубцова, кроме конкретной, инфор-

мационной нагрузки — Рубцов на набережной VI Армии действительно жил вблизи храма Андрея Первозванного, отреставрированного снаружи, но **пустого** внутри, — несет еще сформулированное почти на мифологическом уровне определение сути жизни и самого Николая Рубцова, и всей нашей страны в те годы.

Очень скоро выяснилось, что миролюбие Николая Рубцова, весь его общежитский опыт совместного уживания тут, в квартире на набережной VI Армии, «вблизи пустого храма», не работает.

Соседи оказались не просто «чуждыми как по образу жизни, так и по духу», но еще и неуемными в своей экспансии. Очень скоро общая кухня оказалась заставленной шкафчиками и полочками соседей, и Рубцову места не осталось.

Попытки Рубцова объясниться натолкнулись на угрюмое нежелание соседей вникать в его интересы. Трудно в такой ситуации пришлось бы любому одинокому человеку, но Рубцову было многократно труднее, потому что грамотному выстраиванию коммунальных отношений ни в детдоме, ни в общежитиях его не учили.

И, конечно, Рубцов срывался, не замечая, что Сидоренковы специально заводят его, чтобы представить перед соседями в образе теряющего человеческий облик дебошира.

И жалобу Екатерины Сидоренковой: «**Я за дочку свою боюсь**, когда он пьян. Он всегда **так на нее смотрит**»... — надо рассматривать еще и в свете развернутой соседями кампании по дискредитации Рубцова...

5

Похоже, что одним из узловых событий великой коммунальной войны в квартире № 43 стал инцидент, о котором Николай Рубцов сам рассказал С. Багрову.

«Этот с рыбым лицом сосед решил меня докопать! Чуть подопьет — так ко мне, в мою комнату. Как будто клуб у меня, где развлекают! И заходит всегда без стука:

— Можно, поэт?
— Нельзя, — отвечаю.

А он все равно заходит. Вот и вчера поздно вечером закатил.

— Почитай-ко чего-нибудь. Может, мне и понравится, — предлагает.

Я ему говорю:

— Для таких, как ты, я стихов не читаю!
— Почему?
— Плохо себя ведешь!
— Как? Как?
— Антипартийно!
— Что-о! Да ты знаешь, кем я работаю?
— Мудаком! — отвечаю ему.
— Это ты мне! — Он так и вспыхнул от возмущения. — Горкомовскому работнику? Коммунисту со стажем?

Тут я рот ему и закрыл:

— Если ты, горкомовский хмырь, хоть немножко в партийных вопросах соображаешь, то помоги мне решить мировую проблему. Скажи: как прочнее соединить учение Христа и учение Ленина?

Мой сосед быстрехонько от меня — как и не был. Слава богу, избавился от нахала».

Рассказывая этот эпизод, Николай Рубцов проводил, так сказать, контрпропагандистскую акцию.

По всем правилам агитационного искусства он оглушляет своего противника, приписывает ему все негативные качества и поступки.

Правда, сам Рубцов, как бы отстраняясь (вернее, очищаясь) от агитационного перебора, завершил свой рассказ чтением Сергею Багрову «Вологодского пейзажа» — стихотворения, которое он, якобы не имея возможности заснуть после непрощенного визита соседа, тогда же и сочинил...

В этих стихах, где по-рубцовски соединяются в единое целое разнородные объекты: свалка бревен, белье, которое полощут женщины с мостка, темный, будто из преданья, квартал дряхлеющих дворов, чей-то архитектурный опус и густой дым, — мудрости, конечно, неизмеримо больше, чем во всей коммунальной войне.

Где строят мост, где роют яму,
Везде при этом крик ворон,
И обрывает панораму
Невозмутимый небосклон.
Кончаясь лишь на этом склоне,
Видны повсюду тополя,
И там, светясь, в тумане тонет
Глава безмолвного кремля.

Но мудрость эта, уродняющая все величественные и мелкие, прекрасные и неприятные бытовые подробности, в быт самого Рубцова — увы! — не проникала. Ход рубцовской мудрости был перекрыт отношением соседей к нему.

Ведь не стремление понять Рубцова было смыслом войны, которую вели они. Соседи хотели не просто «перевоспитать» Рубцова, а сделать так, чтобы его вообще не стало в *их* квартире.

6

Видимо, не только Багрову излагал Рубцов этот инцидент, поскольку в воспоминаниях Виктора Астафьева, который появится в Вологде спустя год после описываемых событий, пропагандистская заготовка Николая Рубцова оказалась развернутой почти в эпическое полотно...

«Разумеется, — пишет, завершая изложение этой истории, Виктор Астафьев, — после такого диалога никакого милого соседства получиться не могло. Партийный ярыжка накатал на Рубцова жалобы во все инстанции, и в Союз писателей тоже, с крутыми обвинениями соквартиранта в оскорблении партии, несоблюдении квартирного режима, словесной развязности, доходящей до нецензурных выражений.

Послание это в Союзе писателей было зачитано вслух, при скоплении народа нашим воеводой Романовым, и осмеяно, и обмыто. Однако ж воевода наш сам был партиец, его поволокли в самое красивое помещение города, где раньше размещалось Дворянское собрание, ныне обком, сделали соответствующее внушение.

Вернувшись из высокой партийной конторы с испорченным настроением, начальник писателей глянул строго на братию свою, хлопнул какой-то книжкой о стол и послал подвернувшееся под руку молодое дарование в магазин за вином, сказав отрешенно: «Без пол-литра тут не разобраться».

Народ был удален из творческого помещения, поэт-бунтарь и отец наш, слуга творческого народа, остались наедине — для конфиденциальной беседы.

О чем они беседовали, ни тот, ни другой нам не доложились.

Рубцов все реже и реже стал наведываться в свою келью за рекой, снова превратился в бесприютного бродяжку, ночевал у друзей, у знакомых бабенок, бывал, реденько правда, в доме у начинающей поэтессы Нелли Старичковой, работавшей медсестрой в местной больнице. К ней он относился с уважением, может быть, со скрытой нежностью. Здесь его не корили, не брали, чаем поили, маленько подкармливали, если поэт был голоден, но бывать часто у Нелли, живущей с мамой, он стеснялся. Загнанность, скованность, стеснительность от вольной или невольной обязанности перед людьми — болезнь или пожизненная ушибленность каждого детдомовца, коли он не совсем бревно и не до конца одичал в этой разнообразной, нелегкой жизни...»

Судя по другим воспоминаниям, жалоба, поданная А.В. Сидоренковым по всем правилам бюрократической науки, была не единственным успехом его в ходе той коммунальной войны.

Война продолжалась, и перевес в ней склонялся явно не на сторону Рубцова.

Действия противника порою повергали Николая Михайловича в панику.

«Однажды, — вспоминает Н.А. Старичкова, — Рубцов прибежал ко мне возбужденный и не совсем трезвый, поздним вечером...

Сразу ко мне: «Неля, выходи за меня замуж!»

— Как это? Прямо сейчас?

Он восторженно улыбается: «Вот как у нас, писателей, бывает? Пойдем?» Смотрю на него вопросительно со смешанным чувством смущения и удивления. Коля сбивчиво, почти по-детски возмущаясь, начинает изливать жалобу:

— Она на меня кричит. Просит деньги. Я не могу. Лучше ты сама отдашь.

— Какие деньги? Кому?

— Три рубля за газ. Но я же уезжал! Меня там три месяца не было...»

А вот еще одна весьма существенная подробность той коммунальной войны...

«Примерно через неделю после следующего Колиного отъезда получила телеграмму из Балашихи такого содержания:

«Извини пожалуйста будешь свободна закрой форточку комнате забыл приветом Николай».

Пошла закрывать форточку. Как и в прошлый раз, позвонила и объяснила причину моего нового появления (*у Коли ключа от общей входной двери не было*) (выделено мной. — Н.К.). На этот раз беспорядка в комнате не оказалось, я уже хотела уходить, но хозяин квартиры был дома, и у него возникло желание поговорить со мной об особенностях жизни своего соседа.

Мы разговаривали с ним на крохотной кухне, которая считалась общей, но, судя по тому, как обставлена, принадлежала одной семье. Тут были и шкафчики, и полочки с кухонной посудой, горшочки с комнатными цветами, Коле Рубцову места там просто не оставалось. Он «не вписывался» в эту кухоньку, ни вообще в квартиру.

Не потому ли опять уехал? И сказал, что надо лго...

А.В. Сидоренков, умный, рассудительный мужчина, не мог понять образ жизни поэта. Он принял Рубцова (как мне показалось) за опустившегося пьяницу. Пытаюсь объяснить, что Рубцов — это действительно поэт, а не самозванец, что это человек очень сложной натуры. Мой монолог, по-видимому, понемногу убедил хозяина квартиры иначе смотреть на шумного жильца, потому что он уже не стал больше его критиковать».

То, что А.В. Сидоренков, «умный, рассудительный мужчина», пытается внушить Старичковой, будто он принял Рубцова за опустившегося пьяницу, является частью пропагандистской обработки собеседницы, которая проводилась в рамках кампании по дискредитации соседа...

Но вот то, что *«у Коли ключа от общей входной двери не было»*, — это свидетельство реального и очень существенного перевеса, достигнутого Сидоренковыми в коммунальной войне.

Сумев лишить Рубцова ключа, соседи получили возможность не впускать его в квартиру, когда им только пожелается, и понятно, что очень легко могли теперь подловить его, когда он придет домой навеселе, развести на скандал и сдать в милицию. А кто — пьющий и не имеющий никакого официального статуса поэт или работник горкома партии окажется прав в глазах милиции, гадать не требовалось.

Рубцову надо было срочно бежать с набережной VI Армии, чтобы не попасть в приготовленную для него ловушку.

И он отступил.

«В таком неведении проходит половина июня, — вспоминает Нинель Старичкова. — Встречаю, к моей радости, Нину Груздову. Уж она-то наверняка все знает о Коле.

И действительно, она сразу же сообщает: «Коля в Вологду не приедет, он не собирается здесь жить».

— Как это? — удивляюсь я. — У него теперь есть комната...

— Что ему эта комната! — продолжает Нина, — Он не хочет в ней жить»...

Для того чтобы вытеснить из собственной комнаты человека, промаявшегося всю жизнь по чу-

жим углам, нужно было употребить, действительно, какие-то необыкновенные средства.

Что именно было сделано Сидоренковыми, нам неизвестно, не знаем мы, и в чем — вспомните «жалобу» Екатерины Сидоренковой, что **она за дочку свою боится**, — готовились соседи обвинить Рубцова¹.

Однако, судя по запискам Нинель Старичковой, летом 1968 года Рубцов начал панически бояться собственной комнаты на набережной VI Армии. Когда же он выпивал, страх этот становился просто неконтролируемым...

«Рубцов, — вспоминает Нинель Старичкова, — добирался до моего дома, поднимался на чердачную площадку и сваливался там почти без сознания.

Однажды мама обнаружила его там лежащим в скрюченной позе. Он отреагировал на ее зов, но был очень слаб и бледен...»

И понятными в свете этих событий становятся чувства Николая Рубцова, которые испытывал он, получив наконец-то писательский билет.

¹ Когда Рубцов переедет из коммунальной квартиры на набережной VI Армии в отдельную квартирку на улице Яшина и коммунальная война, таким образом, окажется завершенной, Екатерина Сидоренкова, встретив Нинель Старичкову, попытается «dezavuировать» свои намеки.

«В такой вот полуосенний, полузимний день я встретила Катю, бывшую хозяйку из дома на Армейской набережной. Я была там редкой гостьей, но она узнала меня, назвала по имени.

Катя сообщила, что пришел перевод на имя Рубцова — 15 рублей. Она не хочет передавать ему.

— Вы не знаете адрес его семьи? Пошли туда. Пусть будет хоть дочери. А он все равно пропьет...

Женщина разговорилась. Рассказала, что узнала о дочери от жены Рубцова. Она приезжала к нему.

— Дочка у него такая, как у меня. А я думаю, что он все на нее смотрит? Свою, наверное, вспоминал...»



«Коля пришел и по обыкновению присел на диван, — вспоминает Н.А. Старицкова, — достал из кармана темные корочки и, заглядывая в них, то закрывал, то открывал, не говоря мне ни слова.

— Что это у тебя?

— Вот, в Союз приняли.

— Да?! Поздравляю. И что это теперь тебе дает?

— Как что? — Коля изумленно вскинул на меня глаза. — Да я же могу не работать!

Он продолжал открывать и закрывать удостоверение. Потом закрыл осторожно, ласково и продолжал держать в руках.

Может, думал, я скажу: «Дай посмотреть!» Но мне показалось, что он боится выпустить книжечку из рук, и даже крепко держит. Держит как мечту, которую можно потерять...

Он опять повертел в руках документ, потом сунул в карман, не вынимая из него руки. Как будто и в кармане его держит и боится потерять».

Писательский билет, который Николай Рубцов *и в кармане держал рукою, боясь потерять*, выписали 20 августа 1968 года. Значит, описанный Нинель Старицковой эпизод мог произойти лишь в самом конце лета, и только тогда и получил поэт хоть какой-то щит, которым можно было прикрыться от бесчисленных нападок и унижений Сидоренковых.

С этим документом Рубцов и возвращается в свою комнату на набережной VI Армии, в доме, стоящем вблизи пустого храма.

Теперь можно было подсчитать потери...

«На вид спокойный и грустный, он сидел на диване, — вспоминает Нинель Старицкова, — по-

том стал приваливаться на валик, побледнел, закрыл глаза, но успел крикнуть: «Воду... холодную... лейте...»

Я, хоть и медицинский работник, машинально последовала его приказу, а не своему решению — вызвать «Скорую помощь». Коля приоткрыл глаза, проговорил: «Еще... лейте...» Приступ длился минуты две. Цвет лица восстановился. Коля открыл глаза. Улыбнулся грустно и виновато: «Напугал я вас...»

Утром повела его во 2-ю поликлинику, где я работала. (Так мне удобнее устроить на прием без записи.) Приняла Колю в поликлинике врач К.И. Осетрова. После осмотра я зашла в кабинет — узнать, что с ним.

Ксения Ивановна сказала мне, что это ангиоспазм коронарных сосудов сердца. Это случается при длительной нагрузке».

Но коммунальная война сказалась не только на здоровье Рубцова.

Жертвой этой войны стали и отношения Рубцова с Генриеттой Михайловной и дочерью Леной.

После похорон Яшина Рубцов приезжал в Николу, где Генриетта Михайловна, Лена и Александра Александровна уже перебрались жить в сельсовет, поскольку «плоскоокрышая избушка» окончательно пришла в негодность.

Тогда и состоялся разговор о дальнейших планах.

«Рубцов, — вспоминала Генриетта Михайловна, — звал нас переехать в Вологду, но жилья у него не было...»

Однако летом 1968 года еще ничего не предвещало решительной ссоры. Разве что упреков стало больше... «Привет из Николы! Коля, здравствуй! С приветом к тебе Гета и Ленуська... Лена все собирается в Вологду к папе жить, а ты, видимо, не хо-

чешь, чтобы мы были вместе с тобой. Давай лучше не будем сердиться друг на друга, решим все по хорошему. Ведь тебе надоело так жить. А мне уже давно надоело ждать и сама не знаю чего, да и Лене нужен отец...»

Даже если Рубцов и собирался забрать семью в Вологду, из-за развернувшейся коммунальной войны сдержать свое обещание он не мог. Но и объяснить это Генриетте Михайловне, а главное, ее матери — «теще-grenadieru», тоже было невозможно.

Впрочем, Рубцов и не объяснял ничего.

Он просто махнул рукой...

И вот 6 ноября 1968 года пришло извещение: «В Тотемский районный суд обратилась гр. Меньшикова Генриетта Михайловна о взыскании алиментов на содержание ребенка, поэтому просим Вас выслать справку о Вашем семейном положении и о зарплатке».

По воспоминаниям известно, что эта повестка в суд буквально ошеломила Рубцова. Отцом он был неважным, но Лену любил, делал для нее все, что мог, и не его вина, что мог он не очень-то многое...

Может быть, в другое время Рубцов спокойнее отнесся бы к демаршу Генриетты Михайловны, но к осени 1968 года его доконала коммунальная война, и иначе, как к предательству, к затеянному Генриеттой Михайловной суду отнестись он не мог.

На что рассчитывала Александра Александровна, подговаривая свою дочь подать на Рубцова в суд, — непонятно. Едва ли она питала какие-то иллюзии насчет рубцовских заработков...

Решение было скорее импульсивным, чем расчетливым и возникнуть могло только в атмосфере полной нищеты и безвыходности вологодской деревни. Но хотя Генриетта Михайловна и не ждала

ничего хорошего от суда, слова судьи, объявившего, что алиментов будет начислено — пять рублей в месяц, ошеломили ее.

Генриетта Михайловна прекратила судебное дело и снова попыталась восстановить прежние отношения с Рубцовым, тем более что в конце 1968 года он вернулся на *свою*, отдельную жилплощадь.

Тогда Рубцов и получил от Генриетты Михайловны открытку: «Коля, здравствуй! Поздравляю тебя с Новым годом и днем рождения. Желаю тебе всего наилучшего. Суд прекратила, по какой причине, потом узнаешь. Как у тебя дела? Привет от Лены».

Но примирение не состоялось.

В свою однокомнатную квартиру на улице Александра Яшина, которую ему все-таки дали после стольких мытарств, Рубцов въехал уже свободным от каких-либо семейных обязательств человеком...

Пытаясь восстановить отношения, Генриетта Михайловна приезжала в Вологду и на Пасху 1969 года.

«Я была на курсах клубных работников в Кириллове. На обратном пути, это было в апреле, я заехала к Рубцову, он жил уже на улице Яшина.

Я пришла утром. Рубцов был один. День был субботний, 11 апреля.

Я у него прибралась, помыла, он сходил в магазин; принес еду, я приготовила обед, и к обеду к нам пришли гости...

На другой день была Пасха.

Утром он принес из магазина яйца, я их сварила в луковой шелухе, они стали красными, и мы пошли к Астафьевым.

Это было 12 апреля, в первый коммунистический субботник».

Жена Виктора Астафьева тоже, хотя она и перепутала даты, само Светлое Воскресение и своих гостей запомнила хорошо...»

«Не помню, на второй или на третий день после майских праздников... — пишет она, — перед обедом приходит к нам Николай Михайлович, постриженный, в голубой шелковой рубашке, смущенно-улыбчивый, руки спрятаны за спину, а сам все улыбается, и загадочно, и радостно. За ним вошла женщина, светловолосая, скромно одетая, чуть смущенная, но полная достоинства. Мы как раз пили чай и пригласили их. Войдя в кухню, Николай торжественно поставил на стол деревянную маленькую кадушечку, разрисованную яркими цветами, — такие часто продают на базаре. В ней — крашеные разноцветные яички. Заметив наше удивление, тут же выпалил радостно: «Сегодня же Пасха! А вы и не знали? Я же говорил, что они не знают, — сказал он, обратившись к своей спутнице. — Христос воскрес! — весело крикнул он. — А можно похристосоваться-то?»

Всем стало весело. Сели за стол. Разделили на части одно расписанное яйцо, остальные оставили в кадушечке — очень уж красиво. Николай сообщил, что яички эти привезла Гёта, и указал на женщину. Я поблагодарила, поинтересовалась, откуда и когда она приехала. Мне тоже захотелось сделать ей приятное, и я спросила, есть ли у нее дети, чтоб послать им гостинцы. Она потупилась, как-то странно улыбнулась, на Коля взглянула и, тряхнув головой, ответила, что есть — девочка.

Коля перестал есть и, подумав, сказал серьезно:
— У этой женщины живет моя дочь... Лена...»

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

За Вологдой-рекой

В своем повествовании мы уже несколько раз ссылались на воспоминания Виктора Петровича Астафьева, хотя и рассказывали пока о событиях, произошедших еще до его переезда в Вологду.

Сие знаменательное для Вологды событие произошло только в феврале 1969 года.

«Поезд прибывал вечером, — вспоминала Мария Корякина. — Народу на перроне оказалось много, и не сразу к вагону пробились нас встречающие. Пока здоровались, знакомились, обнимались в толчее, разбирали вещи, Коля стоял чуть отстраненно, а когда я подала ему руку, обрадовавшись догадке, что это и есть Николай Рубцов — я видела его портрет,— он, чуть улыбаясь, уставился на меня своим острым в прищуре взглядом, вроде даже ключим, и сказал серьезно, чуть с вызовом:

— Рубцов!.. Вы обратили внимание: встречать вас явилась вся писательская вологодская организация! Вот и я пришел тоже... чтобы в полном составе...»

Мария Корякина пишет, что тогда это показалось ей желанием выглядеть оригинальным и не очень понравилось, но думается, что меньше всего в тот момент думал Николай Рубцов об оригинальности.

Он все еще жил в своей комнате-пенале, и сосед все еще не потерял надежды переселить его на зону, а Астафьеву обком партии сразу выделил большую квартиру в центре города...

Было над чем задуматься, было отчего ощетиниться колючками...

1

А встречали Астафьевых в Вологде действительно со всей теплотой и радушием, на которое только способен небольшой русский город.

«Падал реденький снег, — вспоминал Сергей Багров. — Нас было много, почти все писатели Вологды. Разгружали грузовики с имуществом новоселов. Поднимали на третий этаж пианино, столы, чемоданы, шкафы и книги. Целый час ходили по лестнице вверх и вниз, едва не высунув языки. Виктор Петрович, видя нашу усталость, нацедил по стаканчику водки. Стало легче и веселее.

Вместе с нами был и Рубцов. Тоже старался. Но вскоре он куда-то исчез. Минут через 20, когда мы снимали с машины последние ящики книг, среди пешеходов, ступавших по тротуару, разглядели в разношенных валенках и шапке-кубанке спешившего к нам Николая с гармоникой на плече. Улыбнулись и он, и мы.

Как необычно было ступить по лестнице с ношей в руках и слушать, как вслед за тобой поднимается голос гармони — вольный, радостный, удалой!

Новоселье открыло, сам не зная того, предовольный Рубцов. Был на скорую руку убранный стол с вологодскими шаньгами, водкой, музыкой, песнями и стихами. Николай даже в темной своей рубаш-



ке выглядел свежим и молодым. Он чувствовал, что стихи, которые он напевал, сопровождая игрой на гармошке, радуют всех, и это его будоражило, побуждало на полную мощь раскрывать себя как певца, поэта и гармониста. А когда зазвучал щемящий и ласковый «Вальс цветов», всем повиделось, будто к нам ворвалось само вологодское лето!

Виктор Петрович был сильно растроган. Он понял, что здесь, за столом у него сидел не просто поэт, а взметнувшийся вихрь, управляет которым лирическая стихия».

Тут, конечно, нужно сделать скидку на некую восторженность автора воспоминаний. Хотя Виктор Петрович Астафьев действительно растрогался, но едва ли ему приходило в голову уподобить Рубцова «взметнувшемуся вихрю».

Человеком он был весьма трезвым и отчасти даже расчетливым и в оценках таланта своих сотоварищей по перу преувеличениями не грешил.

Тем не менее воспоминания Багрова чрезвычайно интересны, поскольку они запечатлели попытку поэта сблизиться с маститым — Астафьев был старше Рубцова на двенадцать лет! — писателем.

«Потянулся Рубцов к Астафьевым. Стал бывать у них постоянно. Ему нравилось, что для них он был интересен и как приятный рассказчик, и как раздумчивый человек, рассуждающий обо всем, что бывает и не бывает в сегодняшнем мире, и, конечно, как острослов, в совершенстве владеющий дерзким словом...

Для Рубцова же Виктор Петрович был до зарезу необходим. Необходим как занятный рассказчик, как вольнодумец, как критик правящего режима и как откровеннейший человек, располагавший к ответному откровению».

2

Но очень скоро выяснилось, что Астафьев такой же «до зарезу» необходимости в общении с Рубцовым не испытывает...

Разумеется, Виктор Петрович привечал поэта, но если Рубцов относился к нему как к старшему брату, Астафьев свои отношения предпочитал выстраивать по другой линии.

Оценивая талант Рубцова, Виктор Петрович всегда добавлял, что по-настоящему талант этот мог бы раскрыться в будущем, понимай, под его, Астафьева, руководством, а так...

— Прасолов, — говорил Виктор Петрович Астафьев уже после кончины Рубцова, — философски более углубленный поэт. В чем-то даже талантливей, чего там говорить. Коля — нежный, изобразительный, народный, из души в душу...

— А можно ли говорить, что Рубцов все же успел себя выразить?

— В какой-то степени... — отвечал Астафьев. — И едва ли на четверть...¹

Подчеркнем тут, что отношения двух писателей менее всего напоминали — ну чему в поэзии можно было научить Рубцова?! — отношения учителя с учеником. Скорее со стороны Астафьева это была попытка установить с Рубцовым отношения, которые достаточно точно выражаются современным словечком «строить».

«Был весенний, с солнышком день, — вспоминает Сергей Багров. — Таял снег. Признаюсь, мы были слегка под хмельком. Виктор Петрович, когда позвонили мы в дверь, мало того что нас холод-

¹ Ю.А. Ростовцев. Страницы из жизни Виктора Астафьева. М.: Энциклопедия сел и деревень, 2007. С. 261—262.

но встретил, но, кроме того, не пустил на порог, сказав, что он занят, много работы, к тому же мы нетрезвы, и лучше нам разойтись по домам, чтоб заняться каким-нибудь делом.

Я сразу ушел, ощущая в себе проникающий стыд. Николай же остался, на чем-то настаивал, спорил. Астафьев в конце концов рассердился, закрыл за собою дверь. И Николай был вынужден, как и я, спуститься по лестнице вниз».

Рубцов мог бы и не обижаться.

Едва ли Виктор Петрович хотел его обидеть... Просто очень уж любил он воспитывать людей на предмет подобающего отношения к себе.

И хотя в реальной жизни это у него не всегда получалось, зато в воспоминаниях он отводил душу.

В воспоминаниях он «построил» всех без исключения.

Даже Василий Иванович Белов, писатель никак не меньшего, чем у Астафьева, таланта и значимостью своей тогда, в конце шестидесятых, никак не уступавший ему, и то ходит в его «мемуарах» как «Вася Белов, не выговаривающий пол-алфавита русского».

Что же говорить о других вологодских писателях?

«К Астафьеву меня не тянуло, — вспоминает Сергей Багров. — Понимал, что я для него — никто. Да и душа не рвалась искать с ним какого-то там общения. В душе, вероятно, и скрыта отгадка того, почему иногда хорошо знакомые люди не могут питать друг к другу приязни».

Но это Сергей Багров ...

Рубцов так легко разойтись с Астафьевым не мог, и не только потому, что тот был интересным собеседником.

Нет... Переезд Астафьева в Вологду был для Рубцова гораздо более значимым событием, нежели просто обретение возможности общения с человеком, близким по духу, по пониманию сокровенного смысла русской жизни...

3

Общественная деятельность... Строительство литературы...

Понятия эти настолько несоразмерны с бытовым содержанием жизни Николая Михайловича Рубцова, что никогда не употребляются по отношению к нему.

Тем не менее для создания образа Вологды как нового литературного центра Николаем Рубцовым было сделано намного больше, чем Александром Яшиным, Сергеем Викуловым и Василием Беловым, вместе взятыми.

Рубцов не просто воспел Вологду...

Раскрывая его сборники, читатель переносился в атмосферу русского города, не отравленную интернационально-революционными миазмами:

Вдоль по улице по узкой
Чистый мчится ветерок.
Красотою древнерусской
Обновился городок...

Стихи Рубцова о Вологде доказывали, что именно здесь, в городе, чуждом западной урбанизации, и формируется национальное самосознание, и доказательство это потому и было убедительным, что осознание своего национального характера прямо в стихах Рубцова и происходило...

Вникаю в мудрость древних изречений
О сложном смысле жизни на земле.
Я не боюсь осенних помрачений!

Я полюбил ненастный шум вечерний,
Огни в реке и Вологду во мгле.

Стихи вовлекали читателя в круг лирических собеседников Рубцова, делали его соучастником этого национального прозрения.

Смотрю в окно и вслушиваюсь в звуки,
Но вот, явившись в светлой полосе,
Идут к столу, протягивают руки
Бог весть откуда взявшиеся други.
— Скучаешь?
— Нет! Присаживайтесь все...

Вдоль по мосткам несется листьев ворох —
Видать в окно, — и слышен ветра стон,
И слышен волн печальный шум и шорох,
И, как живые, в наших разговорах
Есенин, Пушкин, Лермонтов, Вийон.

Александр Александрович Романов, возглавлявший в те годы писательскую организацию и непосредственно отвечавший за организацию литературы, очень метко заметил, что зеленый двухэтажный дебаркадер, на котором располагался воспетый Рубцовым ресторан «Поплавок», приткнулся «не только к людной пристани, но и к литературной жизни тех лет».

И не только к вологодской, добавил бы я, но и к литературной жизни всей России. В больших и маленьких русских городах звучали волшебные стихи:

Когда опять на мокрый дикий ветер
Выходим мы, подняв воротники,
Каким-то грустным таинством на свете
У темных волн, в фонарном тусклом свете
Пройдет прощанье наше у реки. —

и кому из русских людей не хотелось тогда оказаться в этой удивительной рубцовской Вологде!

Стихи Рубцова вносили успокоение в раздерганное национальное бытие шестидесятых годов, озаряли его дивным и теплым светом родного...

И снова я подумаю о Кате,
О том, что ближе буду с ней знаком,
О том, что это будет очень кстати,
И вновь домой меня увозит катер
С таким родным на мачте огоньком...

Разумеется, неправильно было бы говорить, что Рубцов целенаправленно и осознанно занимался разработкой вологодской легенды о новой литературной столице...

Никакого осознанного плана на этот счет не существовало и не могло существовать. Была рожденная в скитаниях по сырым, полуголодным ленинградским литобъединениям, по равнодушным и сытым московским квартирам тоска по другой литературной столице, где он сможет обрести творческий покой и достоинство, где есть место его *горнице*, где *старая дорога* непременно выведет к храму, заполненному не пустотой разговоров, а молитвой...

Образ этой русской литературной столицы Николай Рубцов выносил в своем сердце, этот образ и создавал он в своих, льющихся из души в душу стихах.

Виктора Петровича Астафьевы Николай Рубцов воспринимал тоже на уровне своей тоски по другому, более достойному устроению литературной жизни, воспринимал не просто как увлекательного собеседника, а как часть вдохновенно создаваемой вологодской легенды о новом литературном центре.

Впрочем, Астафьев был даже не частью нового мифа, а осуществлением его в реальности.

Ну, в самом деле... Писатель такого уровня переезжает не в Москву, не в Ленинград, а в областную Вологду. Этим переездом Вологда уже не заявляла, а подтверждала свои права на звание новой литературной столицы.

Объясняя через десять лет, почему он выбрал Вологду, Астафьев говорил, что устал от Урала и ему захотелось поселиться в городе поменьше, более тихом.

«Возникает такое невольное стремление, когда от заводов, от дыма, от копоти устаешь, — рассказывал Виктор Петрович. — Долго приглядывал себе место, куда бы перебраться. Почему-то в Сибирь не очень хотелось, да и мои домашние были несклонны туда переезжать, далековато все-таки...

Когда я был на ВЛК, вместе со мной в одной группе учился Сергей Викулов, нынешний главный редактор журнала «Наш современник». В одно с нами время проходил курс на ВЛК поэт Александр Романов, а в Литинституте учились Василий Белов, Ольга Фокина, Николай Рубцов.

Так у меня сложился круг друзей из Вологды. Когда стал вопрос о выборе места жительства, они меня пригласили приехать, посмотреть. Мне понравился город, и я перебрался туда жить»¹.

И, конечно, вологодские писатели гордились, что именно к ним, в Вологду, переехал такой замечательный русский прозаик. И они долго не замечали, что Астафьев если и готов участвовать в создании мифа о новой литературной столице, то только при условии, что этот небольшой, простоватый, провинциальный городок будет, так сказать, обмят под него, под великого классика Астафьева.

¹ Ю.А. Ростовцев. Страницы из жизни Виктора Астафьева. С. 45—46.

Как видно по воспоминаниям, Рубцов тоже долго не мог осознать этого, и визиты его к Астафьевым продолжались.

«Правда, — как вспоминает Сергей Багров, — когда уходил он от них, то испытывал чувство какой-то потери, словно он обманулся в своем кумире и смирился с этим уже не мог».

И вот однажды...

— Астафьев не тот, за кого он себя выдает! — объявил Рубцов, встретившись с Багровым.

— Пожалуйста, объясни... — попросил Багров.

— Недавно мы говорили с ним о войне, о живых и мертвых, о коммунистах. И я спросил у него: «Многих там, на войне, принимали в партию. Ну а ты-то, Виктор Петрович, почему в нее не вступил?» И знаешь, что он мне ответил? Он сказал: «Коля! Да их, этих чертовых коммуниг, в первую очередь, как добровольцев, пихали туда, откуда живыми не выбирались! Потому и живой, и беседую я с тобой, что в эту партию не вступил. Соблазняли, страшали, тащили туда, а я ни в какую! Как был беспартийный, так беспартийным и остаюсь...»

4

Со своей стороны «беспартийный» Виктор Петрович Астафьев, хотя он время от времени и «строил» Рубцова, действительно ценил его талант, и поэтому, по крайней мере в своих воспоминаниях, готов был всячески помогать ему в правильном устройстве жизни.

Когда Николаю Рубцову наконец-то дали однокомнатную квартиру на улице Александра Яшина¹,

¹ Александр Яковлевич Яшин хлопотал о предоставлении Рубцову жилплощади, и в результате Рубцову и дали квартиру на улице его имени!

Виктор Петрович Астафьев — так описано в его воспоминаниях — самолично помогал ему обживать новое жилье, ходил с ним по магазинам, подбирая одеяла и подушки, чашки и ложки, шторы на окна и даже картинку на стену.

Однако, как вспоминает Сергей Багров, «обожание, какое владело Рубцовым в первые месяцы их знакомства, уже поиссякло. Вызрело четкое понимание, что Виктор Петрович не тот, кем казался извне. Он словно прятал в себе потаенного человека, кто старался всегда быть удачливее других. Удачливее и лучше. И в этом ему помогала *спокойная атмосфера невыдающейся жизни писателей-вологжан* (выделено мной. — Н.К.), на фоне которой он выглядел отличительно и эффектно.

Все у Астафьева было благополучно. И забота о нем партийных структур, то есть самых влиятельных коммунистов, дарами которых он пользовался всегда, но мгновенно о них забыл и начал лить на них астафьевские чернила, как только они отошли от дел. И отличные связи с издательями страны, от которых обильно кормился. И поездки по заграницам. И правительственные награды. То, другое и третье стало потребностью постоянной, с которой расстаться Астафьев, естественно, не хотел.

Рубцову же, не умевшему быть искательным и притворным, была чужда такая потребность. Не поэтому ли и стал он придирчивым и ершистым как к Астафьеву, так и всей семейной его команде, когда его наставляли правилам нужного поведения».

Разумеется, это был бунт, и, забегая вперед, скажем, что этого бунта Астафьев не простил Рубцову. И раздражение его — это можно проследить по различным редакциям воспоминаний Виктора Петровича о Рубцове, — нарастало по мере того, как росла воистину всенародная слава поэта.

Но наиболее жестоко Виктор Петрович обошелся в своих воспоминаниях с теми легендами, которые создавал Николай Михайлович Рубцов, поэтизируя литературную жизнь Вологды. Особенно досталось от него «Поплавку», зеленому двухэтажному дебаркадеру, приткнувшемуся «к литературной жизни тех лет».

5

Повторю, что многие, многие вологжане помнят этот ресторанчик...

«Отсюда, с длинного узкого балкончика на борту, — вспоминает Василий Оботуров, — а то и из окна открывается просторный вид на противоположный берег с храмами, дощатым настилом на воде для полоскания белья, рядом — старые деревянные домики, а дальше — новые пятиэтажки и заводские корпуса...»

Рубцову было хорошо если не в самом ресторане, «в котором дело так заведено, что на окне стоят цветы герани, и редко здесь бывает голос браны, и подают кадуйское вино», то в стихах, написанных им про этот дебаркадер...

Таким запомнил его в «Поплавке» и Александр Александрович Романов.

«...Рубцов сидит, подперев подбородок кулаком, и с любопытством поглядывает то на нас, то на ресторанных посетителей. По смуглой свежести лиц, по синеглазому простодушию, по певучему говору он узнает родных тотьмичей. Они веют на него грустной памятью... Но вот возникает в растворе буфета официантка Катя, миловидная и бойкая молодуха. На крепкой ладони у нее сияет круглый, заставленный бутылками поднос. Она ветром пролетает меж столиков, останавливается перед нами

и улыбается Рубцову. Она, может, единственная из женщин, знакомых с ним, чует его смятенную душу. Она ласково называет его Колей и ставит перед ним пару бутылок дешевого (с ударением на втором слоге для лихости) кадуйского вина. И наш разговор о жизни и поэзии течет дальше...»

Зато Виктор Петрович Астафьев запомнил этот ресторан и Рубцова в нем не просто по-другому, а как-то полностью наоборот, навыворот...

«Стоял дебаркадер на реке Вологде, ниже так называемой Золотухи... В Золотуху вологжане сваливали все, что можно и неможно. И все это добро выплывало в Вологду-реку. Двухэтажный дебаркадер стоял почти на окраине, в конце города...

От берега к дебаркадеру из прогибающихся плах был сооружен широкий помост, поверх которого наброшены трапы, на корме дебаркадера кокетливо красовался деревянный нужник с четко означенными буквами «М» и «Ж», который никогда не пустовал, потому как поблизости никаких сооружений общественной надобности не водилось.

С дебаркадера, в особенности с кормового сооружения, с головокружительной высоты любили нырять ребятишки. *Разгребая перед собой* нечистоты, вынесенные Золотухой, *натуральное дермо*, плавающее вокруг дебаркадера, *плыли вдаль будущие граждане Страны Советов* (здесь и дальше выделено мной. — Н.К.)...

Вот здесь-то, на втором этаже дебаркадера, располагалась забегаловка, называющаяся рестораном; и занавески на окнах тут были, несколько гераней с густо насованными в горшки окурками, горячее тут подавали и горячительное, это самое «кадуйское вино».



Большой мистификатор был Рубцов, по-современному говоря — травила. В его сочинении «kadуйское вино» звучит как бургундское или, на худой конец, — кахетинское. А вино это варили в районном селе Кадуй еще с дореволюционных времен из калины, рябины и других растущих вокруг ягод. Наставили вино в больших деревянных чанах, которые после революции мылись или нет — никто не знал. Во всяком разе, когда однажды, за немением ничего другого, я проглотил полстакана этого зелья, оно остановилось у меня под грудью и никак не проваливалось ниже. Брюхо мое, почечуй мой и весь мир противились, не воспринимали такой диковинной настойки».

6

В принципе, чтобы снизить романтический пафос «Вечерних стихов», хватило бы и рецепта приготовления «kadуйского вина», но Астафьеву этого недостаточно, он рассказывает и о нужнике, и о «будущих гражданах Страны Советов», что блаженствуют, «разгребая перед собой натуральное дермо, плавающее вокруг дебаркадера».

А описание хозяйки и распорядительницы чего стоит?

«Но главной достопримечательностью «Поплавка» была все же его хозяйка и распорядительница Нинка. **Блекленькое, с детства заморенное существо с простоквашно-кислыми глазками**, излучавшими злое превосходство и неприязнь ко всем обретающимся вокруг нее людям и животным, она была упряма и настойчива в своем ответственном деле».

А описание кушаний?

«Из еды в «Поплавке» чаще всего подавали

рассольник, напоминающий забортную жидкость реки Вологды, лепешку, называемую антрекотом, с горошком или щепоткой желтой капусты, сверху, **в виде плевка**, чем-то облитой, и мутно-розовый кисель с не промешанным в нем крахмалом, вглуби **напоминающим обрывки глистав**. Случалось, на закусь подавали две шпротины, кусочек селедки с зеленым лучком или на какой-то хирургической машинке тонко-тонко нарезанный сырок. Три кусочка, широко разбросанных по тарелке...»

Можно допустить, конечно, что Астафьев решил развернуть в прозаическом исполнении хрестоматийную цитату «когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...», но немного напутал, позабыл, что хотя стихи порою и растут из сора, но все-таки не из деръма ведь...

Но цветы для Астафьева в этих воспоминаниях дело несущественное.

Ему важен Рубцов!

И тут Виктор Петрович употребляет воистину титанические усилия, пытаясь описать поэта в принципиально новом качестве:

«Вот сюда-то, в это заведение, и любил захаживать поэт Николай Михайлович Рубцов. Сидит себе за столиком, подремывает иль стихи слагает...

И вот в один не очень погожий вечер... усталый, невыспавшийся поэт Рубцов, переплыv через Вологду-реку... прилепился в «Поплавке» за угловым столиком, покрытым пятнистой тряпкой, именуемой скатертью, заказал себе винца, антрекот, а поскольку ножа тут не выдавали, поковырял, поковырял вилкой антрекот этот самый, да и засунул его в рот целиком, долго жевал и достиг той спелости, что он проскочил через горло в **неприхотливое брюхо** и осел там теплым комочком. Чтобы

смягчить **ободранное антракотом горло**, Коля налил еще в стакашек и сопроводил закуску винцом, после чего облокотился на руку, да и задремал умиротворенно...

Нинку скребло по сердцу, ох как скребло! Не может она видеть и терпеть, чтоб во вверенном ей заведении спали за столом. Тут что, заезжий дом колхозника иль гостиница какая-нибудь? Бегала, фыркала, головой тряслась Нинка, стул нарочно на пол уронила — не реагирует клиент. И тогда она кошкой подскочила к нему и со словами: «Спать сюда пришел?» — дернула его за рукав, за ту руку, на которую он щекой опирался. От редкого приятного сна **на ладонь поэта высочилась сладкая, детская слюна**, от неожиданности и расслабленности Коля тюкнулся носом в стол и мгновенно, не глядя, ударил острым локтем Нинку, да попал ей под дых — унижать много униженного **бывшего подзaborника** — занятие опрометчивое, по себе знаю.

Похватав ртом воздуху, Нинка огласила «Поплавок» визгом:

— О-ой, убили! О-ой, милиция!..

Нынче уж нет на месте ни пристани, ни дебаркадера, ни «Поплавка», и где, кого сейчас обсчитывает Нинка, кому и где хамит, знать мне не дано».

Конечно, после астафьевских **плевков капусты**, киселя **с крахмалом, похожим на обрывки глистав**, от приткнувшегося к вологодской «литературной жизни тех лет» ресторана на дебаркадере ничего не должно было остаться. Как, впрочем, и от главного мифотворца, певца вологодских красот и здешних злачных мест, который старательно рисует портрет Рубцова и снаружи, и изнутри...

Завершаются воспоминания, посвященные «Поплавку», поучительным выводом. Виктор Петрович отметил, что, написав «Вечерние стихи» после этой грязной истории, Николай Рубцов преподал «урок доброты, милосердия, сердечного, может, и святого отношения».

Но тут Виктор Петрович ошибся...

Не всем преподал Николай Рубцов урок своей доброты, или — так вернее! — не все усвоили его.

И воспоминания самого Виктора Петровича, в которых он пытается затоптать ростки вологодской легенды, которую создавал Рубцов, доказательство этому.

И вот что странно...

Отложив воспоминания В.П. Астафьева, перечитываешь стихи Николая Рубцова, посвященные Вологде, и кажется, что он писал их, зная воспоминания, которые напишет о нем, спустя три десятилетия после его кончины, Виктор Петрович.

Сижу себе. Разглядываю спину
Кого-то уходящего в плаще.
Хочу запеть про тонкую рябину,
Или про чью-то горькую чужбину,
Или о чем-то русском вообще!

Об этом «русском вообще», которое мы сами, русские, и губим в себе, и пытался рассказать Николай Рубцов в своих стихах, прощаясь с Вологдой...

Печальная Вологда
дремлет
На темной печальной земле,
И люди окраины древней
Тревожно проходят во мгле.

Замолкли веселые трубы
И танцы на всем этаже,
И дверь опустевшего клуба
Печально закрылась уже.

Родимая! Что еще будет
Со мною? Родная заря
Уж завтра меня не разбудит,
Играя в окне и горя.

И сдержаный говор печален
На темном печальном крыльце.
Все было веселым вначале,
Все стало печальным в конце.

На темном разъезде разлуки
И в темном прощальном авто
Я слышу печальные звуки,
Которых не слышит никто...[†]

Это действительно прощальные стихи.

В них Николай Михайлович Рубцов, кажется, навсегда прощается — пока еще не со своей жизнью, пока еще только с той новой русской литературной столицей, образ которой он создал в своих стихах и в которой так и не пожелали жить его вологодские друзья...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Успокоение

Перечень лишений, испытанных Николаем Михайловичем Рубцовым, можно пополнить тем, что ему так и не удалось выпустить ни одной своей книги в том составе и порядке, как бы хотелось ему самому.

Первая книжка «Лирика», как мы уже говорили, составлялась вообще без участия Рубцова.

«Я получил письмо из Архангельска, — писал он летом 1964 года. — Стихи «Русский огонек», «По холмам задремавшим» и еще многие стихи, которые дали бы лицо книжке, мне предлагаю обязательно убрать из рукописи. Даже стихотворение «В горнице моей светло» почему-то выбрасывают. Жаль. Но что же делать? Останутся в книжке стихи мои самые давние...»

Книги «Звезда полей», «Душа хранит» и «Сосен шум» проходили в издательстве трудно и вместили в себя, помимо рубцовских шедевров, еще и те компромиссы, на которые вынужден был идти поэт, чтобы пробиться к читателю.

Говоря так, я не пытаюсь принизить заслуги первых редакторов Рубцова. Без их усилий встреча читателей с поэзией Рубцова не состоялась бы еще долгие годы...

Но вместе с тем очевидно и другое.

«Легализируя» поэзию Рубцова в советской литературе, редакторы по мере сил разбавляли зреющую лирику поэта бодрым пафосом ранних стихотворений, приглушали внутреннюю подсветку, что возникает в перекличке рубцовских образов.

Наверное, в дальнейшем, получив выслугу лет, Рубцов и сам — отчасти! — исправил бы положение, убрал бы следы редакторского вмешательства из своих сборников, но — увы! — жизнь его оборвалась слишком рано...

1

Я говорю об этом так уверенно потому, что в Государственном архиве Вологодской области на-ткнулся на интересный рубцовский автограф.

Озаглавлен он — «Успокоение»¹.

Далее рукой Рубцова написано тридцать девять заголовков стихов.

Совершенно очевидно, что перед нами план небольшого — около одного печатного листа — сборника или раздела в сборнике.

«1. За оконцем; 2. Жара; 3. Таковы леса; 4. Род. деревня; 5. Цветы; 6. Увядшие цветы; 7. По вечерам; 8. В обители природы; 9. Душа хранит; 10. Встреча; 11. Встреча (вторая); 12. Когда душе моей; 13. Ива; 14. Светлый покой; 15. В краю лесов, полей; 16. Захлебнулось поле; 17. Журавли; 18. В избе; 19. Душа; 20. Венера; 21. Аленъкий цветок; 22. Природа; 23. Гроза; 24. После грозы; 25. Слухи; 26. На реке; 27. Сентябрь; 28. Дуэль; 29. Пушкин; 30. Кедрин; 31. Тютчев; 32. Есенин; 33. Гоголь; 34. В горнице; 35. Над вечным покоем; 36. Ночь на (неразборчиво); 37. Тихая родина; 38. Пасха; 39. Есть пора».

¹ ГАВО. Фонд 51, б/у, опись 1, дело № 362.



Стихотворения: «Жара», «Родная деревня», «Цветы», «По вечерам», «Душа хранит», «Встреча», «Ива», «Журавли», «В избе», «Венера», «Аленький пветок», «Природа», «Гроза», «После грозы», «Сентябрь», «Дуэль», «В горнице», «Над вечным покоем» — свои названия не изменили.

Часть стихов обозначена в списке начальными строками: «Когда душе моей» — «В глухи»; «Светлый покой» — «На озере»; «В краю лесов, полей» — «Прощальный костер»; «Захлебнулось поле» — «Острова свои обогреваем»; «Пасха» — «Промчалась твоя пора»; «Есть пора» — «Слез не лей».

Нетрудно догадаться, что обозначенному в списке названию «В обители природы» соответствует стихотворение «В святой обители природы», «Пушкин» — «О Пушкине», «Тютчев» — «Приезд Тютчева», «Есенин» — «Сергей Есенин», «Гоголь» — «Однажды», «Тихая Родина» — «Тихая моя родина».

Без особого затруднения идентифицируется стихотворение «Таковы леса». В сборнике «Лирика» так было озаглавлено стихотворение «Сапоги мои — скрип да скрип». Вероятно, заголовку «Увядшие цветы» соответствует стихотворение «Цветок и нива» — в заголовок вынесена усеченная первая строка: «Цветы! Увядшие цветы».

Совершенно точно, из письма Николая Рубцова Сергею Багрову, отправленного в декабре 1964 года, известно, что «Философские стихи» предполагалось назвать «Душа».

Без риска ошибиться можно предположить, что заголовком «Слухи» обозначено стихотворение «Кого обидел». Про слухи у Рубцова, кажется, больше нигде и не говорится...

Точно так же, как и поэта Дмитрия Кедрина Рубцов упоминал только в стихотворении «Последняя ночь».

Наверное, не ошибемся мы, предположив, что заголовком «За оконцем» обозначено стихотворение «Уединившись за оконцем».

Сложнее с заголовками «Встреча (вторая)», «На реке» и «Ночь на...».

Возможно, что заголовок «На реке» обозначает стихотворение «На реке Сухоне». Два претендента есть и на место тридцать шестого стихотворения: «Ночь на родине» и «Ночь на перевозе».

Ну и совсем уже непонятно, какое Николай Рубцов имел в виду стихотворение, говоря о *встрече (второй)*...

У него было написано еще во время службы на флоте стихотворение «Встреча»: «Ветер зарю положет в теплой воде озер... Привет вам, луга и рощи, и темный сосновый бор», которое кончалось словами: «И я отпускник-матрос — горжусь, что в морском дозоре бдительно вахту нес»... Однако это стихотворение настолько не соответствует уровню стихов, с которыми работал Рубцов, составляя «Успокоение», что его можно смело отбросить.

Видимо, в поисках отгадки надо идти другим путем...

В списке после загадочной «Встречи (второй)» идут стихотворения «В глухи» и «Ива», написанные летом 1964 года. Рубцов впервые воспроизводит их в письме своему руководителю Н.Н. Сидоренко.

Так вот, предваряя их, Рубцов приводит еще одно стихотворение...

Поднявшись на холмах,
старинные деревни
И до сих пор стоят, немного накренясь.
И древние, как Русь, могучие деревья
Темнеют вдоль дорог,
листву роняя в грязь.
Но есть в одном селе,
видавшем сны цветенья

И вихри тех ночей, когда нельзя дремать,
 Заросший навсегда травою запустенья
 Тот дворик дорогой, где я оставил мать.
 Со сверстницею здесь мы лето провожали,
 И, проводив, грустим уж много-много лет,
 Грустнее оттого, что все мои печали
 Кому я расскажу? Друзей со мною нет...
 Ну что ж! Пусть будет так!
 Ведь русские деревни
 Стояли и стоят, немного накренясь,
 И вечные, как Русь, священные деревья
 Темнеют вдоль дорог,
 листву роняя в грязь...

Возможно, это и есть то стихотворение, которого недостает в списке...

2

Частично стихи, включенные Рубцовым в список, публиковались в прижизненных сборниках, остальные опубликованы уже после смерти в «Подорожниках» и «Последнем пароходе». Так что в этом смысле обнаруженный мною в архиве автограф поэта ничего нового не открывает. Но вот отбор стихотворений, размещение их относительно друг друга — ошеломительно непривычны...

Николай Рубцов назвал свой сборник «Успокоение».

Об успокоении говорится в двенадцатом стихотворении сборника:

Когда душе моей
 Сойдет успокоенье
 С высоких после гроз
 Немеркнувших небес,
 Когда, душе моей
 Внушая поклоненье,
 Идут стада дремать
 Под ивовый навес,

Когда душе моей
 Земная веет святость
 И полная река
 Несет небесный свет, —
 Мне грустно оттого,
 Что знаю эту радость
 Лишь только я один:
 Друзей со мною нет...

Все стихотворение синтаксически необыкновенно мастерски вмещено в одно предложение. Основное пространство его занимает троекратно повторенные обстоятельства времени — когда... когда... когда...

Само же действие вмещено в два слова — мне грустно...

А дальше, еще три строки — объяснение причины грусти. Грустно не от самого одиночества, а от невозможности приобщения друзей к «немеркнувшим небесам», «земной святости», «небесному свету».

Столь нехарактерная для поэзии Рубцова статичность обусловлена замыслом. Дьявольские силы «Поезда» производят лязгающее, свистящее движение, а **успокоение**, обретение вечного покоя никакого движения и не предполагают.

И тут надобно вспомнить, что в православной традиции **успокоение** всегда воспринималось как высшая ступень нравственного совершенства человека. Отказываясь от грешной суетолоки страстей, человек обретает возможность преодолеть их, очиститься. Стремление хотя бы в старости обрести покой — заветная мечта православного человека, высший дар, который можно получить от судьбы.

Как всегда в стихах Рубцова, настоящее и будущее время смешиваются здесь, существуют одновременно. Стада идут дремать уже сейчас, река



тоже несет небесный свет в настоящем времени, а **успокоение** только еще сойдет в будущем, но уже сейчас знает герой стихотворения эту радость.

Далее идет как бы описание прогулки. Ничего нарочитого в этом описании нет. «Иду в рубашке»... «Цветут ромашки»... «На них ложится тень ветвей»...

Однако если мы вспомним «Старую дорогу»:

Навстречу им июльские деньки
Идут в нетленной синенькой *рубашке*,
 По сторонам качаются *ромашки*,
 И зной звенит во все свои звонки,
 И в тень зовут росистые леса...

— обнаружится ритуально-точное повторение ключевых слов, объяснить которое случайным совпадением невозможно. Впрочем, если следовать гегелевской логике, **этого мы пока еще не знаем**. Так что описание летнего дня и не вызывает у читателя ничего, кроме узнавания милого каждому человеку пейзажа.

Происходит безмятежно-расслабленное погружение в постоянный на запахе разогретой солнцем травы воздух июльского дня. Но одновременно совершаются и некие магические действия, и вот реалистический пейзаж начинает размываться, и в нем проступает то, что видно рубцовским глазам:

И так легки были годы,
 Как будто лебеди вдали
 На наши пастбища и воды
 Летят со всех сторон земли!..

Картина, что и говорить, впечатляющая.

Разбросанные в разных краях годы наших жизней соединяются в библейско-пастушьей простоте жизни.

И все... Магический сеанс завершен. Вместе с пробуждением отдаляется от нас и чудное видение. Только смутное, неразборчивое эхо доносится издалека:

И снова в чистое оконце
Покоить скромные труды
Ко мне закатывалось солнце,
И влагой веяли пруды...

Владимир Даль в качестве иллюстрации к слову «**покоить**» приводит выражение: «Они взяли к себе деда, чтобы **покоить** его у себя». По Николаю Рубцову, «скромные труды» покоит солнце, то есть источник света, питатель самой жизни. Если мы вспомним, что труды эти с самого начала стихотворения были связаны с солнцем, светозарный характер их становится очевидным.

Но там, где есть свет, должна быть и тьма, добруму в земной жизни всегда противостоит злое, покою — сутолока, Богу — дьявол...

Уже второе стихотворение «Жара» закрепляет эту тему противостояния Света и Тьмы как главную в сборнике.

Начинается «Жара» с появления «вещей старухи»:

Всезнающей вещей старухе
И той не уйти от жары...

Стихотворное бытие этого персонажа коротко. Вещая старуха лишь обозначена, как инициатор устроенного силами зла шабаша. Свист, лязганье, грохот рубцовского «Поезда» вытесняет в «Жаре» мирные приметы летнего дня:

*С ревом проносятся мухи,
С визгом снуют комары,
И жадные липнут букашки,
И лютые оводы жгут.*



Все стремительно, все перенапряжено, все это обрушивается на светозарный мир предыдущего стихотворения...

Страшные предчувствия томят все живое.

И вот уже и барашки жалобно плачут, и лошади, топая, ржут, и даже могучий племенной бык и тот охвачен беспокойством.

Вызванная вещей старухой католическая сила, разумеется, появляется. И нас не должно смущать, что, ощущив ее приближение, мы тут же видим, как ускользает она, трансформировавшись в «дьявольскую силу», вдруг сообщившуюся людям.

Иначе и не бывает.

Опереточная персонификация черной силы в образе черта с рогами и хвостом — мираж, самой силой зла и порождаемый для того, чтобы отвлечь внимание от главного ее местопребывания — человека. Вспомните, что и в Евангелии, где бесы даны, так сказать, в их объективной реальности, они ни разу не принимают видимых глазами очертаний.

Зато «продукт жизнедеятельности» бесов, вселившихся в людей, налицо.

Налицо он и в стихотворении Рубцова. Он показывает, что человек обезбоженный становится скопищем разрушительных сил...

И строят они и корежат,
Повсюду их сила и власть...

Ну а поскольку, в отличие от Евангелия, изгнать бесов, хотя бы в тех же барашков за неимением свиней, в «Жаре» некому, то неизгнанная бесовская сила достигает тут апогея:

Когда и жара изнеможет,
Гуляют еще, веселясь!..

3

Вопрос о том, был ли Рубцов православным человеком, выходит за пределы его биографии, он принципиально важен для понимания эпохи, в которой жил Рубцов.

С одной стороны, вся система образов в поэзии Рубцова ориентирована на православие и вне православия неосуществима, но, с другой стороны, никаких достоверных свидетельств о воцерковленности Николая Рубцова или хотя бы о его попытке воцерковиться нам обнаружить не удалось.

И хотя это тоже еще ни о чем не говорит, но все-таки с очень большой определенностью можно утверждать, что ни в детдоме, ни в Тотемском лесотехникуме, ни в Приютине, ни на флоте, ни на Кировском заводе, ни будучи студентом дневного отделения Литературного института Рубцов просто не имел возможности для тайного воцерковления.

Вся его жизнь протекала в общежитской открытости, и любая подобная попытка была бы если и не осуждена соседями по кубрику или общежитской койке, то по крайней мере замечена. Относительная бесконтрольность появляется в жизни Рубцова уже после исключения его из Литинститута...

Единственное, более или менее четкое упоминание о посещении Николаем Рубцовым церковной службы сделано Виктором Астафьевым и — увы! — как и многое другое в этих воспоминаниях, по-астафьевски вывернуто:

«Я крякнул и начал пить через край котелка остывший чай, глядя в сторону церкви. И как исчез, так и появился-выплыл из береговых зарослей поэт Рубцов. Но только все было наоборот: сперва возникла и засияла под солнцем молодая, умс-

твенная лысинка, затем лицо выявилось, вот поэт бредет уже по пояс в сияющих травах, кое-где росы не обронивших, ***вот в чертополохах весь означился*** (здесь и дальше выделено мной. — Н.К.). Не видно, чтоб его водило из стороны в сторону, чтоб качался он. По лицу поэта бродили отблеск солнца и улыбка, та самая, что появляется у него в минуты блаженства в левом уголке рта.

— Здорово ночевали! — сказал поэт Рубцов, перешагивая через бревно. Обведя нас искрящимся, каким-то детски не замутненным взором, начал рассказывать, как хорошо погулял, ***угодил в церковь к концу службы***, пение слышал, ***батюшка*** узнал его, ***причастил***, и они с ним долго и хорошо говорили. Народ тоже, который узнавал поэта, кланялся ему.

— И знаете, ребята, — сам себе радуясь и удивляясь, сказал Коля, — у меня стихотворение пошло, запев, четыре строчки первые уже сложились...»

Понятно, что можно пойти в церковь и после попойки ***к концу службы***... Тут уж человек сам решает, в осуждение причащается он или во спасение... Но ведь Виктор Петрович и сам знает это, не зря у него Николай Михайлович после Святого причастия ***в чертополохах весь означился...***

И получается, что не о пребывании Рубцова в церкви это свидетельство, а о блуждании поэта по чертополоху. В жизни Рубцова, наверное, случалось и такое, но несомненно, что душа его всегда искала Бога, была открыта Его глаголу.

— Знаешь, — как-то сказала Рубцову Н.А. Старичкова, — я недавно в командировке была, в Устюжене, вышла из самолета и услышала переливчатый звон... Остановилась даже. Звон шел от храма. Оказалось, я прибыла в город в праздник Рождества. Первый раз я слышала звон колоколов. То ли от

такой музыки, то ли от чего другого на душе стало легко и празднично.

— Вот видишь, — сказал Рубцов. — Бог все-таки есть! Это точно! Ну как иначе объяснить, если ребенок еще совсем маленький, а улыбается. Значит, он что-то видит. Это ангелы с ним.

Нет-нет, ни к чему насильно затягивать Рубцова в церковь, тем более что если даже и занялся он — и слава Богу! — своим воцерковлением в последние годы жизни, все равно это ничего не меняет в постановке нашего вопроса, ибо к этому времени вся поэзия Рубцова уже была насквозь пронизана духом православия...

И это абсолютно достоверный факт.

Открывая любое стихотворение Рубцова, мы как бы окунаемся в тот русский пейзаж, который создавали наши предки, глубоко и искренне верившие в Бога, которые веками осуществляли через себя Божье воздействие на природу, и она преображалась, становилась отражением познавшей Бога души.

Живительным образом действует этот пейзаж на душу читателя-христианина, даже если этот христианин и не знает, что он христианин.

Мы уже говорили, что атеистическая тьма, стущавшаяся над Россией во времена владычества «ленинской гвардии» и хрущевской «оттепели», так и не сумела перебороть православной светносности русского языка.

И происходило чудо.

Прошедшие через атеистические школы и институты люди, соприкасаясь в работе со словом, с живой стихией языка, усваивали и начатки православного мировоззрения.

Особенно ярко это проявлялось в так называемой деревенской литературе. Определение «дерев-



венщики», казалось бы, неточное — писатели этой школы не ограничивались деревенским материалом — и даже несет в себе некий пренебрежительный оттенок, но по сути верное, если говорить о православной красоте и глубине языка, в котором живут лучшие книги Федора Абрамова, Василия Белова, стихи Николая Рубцова...

Вспомним о моде на иконы, на туристские поездки для ознакомления с церковными памятниками архитектуры, возникшей тогда в среде городской интеллигенции. Хотя тут, как часто бывает у интеллигенции, произошло смещение интересов: главного на сопутствующее (многих привлекала не сама православная вера, а материальная ее атрибутика) — это движение своей массовостью, а главное, осознанием православия как объективной ценности явно не вписывалось в советские атеистические планы.

Возвращаясь к судьбе Николая Михайловича Рубцова, подчеркнем, что его путь к православию, пролегающий не через церковь, а через русскую классическую поэзию, в общем типичен для литераторов, начинавших свой путь в конце пятидесятых годов.

Сбиться с этого пути не составляло труда, и многие, конечно же, сбивались, забредали в трясину интеллигентских компромиссов, улавливались в капканы различных вероучений.

Этих искусств Рубцов, слава Богу, избежал... В силу своей необыкновенной одаренности он прошел по этому пути дальше других, и поэтому для него Путь этот оказался особенно трудным.

Дело в том, что душа Николая Михайловича Рубцова, уже открытая Богу, церковной защиты от на-тиска враждебных человеку темных сил не имела.

Тут невоцерковленный Рубцов мог рассчитывать только на самого себя.

В воспоминаниях того же Виктора Астафьева можно прочитать, как находили на Рубцова темные силы, как, застигнутый ими, начинал возводить поэт химеры чудовищных построений, корежа при этом и свою собственную и окружающих людей жизнь. Потом он овладевал собою, сверхъестественным усилием выныривал из засасывающей темноты к свету и сразу яснел, стихал...

Со временем Рубцов научился различать приближение темных сил. Порою ему удавалось уклониться от контакта с ними, иногда и противостоять.

Но именно иногда.

Не всякий раз...

Впрочем, лучше об этом рассказано в самих рубцовских стихах...

Третьим в сборнике «Успокоение» Рубцов поставил стихотворение «Сапоги мои — скрип да скрип». В списке Рубцова оно обозначено заголовком «Таковы леса».

Рассуждения:

Таковы на Руси леса
Достославные,
Таковы на лесной Руси
Сказки бабушки.
Эх, не ведьмы меня свели
С ума-разума
песней сладкою —
Закружило меня от села вдали
Плодоносное время
Краткое... --

сделали бы честь самому толстокожему материалисту.

По сюжету сборника эти стихи идут следом за рассказом о приближении лесной нечисти, ощу-

щаемом поэтом. Ведь не случайно он вспоминает вдруг о существовании этой нечисти:

Знаешь, ведьмы в такой глуши
Плачут жалобно...

И вот, когда уже затягивает душу в страшное ведьмовское кружение, герой стихотворения вполне убедительно, с материалистических позиций начинает рассуждать о причинах, ввергших его в гибельное движение.

И тут неважно, насколько искренен он сейчас.

Герой стихотворения обороняется от колдовских чар, притворяясь этаким бесчувственным к их воздействию материалистическим пеньком. Маскируясь, он становится неинтересен для духов тьмы, и они отходят от него...

4

В самом построении своего сборника «Успокоение» Николай Рубцов реализует те же принципы организации поэтического материала, что и в отдельных стихах.

Рассказывая исключительно о собственном духовном опыте, Рубцов никогда не настаивает, не педалирует свои мысли, не стремится придать мимолетным видениям отчетливых очертаний. Он легко забывает о заданной теме, начинает говорить совсем о другом, и только прислушавшись, различаешь, что первоначальные мысли и ощущения никуда не ушли, лишь приняли другие очертания.

Вот и в сборнике «Успокоение» Рубцов сразу после «Лесов» ставит стихотворение «Родная деревня».

Переход естественный и логичный.



Герой сборника проводит лето в деревне (в сборник Рубцов включил много стихотворений, написанных в 1966 году), странно было бы ему не вспомнить о своем детстве, не поразмышлять о жизненном пути. Впрочем, уже сама лексика:

... Хотя проклинает проезжий
Дороги моих побережий. —

не дает читателю оторваться от начавшегося разговора.

Историческая ретроспекция потребовалась поэту, чтобы ввести в тему судьбы разговор о тех ложных путях, на которые сбивается по своей неопытности человек.

Оговорюсь сразу: литературоведческий разбор стихов Рубцова — дело рискованное...

Расчленение его живой поэзии может привести исследователя к путанице в причинно-следственной связи. Поэтому-то и необходимо подчеркнуть, что тот рационализм построения рубцовского сборника, о котором мы говорим, отнюдь не самодовлеющ.

Он проявляется как свойство всякой гармонии.

Сама же жизнь прекрасного течет внешне достаточно беспорядочно и как бы случайно... Сожаление о пылком мальчишке, слишком поторопившемся в дорогу следом за приезжим гостем, сменяется сожалением о склоненных цветах:

И мерещилось многие дни
Что-то тайное в этой развязке:
Слишком грустно и нежно они
Назывались — «анютины глазки». —

которое уже совсем и не о цветах сожаление, а о чем-то большем, что теряем мы, хотя и пытаемся сберечь, а потом ищем и грустим о потерянном...

И вот уже из многоголосия снова властно звучит тема души и вечности:

Вздойдет любовь на вечный срок,
Душа не станет сиротлива.
Неувядаемый цветок!
Неувядаемая нива!

Но и это торжествующее, победное звучание не финал, а только приобщение к будущему, вечному... Это только подъем по дороге:

С моста идет дорога в гору.
А на горе — какая грусть! —
Лежат развалины собора,
Как будто спит былая Русь.

С фотографической точностью воспроизводит Рубцов никольский пейзаж, и так же точно, как в пейзаж, вписываются развалины собора в его поэзию...

Наверное, в этом и надо искать ответ на вопрос о воцерковленности Рубцова.

Душа его искала, жаждала воцерковления, она шла к церкви, но каждый раз натыкалась лишь на развалины храмов: в Николе, в Тотьме, во всех больших и малых городах и поселках, где довелось ему жить...

И, строго говоря, вся его поэзия — это попытка восстановления храмового строения, возведения церковных стен, вознесения куполов... Это всегда молитва, созидающая церковное строение, и всегда — страшное предчувствие гибели его.

И, конечно же, не случайно в сборнике «Успокоение» рядом с развалинами собора встает стихотворение «В святой обители природы».

Казалось бы, все просто...

Когда сокрушены церковные стены, храмом становится весь Божий мир. Но этот пафос панте-

истического оптимизма не может удовлетворить православное сознание:

Но слишком явственно во мне
Вдруг отзовется увяданье
Цветов, белеющих во мгле.
И неизвестная могила
Под небеса уносит ум... —

православное мироощущение легко обнаруживает прорехи в пантеистическом бессмертии, в душе его, «которая хранит всю красоту былых времен», возникает «отраженный глубиной, как сон столетий, Божий храм».

5

Человек обезбоженный становится скопищем разрушительных сил. Такой человек способен лишь *искорежить* тот Божий мир русской природы, который его православные деды и прадеды, осуществляя через себя Божье воздействие на природу, благоустраивали и преображали, превращая русский пейзаж в отражение своей души, познавшей Бога.

Мало кто с такой глубиной и силой, как Рубцов, сумел раскрыть драму обезбоженной советскими десятилетиями русской православной души.

Если всмотреться, то мы увидим, что это — стрежневая тема сборника «Успокоение».

Мы уже говорили, что под десятым и одиннадцатым номерами в списке Рубцова идут стихи, обозначенные как «Встреча» и «Встреча (вторая)». Четкой идентификации поддается только одно из них:

— Как сильно изменился ты! —
Воскликнул я. И друг опешил...

Стихотворение короткое — всего восемь строчек. Огородив друга, поэт тут же, смеясь, утешает его, что, дескать: «Не только я, не только ты, а вся Россия изменилась!»

Шуточное глубокомысленное как бы и все стихотворение сводит к шутке, но категории случайности и необходимости не из рубцовской поэзии.

На роль «Встречи (второй)» мы предложили стихотворение «Поднявшись на холмах...», приведенное в письме Н.Н. Сидоренко.

К аргументам, уже изложенным нами, присоединим несомненную перекличку этого стихотворения с другими стихами «Успокоения». Иногда эта перекличка отливается в цитатные совпадения: «Грустнее оттого, что все мои печали кому я расскажу? Друзей со мною нет...»

И вставлено это стихотворение в сборник тоже удивительно точно.

Да, вся Россия изменилась — пусть и в шутку утверждалось в предыдущем стихотворении... Но вот оглядывается поэт, и открываются его духовному зрению некие *старинные* деревни, что «и до сих пор стоят, немного накренясь...»

И, конечно же, как всегда у Рубцова, очень все непросто с этими «старинными деревнями»...

...есть в одном селе,
видавшем сны цветенья
И вихри тех ночей, когда нельзя дремать.
Тот дворик дорогой, где я оставил мать...

И вот только сейчас, вспомнив, что *село*, где поэт *оставил мать*, называется *кладбищем*, понимаешь, о чем это стихотворение.

Осознание этого вихрем врывается в читателя, переворачивая образы и наполняя беспощадной точностью детали пейзажа: и *накренившиеся* на

склоне холма могилки, и *священные* деревья, что темнеют вдоль дороги на кладбище...

Выправляется даже неловкость строк:

Со сверстницею здесь мы лето проводили,
И проводив, грустим уж много-много лет.

Понятно, что, если бы Рубцов хотел сказать о каком-то романе, который был у него, он бы сказал «мы лето провели». Но он говорит не о *проводении* каникулярных или отпускных дней, а именно о *проводах лета*, о том страшном соскальзывании светлого летнего дня, когда умерла мать, в глухую детдомовскую осень.

Обе — и шутливая, и совсем нешуточная — встречи происходят непосредственно перед стихотворением «В глухи», завершающемся повтором — из предыдущего стихотворения — строки: «Друзей со мною нет».

Констатация этого факта существенно углубляет значение предшествующих «встреч».

Это встречи и *невстречи*...

Встречаясь с друзьями, Рубцов не может встретиться с ними во взаимопонимании.

Произошедшая в поэте перемена так естественна, что ему кажется, будто переменились все вокруг. Изменившейся кажется и вся Россия. Все видит поэт новыми глазами, все сейчас ощущает иначе.

Светлый покой
Опустился с небес
И посетил мою душу!
Светлый покой,
Простираясь окрест,
Воды объемлет и сушу...

Стихотворение «На озере» завершается словами просьбы, смысл которой, если рассматривать сти-

хотоврение вне сборника, может показаться темным и загадочным:

Сделай меж белых
Своих лебедей
Черного лебедя — белым!

Но лебеди уже были в рубцовском сборнике. В самом первом стихотворении, которым и открывалось «Успокоение»:

И так легки были годы,
Как будто лебеди вдали...

И в следующем стихотворении «Прощальный костер» снова возникает тема прожитых лет:

Душа свои не помнит годы,
Так по-младенчески чиста...

6

О стихотворениях «Прощальный костер», «Острова свои обогреваем», «Журавли» можно написать отдельные книги. Наша же задача сейчас проследить взаимосвязь стихотворений в сборнике, живущих тут как единое целое.

Неизъяснимо прекрасна метаморфоза «мимолетного сна природы» из «Прощального костра» в сиротство «души и природы» из «Журавлей».

Некая новая художественная реальность возникает в единстве составленных в таком порядке стихов, и реальность эта не нуждается в толковании, она воспринимается душой, она самоценна, как и сами стихи Рубцова.

Точность соединения стихов в сборнике не может не изумлять. Ничто не исчезает в мире Рубцова, все проходит свой предназначенный срок жизни...

Вот, например, стихотворение «Острова свои обогреваем»...

Стихотворение интересно еще и как попытка соединения опыта прежней, пропитанной романтикой моря жизни с новыми духовными прозрениями...

По воде, качаясь, по болотам
Бор скрипучий движется, как флот!

Откуда, из каких глубин памяти всплывает этот образ?

Из темных тотемских ночей, когда детдомовец Рубцов ощущал себя «сыном морских факторий»?

Из тех времен, когда и спросить-то:
Как же мы, отставшие от флота,
Коротаем осень меж болот? —

было немыслимо. Когда так страшно было отстать от большой, проплывающей мимо в ярких огнях жизни...

Но вот прошли годы, и жизнь эта стала реальностью, и в ней открылся свой смысл, свой свет, своя тихая радость *успокоения*...

Острова свои обогреваем
И живем без лишнего добра,
Да всегда с огнем и урожаем,
С колыбельным пением до утра...

Скрипучий бор, подобно флоту, из стихотворения «Острова свои обогреваем», «по воде, качаясь, по болотам», выплывает в стихотворении «Журавли», где «меж болотных стволов красовался восток огнеликий»...

И кажется, что на этих кораблях, приплывших из болотной Эллады, и принесена в «Журавли» гекзаметрическая «огнеликость».

А движение, разрастаясь широкою строкою «Журавлей», вовлекает в себя все новых участников, и вместе с этим движением разрастается забытость, сиротство...

Вот уже и сын из стихотворения «В избе», не слышавший (или не расслышавший?) рубцовских журавлей, «заводит речь, что не желает дом стеречь», но иначе и быть не может, ведь «за годом год уносится навек»...

Судя по письмам, стихотворению «Душа» Рубцов отводил важное место в своем творчестве.

Написано оно в ноябре 1964 года, когда исключенный из Литературного института Рубцов, без денег, без надежд, застрял в отрезанной осенним бездорожьем от мира Николе.

Стихотворение кончается пророчеством:

Когда-нибудь ужасной будет ночь.
И мне навстречу злобно и обидно
Такой буран засвищет, что невмочь,
Что станет свету белого не видно!

Сейчас, когда мы можем прочитать в воспоминаниях Людмилы Д, как «презрительно молчала» она, как «с ненавистью смотрела» на Рубцова перед тем, как совершить убийство, теперь, когда мы знаем из ее стихов, что она уподобляла себя в минуту убийства «в гневе своем урагану», описание ужасной крещенской ночи 19 января 1971 года, прозрение своего смертного часа, сделанное Рубзовым, поражает предельной точностью даже в деталях.

Но пророчество на этом не завершается. Никакая преграда, даже смерть, не может остановить движения души поэта.

Но я пойду! Я знаю наперед,
Что счастлив тот, хоть с ног его сбивает,
Кто все пройдет, когда душа ведет,
И выше счастья в жизни не бывает!

Чтоб снова силы чуждые, дрожа,
Все полегли и долго не очнулись,
Чтоб в смертный час рассудок и душа,
Как в этот раз, друг другу улыбнулись...

Говорить о пророчествах, а тем более толковать их в той части, что относится к жизни еще не наступившей, страшновато.

А речь идет тут, конечно же, уже не об ужасе последней ночи самого Рубцова.

И это значит, к кому-то другому еще должен прийти «смертный час», и этому другому и желает Рубцов, чтобы у него рассудок и душа, «как в этот час» (19 января 1971 года) друг другу улыбнулись.

Он сам обещает помочь в этом...

Чем дальше вчитываясь в «Успокоение», тем яснее, что и своей конструкцией этот сборник представляет недостижимое совершенство.

С ювелирной точностью расположены в нем стихи, и ни одно не заслоняет, не перебивает другого. Каждое сияет во всей изначальной красоте, но вместе с тем улавливая сияние других и сообщая свое сияние другим.

7

Мне никогда не нравились рубцовские стихи о литераторах, всегда казались какими-то не по-рубцовски бестелесными. И только, кажется, в «Успокоении» вся эта вереница теней наполнилась рубцовским смыслом.

Сказав, что «В бездне таится небесной Ветер и грусть октября...», Рубцов открывает галерею своих великих предшественников.

Лермонтов... Пушкин... Кедрин... Тютчев... Есенин... Гоголь...

Они проходят перед читателями сборника, как

бы входя в поставленную следом за ними «Горницу», где так светло от ночной звезды.

«Можно, — говорил Вадим Кожинов, — с большими основаниями утверждать, что **любимейшим** поэтом Николая Рубцова был совсем уж не «деревенский» Тютчев. Он буквально не расставался с тютчевским томиком, изданным в малой серии «Библиотеки поэта», и, ложась спать, клал его под подушку...

Как уже говорилось, Николай часто исполнял стихи на полусочиненные-полууслышанные мелодии. Но среди своих стихотворений он почти всегда исполнял на такой же безыскусный мотив и тютчевское:

Брат, столько лет сопутствовавший мне,
И ты ушел, куда мы все идем,
И я теперь на голой вышине
Стою один — и пусто все кругом.

И долго ли стоять тут одному?
День, год — другой — и пусто будет там,
Где я теперь, смотря в ночную тьму
И — что со мной, не сознавая сам...

Бесследно все — и так легко не быть!
При мне иль без меня — что нужды в том?
Все будет то ж — и выюга так же выть,
И тот же мрак, и та же степь кругом.

Дни сочтены, утрат не перечесть,
Живая жизнь давно уж позади,
Передового нет, и я, как есть,
На роковой стою очереди.

Внимательный читатель увидит, как близки эти стихи по своему стилю, по самому своему тону поэзии Николая Рубцова. Те же, кому довелось слышать эти стихи в исполнении Николая, чувствовали, что они — самое глубинное, самое интимное его достояние.

Нет сомнений, что гениальная поэзия Тютчева оказала сильнейшее воздействие на Николая Рубцова. Подчас в его стихах слышны прямые (и даже излишне прямые) отзвуки Тютчева.

В краю лесов, полей, озер
Мы про свои забыли годы.
Горел прощальный наш костер,
Как мимолетний сон природы.

И ночь, растряченная вся
На драгоценные забавы,
Редеет, выше вознося
Небесный купол, полный славы...

..Душа свои не помнит годы,
Так по-младенчески чиста,
Как говорящие уста
Нас окружающей природы...»

Прерывая цитату из В.В. Кожинова и возвращаясь к «Успокоению», отметим, что «явно тютчевское» стихотворение «В краю лесов, озер, полей» тоже включено в сборник. И здесь, встав за «Светлым покоем», оно не может быть заменено ничем...

Более того, и «вторичность» его тоже оказывается внутренне оправданной...

... Прощайте все,
Кто нынче был со мною рядом,
Кто воздавал земной красе
Почти молитвенным обрядом...

Создавая галерею портретов своих любимых поэтов, Рубцов словно бы перебирает судьбы, прежде чем поведать о своей судьбе, когда:

Рукой раздвинув темные кусты,
Я не нашел и запаха малины,
Но я нашел могильные кресты,
Когда ушел в малинник за овины...

И как тут сказать, пророчество или не пророчество эта «могила в малиннике»?

У Рубцова такое точное знание смерти, что и само стихотворение «Над вечным покоем» в списке «Успокоения» располагается под тридцать пятым, очень точно соответствующим смертному возрасту поэта номером.

Когда ж почую близость похорон,
Приду сюда, где белые ромашки,
Где каждый смертный свято погребен
В такой же белой горестной рубашке...

Совпадение это можно, конечно, объяснить случайностью.

Как и совпадение числа четко идентифицируемых в «Успокоении» стихотворений.

Их тоже только тридцать пять...

Завершая разговор о внецерковной православности Николая Михайловича Рубцова, нужно вернуться к стихотворению «На озере». Мы уже говорили, о каких лебедях идет речь в просьбе героя сделать черного лебедя белым. Посмотрим сейчас, к кому обращает свою просьбу поэт.

О, этот светлый
Покой-чародей! —

восклицает он, и только в следующей строчке раскрывается, что именно к «покою-чародею» и адресовано обращение:

Очарованием смелым
сделай...

Нет нужды доказывать, что это не пушкинское «очей очарованье». Преображение, о котором просит поэт, должно быть сотворено магическими чарами, «очарованием смелым». И творить эти чары



должен некий «покой-чародей». Нет, не другой, а именно *этот...*

Говоря так, я менее всего пытаюсь представить гениального русского поэта в образе этакого повелителя духов.

Нет!

Если и вызывал Рубцов темные силы, то делал это неосознанно, по неосторожности проваливаясь в языческие подземелья воздвигнутого в русском языке православного храма. Разбуженные неосторожным словом темные силы действительно являлись, но объектом их внимания и воздействия становился сам поэт.

Безусловно, Рубцов и сам осознавал, что нуждается в церковной защите. Не случайно ведь в последние годы жизни появляются в его квартире иконы. Другое дело, что одних только икон было, конечно же, недостаточно.

Говоря об особом характере рубцовской православности, невозможно пройти мимо последних стихотворений «Успокоения»...

Предпоследним в сборнике поставлено стихотворение — вспомним, как появился Рубцов с Генриеттой Михайловной у Астафьевых с крашеными яйцами! — о Пасхе...

Пасха — главный праздник христиан.

Реконструируемая по детским воспоминаниям Рубцова картина, конечно же, мало общего имеет с пасхальной радостью, что овладевает сердцами верующих в этот светлый день...

Пасха
под синим небом
С колоколами и сладким хлебом,
С гульбой посреди двора...

Да, мы видим пасхальный день глазами ребенка: все вроде бы соответствует весеннему празднику, кроме самого главного — вся Пасха у Рубцова совершается вне церкви и без церкви.

Это только внешнее подобие Пасхи, как бы скорлупа без яйца, оболочка без содержимого. И, конечно же, не случайно, подобно бесовской свадьбе, скачущей в глубине потрясенного бора, «промчалась твоя (этой Пасхи. — Н.К.) пора».

Садились ласточки на карниз,
Взвивались ласточки в высоту...
Но твой отвергнутый фанатизм
Увлек с собою
и красоту...

Строка «твой отвергнутый фанатизм» косноязычна, но она ключевая в этом стихотворении.

И она удивительно точна.

И, как всегда у Рубцова, не вполне ясно, откуда и каким образом происходит интервенция черного советского богооборчества, которое, разумеется, боролось не с Богом, не со святыми, а лишь отвергало фанатизм служителей культа...

И, как всегда у Рубцова, совершенно очевидно, что эта лживая чернота неразрывно связана и с пьяною гулянкой посреди двора, и с шумом чего-то, промчавшегося прямо сквозь твою жизнь.

О чём рыдают, о чём поют
Твои последние колокола?
Тому, что было, не воздают
И не горюют, что ты была...

Чего уж тут горевать, если не воздано было самое главное...

Стихотворение «Пасха» завершается словами: «Промчалась твоя пора».

А самое последнее стихотворение начинается словами: «Есть пора — души моей отрада».

Грязь кругом, а тянет на болото,
Дождь кругом, а тянет на реку, —
И грустит избушка между лодок
На своем ненастном берегу.
Облетают листья, упłyвают
Мимо голых веток и оград...
В эти дни дороже мне бывают
И дела, и образы утрат...

Такие стихи невозможно анализировать.

Они сами и есть та последняя «отрада души», которая дарована была поэту на нашем ненастном берегу.

Эти стихи, как и «Прощальная песня», прощание Рубцова. Прощание со своей любимой, прощание со всеми нами:

Слез не лей над кочкою болотной
Оттого, что слишком я горяч,
Вот умру — и стану я холодный,
Вот тогда, любимая, поплачь!

Это последние слова Рубцова в сборнике «Успокоение»...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

На краю обрыва

В июне 1969 года, за полтора года до своей смерти, Николай Михайлович Рубцов совершил последнее свое большое путешествие...

Он побывал на Ветлуге (притоке Волги), у своего товарища по институту Александра Сизова. С этого момента и можно датировать начало отсчета последнего полуторагодового периода жизни Николая Михайловича Рубцова...

На этом временном рубеже сошлись три важных события его жизни.

И все они в отложном до минутной точности механизме рубцовской судьбы так или иначе связаны с его «Звездой полей».

1

О вселении Рубцова в однокомнатную квартиру на улице Александра Яшина мы уже говорили... В квартиру эту — никакда не уйти тут от каламбура! — «Звезда полей» и привела Рубцова.

Одновременно с получением квартиры Рубцов завершает учебу в Литературном институте.

В начале лета 1969 года Рубцов наконец-то получил диплом.

Защищался он сборником «Звезда полей»...

«Я, как заведующий редакцией русской советской поэзии издательства «Советский писатель», —

писал в рецензии на дипломную работу Николая Рубцова Егор Исаев, — был у истоков этой, прямо скажем, замечательной книги. И после выхода ее в свет я, уже как читатель, перечитывая ее, всегда находил в ней что-то новое для себя. Я помню ее сердцем. Помню не построчно, а всю целиком, как помнят человека со своим неповторимым лицом, со своим характером. Эффектного, ударного в книге ничего нет. Есть задушевность, раздумчивость и какая-то тихая ясность беседы. В ней есть своя особая предвечерность — углубленный звук, о многом говорящая пауза. О стихах Рубцова трудно говорить, как трудно говорить о музыке. Слово его не столько обозначает предмет, сколько живет предметом, высказывается его состоянием. Особенno эта черта присуща его стихам цикла, посвященного северной деревне. Да, она во многом — об уходящем. Но мимолетное прощание всегда предопределяется мимолетностью и несерьезностью встреч. И такая мимолетность не свойственна творчеству Рубцова. *Он если прощается, то обязательно любя. Он как бы печалуется любовью. А если уж встречается, то тоже для того, чтобы полюбить* (выделено мной. — Н.К.). Его стихи учат чувству мучительного постоянства...»

Егор Исаев писал в своем отзыве о стихах Рубцова, но, читая эти слова, задумываешься об отношениях Рубцова с близкими ему людьми, и кажется, что слова «если прощается, то обязательно любя» — о них...

Впрочем, почему кажется?

Это так и есть.

Еще раз повторим, что невозможно разделить стихи Рубцова и его жизнь... Они взаимопроникают друг в друга и наполняют друг друга необыкновенным, рубцовским светом...



Свет этот, сходный со светом «Звезды полей», притягивал к себе, завораживал...

И тут самое время сказать еще об одном событии, произошедшем в жизни Рубцова в начале лета 1969 года...

2

Мы уже говорили, что в 1963 году, когда Людмила Д. познакомилась с Рубцовым, «*никаких свойств, присущих настоящему мужчине*», она в нем не обнаружила, никакой симпатии не почувствовала.

И так было и во время второй встречи в апреле 1964 года...

«Он неприятно поразил меня своим внешним видом... На голове — пыльный берет, старенькое вытертое пальтишко болталось на нем»¹.

Правда, были еще удивительные стихи Рубцова, но это открылось Д., только когда она прочитала через пять лет рубцовскую «Звезду полей».

Что думала она, на что рассчитывала, на что надеялась, отправившись в начале лета 1969 года в Вологду, чтобы «поклониться» гениальному поэту? **Что** вообще в таких случаях может думать женщина, уже перешагнувшая тридцатилетний рубеж, но

¹ Воспоминания Людмилы Д. цитируются по машинописному тексту, переданному убийцей поэта Глебу Горбовскому. Хотя эти воспоминания и опубликованы сейчас в газете «Криминальный вестник», в альманахе «Дядя Ваня», хотя они и выходили отдельным изданием, но в эти публикации (разговор об этом впереди) внесены некоторые изменения в соответствии с тем, как Д. сама представляет теперь себе и пытается представить другим смысл совершенного ею преступления. Я считал и продолжаю считать первую редакцию воспоминаний убийцы поэта достаточно важным свидетельством и в каком-то смысле документом. Этот подход и не позволяет мне пользоваться откорректированными ею воспоминаниями, поскольку это может помешать воссозданию объективной картины трагедии.



все еще привлекательная, женщина, вполне сносно — у нее был муж, была дочь, было образование, были публикации стихов — устроившаяся в жизни, но все еще не потерявшая надежду на какое-то лучшее, или, вернее сказать, необыкновенное устройство жизни?

Наверное, поднимаясь по лестнице к рубцовской квартире, Д. и сама не знала, чего она хочет, чего ждет... Экзальтация и тщеславие, самопожертвование и какая-то расчетливость переполняли ее, и, конечно же, примиряя женское тщеславие и высокое благородство, было еще и ожидание Чуда...

Она позвонила.

Дверь открыл Рубцов. «В старых подшитых валенках, еще более полысевший»... Увидев гостью, он уронил рукопись, и листочки разлетелись по коридору.

Как и должно быть в жизни, встреча оказалась не такой, как представляла ее себе Д., — все произошло обыденней и прекрасней.

В своих воспоминаниях Д. очень точно передает мысли и ощущения женщины, задавшейся целью влюбиться в Рубцова, не только в его стихи, но и в него самого...

«Утром я проснулась от гудения множества голосов, в окно каюты было солнце, теплоход вздрогивал, что-то где-то шипело. За окном была какая-то пристань. Уж не Тотьма ли? Было семь часов утра. Я быстро поднялась. Рубцов спал на верхней полке младенческим сном. Я потрясла его за плечо, он проснулся, выглянул в окно и вскочил...

Мы вышли заспанные, неумытые и влились в толпу, которая уже выливалась по трапу на пристань. Утренний холодок охватил нас, я сразу вся продрогла. Мы стали подниматься по тропинке



вверх, по берегу Сухоны и остановились на очень возвышенном месте.

— А теперь я умоюсь! — сказал Рубцов и сбежал вниз к воде. Там он долго и с наслаждением плескался, фыркал. Я стояла, смотрела вокруг на солнечные зеленые дали и была благодарна судьбе, что она дала мне этот день и этого человека».

Так и начался этот роман.

Начинался с какой-то роковой предопределенностью...

Еще ничего, кажется, не произошло, но уже нанесен был удар по верной почитательнице и поклоннице Рубцова — Нинель Старичковой...

«Из-за дебаркадера парохода не было видно, и я прошла вперед, к домику Петра I, на возвышение.

Когда пароход появился перед глазами, у меня словно ноги подкосило (думала — упаду). Коля и Люда стояли на палубе рядышком. Люда держалась руками за поручни, а Коля облокотился и от этого казался, по сравнению с ней, таким маленьким. Оба весело смеялись...

Пошла домой расстроенная. Но убеждала себя, что он имеет право на свободу. Не жена я ему! Не жена! Пусть делает, что хочет».

Еще ничего, кажется, не произошло, но снова оказались разрушенными отношения Николая Рубцова с семьей, живущей в Никольском. Рубцов не поехал, как собирался, в Никольское, а вернулся с Д. в Вологду. Более того, подруги Генриетты Михайловны запомнили спутницу Рубцова и поспешили рассказать ей о новой измене Рубцова...

Еще только-только встретились, а уже поругались между собою.

— Она же чернокнижница! — сказал Рубцов про Marinу Цветаеву. — Ведьма... Она злая. Злая и ее поэзия!



— Как ты, Рубцов, можешь такое говорить?! — возмутилась Д. — Как ты можешь? У нее не злая поэзия, а трагическая! Ее жизнь была трагическая, и вся ее судьба — в ее стихах.

— Ну и что? — поддразнивая, сказал Рубцов. — Неужели Тарас Шевченко меньше пережил? А его поэзия добрая. Не то что у этой ведьмы.

— Не смей ее называть ведьмой! — закричала Д. — Я люблю Марину!

Повысил голос и Рубцов.

Он всегда нервничал, когда видел, что человек, которому он пытается объяснить очевидное — помните: «он судил коллег на уровне своего мастерства, своего таланта, а это было слишком высоко и непонятно для многих окружающих его людей...», — не желает понимать его, замыкаясь в своем упрямстве. Тем более это выводило Рубцова из себя, когда речь шла о том, что Николай Михайлович считал для себя родным и дорогим.

Д. если и не поняла, то мгновенно почувствовала это и с извращенностью, столь свойственной шестидесятникам, мгновенно перевернула все в свою пользу. Она и после его гибели описывала это состояние в Николае Михайловиче Рубцове с какой-то извращенной, ничего, кроме самой себя, не желающей замечать эгоистичностью:

«На глаза его навертывались слезы, что-то давно наболевшее рвалось из его души, какое-то глухое отчаяние, что-то непоправимо трагическое слышалось мне в его горьких резких выкриках. Позднее я привыкну к такому его состоянию, оно, как яд, капля за каплей просочится и в меня и заполнит мои клетки жутью обреченности. Но тогда я видела его таким впервые».

Но на этот раз с приступом раздражения Рубцов справился сам.

— Люда, — вдруг сказал он. — Надо бы не пропустить Печенгскую церковь. Давно я ее не видел... И ты посмотришь.

Вот так, с надрывом, с ссорами и криками начался этот роман...

Но иначе и не могло быть.

Людмила Д. пыталась влюбиться в Николая Михайловича Рубцова, но ничего из этой попытки не выходило.

«Рубцов еще с порога закричал: «Людочка! Это я — твой муж!» — пишет она в своих воспоминаниях. — От слова «муж» все во мне перевернулось, я вся содрогнулась: до того неестественно было слышать из уст Рубцова «я твой муж». Друг, брат, мой бедный больной ребенок, мой мучитель, мой истязатель, мой любимый поэт... Но муж?! О боже! Что я делаю?»

Д. делала то, что и было задумано.

От задуманного она редко отступала... Сейчас она отправилась в Вельск, чтобы рассчитаться там и переехать в Вологду уже навсегда.

Ну, а Николай Михайлович Рубцов поехал в Тимониху погостить у Василия Ивановича Белова и написать свою, навеянную ветлугскими впечатлениями, «Лесную сказку»...

3

Далеко не каждый поэт способен всю свою творческую жизнь писать изо дня в день лирические стихи.

Увы... Лирическое долголетие чаще становится уделом средних поэтов.

Я бы не рискнул утверждать, что на тридцать третьем году жизни Николай Рубцов начал иссякать как лирический гений, но очевидно, что некие возрастные перемены он ощущал в себе, и

пусть и подсознательно, но пытался найти соответствующие этим изменениям новые литературные формы.

Как отмечает Василий Оботуров, Рубцов в эти месяцы «явно ощущал какой-то перевал в своем творчество, иногда пугался этого. Наверное, потому, что очертания будущих путей для него самого еще не прояснились».

Как наступят зимние потемки,
Как застонут сосны-вековухи,
В бедных избах странной незнакомке
Жадно внемлют дети и старухи.
А она, увядшая в печали,
Боязливой сказкою прощальной
Повествует им о жизни Ляли,
О любви разбойника прощальной.
Так, скорбя, и ходит богомолка,
К людям всем испытывая жалость,
Да уж чует сердце, что недолго
Ей брести с молитвами осталось...

Лично у меня не повернется язык назвать эту поэму-сказку некоей вершиной в творчестве гениального поэта Рубцова, но сам Николай Михайлович хотя и понимал, наверное, что новое произведение не достигает уровня, заданного его лирикой, тем не менее «сказке» радовался и гордился ею.

Действительно, «Лесная сказка» вполне профессиональная работа. Более того, это первый и достаточно успешный шаг на новом поприще...

Впрочем, насчет шага на новом поприще можно и поспорить.

Хотя и написана «Лесная сказка» в форме эпического повествования, но лирическая стихия захлестывает ее...

«Рубцов не писал сказок, далеких от его собственной жизни... — пишет в предисловии к «терровскому» трехтомнику В. Зинченко. — Эта сказ-

ка-быль про него самого, — не ожидал только, что погибнет от рук «разбойницы Шалухи», хотя и чувствовал, что тучи над ним стущаются, хотя и говорил про ее зверские вирши: «Это патология. Женщина не должна писать такие стихи...»

Конечно, можно внимательнее перечесть «Лесную сказку»¹ и убедиться, что разбойница Шалуха не убивала Лялю, который погиб на поединке с Бархоткой, а Шалуха (это в поэме тоже не сказано прямо) лишь отравила свою соперницу, юную княгиню Лапшанскую...

Но с другой стороны, что-то есть в описании судьбы несчастной Шалухи от судьбы, которую выберет для себя убийца Николая Рубцова:

Бор шумит порывисто и глухо
Над землей угрюмой и греховой.
Кротко ходит по миру Шалуха,
Вдали гонима валею верховой...

И, несомненно, что-то свое различал Николай Михайлович в шуме ветлугских сосен, глядя на возвышающийся над деревней Ляленки угрюмый, поросший лесом бугор:

Где навек почил он за оградой,
Под крестом, сколоченным устало...
Но грустить особенно не надо,
На земле не то еще бывало.

И, конечно, никуда не уйти от того факта, что эти строки написаны Николаем Михайловичем именно после его поездки с Людмилой Д. в Тотьму...

¹ В тексте «Лесной сказки», включенном в составленный и опредактированный В. Зинченко трехтомник, пропущено четверостишие:

— Где княжна? — вскричал разбойник Ляля
Сквозь тугой порыв лесного гула.
И сказал Бархотка, зубоскаля:
— Вечным сном княжна твоя уснула...

Никакой логической связи тут нет, только неясные предчувствия, смутные опасения, которые владели Рубцовым, когда он создавал в Тимонихе «Разбойника Лялю».

4

В Тимонихе Николай Рубцов гостил у Василия Ивановича Белова...

Из писателей, живших в те годы в Вологде, Николай Рубцов, Виктор Астафьев, Василий Белов, без сомнения, являлись писателями первого ряда. Остальные вологодские прозаики и поэты независимо от личной талантливости, занимаемого положения и, как теперь говорят, «продвинутости» в этот ряд не попадали.

И хотя в практическом плане литературная жизнь Вологды зависела прежде всего от главы местной писательской организации Александра Александровича Романова и, конечно, от возглавившего в 1968 году журнал «Наш современник» Сергея Васильевича Викулова, но духовная составляющая этой жизни во многом определялась внутри рубцовско-астафьевско-беловского треугольника.

И конечно же, не случайно Рубцов после перечисленных нами событий середины 1969 года, обозначивших рубеж в его жизненном пути, едет писать свою первую поэму в Тимониху к Василию Белову.

С Василием Ивановичем Беловым у Рубцова давно уже установились прочные дружеские отношения. Белов достаточно хорошо понимал, кто такой Рубцов, Рубцов ценил творчество Белова и очень бережно относился к дружбе с ним.

Хотя характеры у них, конечно, были очень разными...

Нинель Старичкова вспоминает, как однажды, собираясь уходить от Рубцова, Василий Иванович «мельком взглянул со стороны на стол и сделал замечание, что ножка у стола покривилась. Коля встал в позу, развел руками в стороны: «Так ты же плотник!»

Василий Иванович подошел к столу, пнул по ножке, и она встала на свое место.

Вот и вся работа, которую не сумел сделать хозяин».

Так же просто, как эту ножку стола, Василий Иванович готов был исправить и неопределенность в семейном положении друга...

Мы уже рассказывали о встрече дня рождения Белова на квартире у Старичковой.

Празднование затянулось, и на следующий день, когда Старичкова вернулась с работы, и Белов, и Рубцов, и Романов все еще сидели в ее квартире.

— Я люблю ее! — объявил Рубцов и, то ли пытаясь внушить это самому себе, то ли убедить в этом присутствующих, повторил: — Я люблю ее...

— Если так, то женитесь, — сказал Белов. — Я вам кольца золотые куплю.

Рубцов опустил руки и, словно его в чем-то не-пристойном уличили, виновато сказал:

— Но я люблю их обеих...

— Тогда другое дело... — сказал Белов.

У Белова все было просто.

Рубцову такой простоты в человеческих отношениях явно недоставало. Причем не всегда это зависело от него, сама жизнь его ставила в такие ситуации, где простого решения не могло быть.

Это касалось, например, его отношений с семьей в Николе. От дочери Рубцов никогда не отказывался, но Генриетту Михайловну в жены себе он не выбирал, никаких обещаний ей не давал, и



упрекать его в предательстве или измене было бы не совсем верно.

Разумеется, если бы они жили в одном городе, если бы у Рубцова или у Генриетты Михайловны с самого начала была своя жилплощадь, жизнь их со временем могла бы наладиться, войти в русло обычной семейной жизни, но для этого требовалось и время, и определенное стеченье обстоятельств. Пока же все оставалось в подвешенном, неопределенном состоянии, и выйти из него Рубцову не давали...

Столь же сложными и запутанными, как об этом можно судить по ее воспоминаниям, оставались и отношения Рубцова с Нинель Старичковой...

Старичкова, как мы уже говорили, появилась в жизни Рубцова в декабре 1965 года. Она пригласила тогда не знающего, где ему устроиться на ночь, поэта к себе домой.

Рубцов приглашение принял.

По дороге он завел Старичкову в гастроном и, чтобы не выбиваться из жанра, — напомним, что днем он читал семинаристам свои морские стихи, — как настоящий «сын морских факторий», купил ей килограмм конфет «Ласточка», а себе четвертинку водки.

Должно быть, он рассчитывал на ответную военно-морскую простоту, но со стороны Старичкой было все: и восхищение его стихами, и бесконечное сочувствие, не было только простоты...

В принципе, особых переживаний по этому поводу у Рубцова не возникло.

В качестве товарища или сестры Старичкова устраивала его еще больше, но скоро выяснилось, что Нинель Александровна все-таки претендует на романтические отношения с ним.

Причем претензии на эти отношения она, как и бывает с женщинами, сильно задержавшимися с выходом замуж, высказывала в самые неподходящие моменты.

Когда в начале лета 1968 года, спасаясь от своих соседей по квартире на набережной VI Армии, Рубцов сбежал из Вологды, Старичкова послала ему такое письмо:

«Коля!.. Нина Груздева сообщила мне, что ты больше не вернешься в Вологду. Почему ты это передаешь через Нину?

Я знаю, что в осиных гнездах не живут ласточки. Я знаю, что есть зло. Правда, меня почему-то берегли от него люди, были слишком добры. Вот и верю я в человека. К жужжанию ос я привыкла, к укусам — тоже. Я в тебя верю. Ты все скажешь мне сам. Только береги себя, пожалуйста... Прости меня за бессвязное письмо, но я не такой сильный человек, если мне так плохо без тебя. Убежим куда-нибудь вместе?! 17/VI — 68 г. Неля».

Можно представить, что чувствовал Николай Рубцов, читая эту смесь упреков со стародевичими грезами о совместном романтическом побеге *куда-нибудь*, когда ему впору было думать о настоящем побеге...

Наверное, Рубцов не раз сравнивал Нинель Александровну с Генриеттой Михайловной. Если Генриетта Михайловна смущала его своей деревенской простоватостью, своим грубоватым практицизмом, то Нинель Александровна была вся соткана — по крайней мере в отношениях с ним — из каких-то причудливых грез.

«Мы даже не вспоминали о еде, — пишет Н.А. Старичкова в своих воспоминаниях. — Да что говорить! Пища действительно была «скучной», как пишет Рубцов...

Коля приходил в такие минуты, когда на столе было уже пусто. Так что и угостить его было нечего.

Он сам даже сказал:

— У тебя ничего нет. А у Нины (Груздевой. — Н.К.) всегда все есть. Она любит угощать...»

Дамскую историю, как — такое, кажется, только в девичьем полусне в пятнадцать лет и бывает — она наконец-то решила уступить «домогательствам» Рубцова, Нинель Александровна описала сама...

«Второе марта у меня памятный день. Приняла решение: если Коля будет настаивать остаться у него, останусь. Я уже устала от непонятной ни уму, ни сердцу дружбы. Летим друг к другу, а зачем?...

Мы остались вдвоем.

Коля пьет вино, но не становится болтливым и раскованным.

Мне кажется, что он прислушивается к себе, а может, присматривается ко мне. Он знает, что я не люблю спиртные напитки. А сегодня не отказываюсь сделать несколько глотков.

Сегодня — исключение. Решено: не буду спешить домой.

Сегодня праздник — начало весны. И мое любимое время года.

Сегодня я соглашусь остаться здесь.

Но Коля словно читает мои мысли. Стал озабочен.

Он ходит по комнате, выходит на кухню, возвращается снова.

Сижу, не спрашиваю о времени (оно идет вроде мимо меня), не собираюсь домой. Хотя на улице уже стемнело.

— Да оставайся ты! — обычно перед моим уходом говорил Коля. Надеюсь, жду такого предложения.

И... вдруг: «Неля, ведь уже поздно. Тебе пора домой».

Сцена просто блестящая.

Неумение взглянуть на ситуацию со стороны с успехом компенсируется здесь наблюдательностью женщины, подмечающей и запоминающей самые малейшие детали поведения партнера.

И мы видим, как аккуратно и точно выходит Рубцов из положения, когда его прямо из похмелья (перед этим он выпивал с Василием Беловым) пытаются вовлечь в ситуацию «героя на ранцеву».

Такими же аккуратными и очень, если разобраться, бережными по отношению к Старичковой были попытки Рубцова вывести этот односторонний роман из тупика безнадежности.

«Он вошел в комнату, как всегда, первым, резко повернулся ко мне, выпалил:

— Я хочу, чтобы ты... Я хочу, чтобы у меня был сын. Но без меня...

— Как это без тебя? — со святой наивностью спрашиваю я.

— Ты будешь приходить ко мне...

Он немного замешкался и дальше с ударением произнес: «Иногда!»

— Я хочу, чтобы ты его воспитала!

Коля несколько раз ударял кулаком по воздуху, словно вколачивал в стол гвозди.

— А куда денешься ты? Детей воспитывают вместе... — пролепетала я.

— Нет, — резко говорит он, — только ты, и одна. Я даже хотел бы, чтобы и Лену ты воспитала. Но она ведь ее не отдаст...

Этот разговор с желанием иметь сына, но без него воспитывать я поняла как стремление сохранить свободу. Но, возможно, он видел и дальше, знал, что долго ему не жить».

Объяснение, дескать, «он знал, что долго ему не жить» — очень женское.

Думается, что столь необычное предложение Рубцов сделал не столько из-за желания обзавестись сыном¹, а только ради самой влюбленной в него Нинель Александровны. Он пытался таким образом материализовать грезы, заполняющие все существо его почитательницы, переключить их на полезное и самоценное для любой женщины занятие — воспитание ребенка.

Но ничего не получилось из замысла Рубцова.

Выйти из *несвоего* романа ему опять не удалось.

«Меня обидел и оттолкнул вариант «супружеских» отношений, когда явное надо делать тайным, — пишет Старичкова. — Расстались как и прежде: одновременно и родными, и далекими».

5

Сергей Багров вспоминает, как в сентябре 1969 года, собираясь в командировку, он решил заглянуть по пути на улицу Яшина, к Николаю Рубцову.

«В комнате было хотя и прибрано, но уныло. Голые стены. Прогорклый воздух. Лампочка на шнуре...

На свой поезд я опоздал и остался с ночевкой у Николая.

Он принес с балкона мне раскладушку. Сам улегся спать на диван.

Свет не включали. Лежали с открытой дверью балкона. Слушали набегавшие звуки города и не спеша вели разговор»...

¹ Как пишет сама Старичкова, сын у Рубцова якобы уже был.



— Все, казалось бы, есть, — пожаловался Рубцов. — Квартира, деньги, друзья, а уже надоело.

— Почему надоело? — удивился Багров.

— Потому что все было. Все лучшее, то, к чему человек стремится. Любовь — была. Слава — была. Жить даже стало неинтересно.

Помолчав с минуту, Рубцов продекламировал: «Надоело лежать, надоело сидеть, надо попробовать повисеть».

— Что ты, Коля?! — испугался Багров.

— Нет, я не покончу с собой, — повернувшись к нему, сказал Рубцов. — Просто *я себя ощущаю на кромке обрыва*. Нечего больше мне делать на этом свете. Если и буду жить, то недолго. Теперь уж никто не спасет.

— А поэзия?

— Разве только она...

«Николай отвернулся к стене, закрылся наглухо одеялом. В комнате сделалось тихо-тихо. Вероятно, поэт задумался о судьбе, которая грозно висела над ним, ничего ему в эту минуту не обещая».

Этот разговор состоялся осенью 1969 года, когда Людмила Д. переехала в Вологду теперь уже на постоянное жительство. Она поселилась с дочерью в деревне Троица, в двух километрах от города, устроилась работать в библиотеку.

«Рубцова встретила в Союзе писателей...

Снова темная волна предчувствий захлестнула меня. То, что он так обрадовался встрече со мной, что засыпал меня вопросами, не радовало... Теперь я думаю, что если бы судьба не схлестнула меня с этим человеком, моя жизнь, как и у большинства людей, прошла бы без катастрофы.

Но я, как в воронку, была втянута в водоворот его жизни.

Он искал во мне сочувствия и нашел его. Рубцов стал для меня самым дорогим, самым родным и близким человеком. Но... Мне казалось, будто я приблизилась к темной бездне, заглянула в нее и, ужаснувшись, оцепенела...»

Сопоставляя эти воспоминания с воспоминаниями Сергея Багрова, нетрудно заметить, что и Николай Рубцов испытал при встрече с Д. сходные ощущения, почувствовал себя стоящим *на кромке обрыва*.

Между тем никаких объективных причин для ощущения себя на кромке обрыва в бездну не было ни у Рубцова, жизнь которого наконец-то — в сентябре 1969 года даже диплом Литературного института пригодился Рубцову: его зачислили в штат «Вологодского комсомольца» — стала по-человечески налаживаться в ту осень, ни у Д., дела которой в Вологде тоже устраивались на редкость удачно.

Как вспоминает Нинель Старичкова, Д. приняли в вологодское отделение Союза писателей «с распростертыми объятиями, как своего человека. На очередное заседание даже включили обсуждение ее стихов».

«К назначенному времени пришли все члены Союза писателей и приглашенные...

Время шло, но поэтесса не появлялась. Через полчаса, когда уже думали расходиться, героиня явилась.

Она вошла, как актриса на эстраду.

На ней было яркое зеленое платье (почти изумрудного цвета) из тафты, на голове рыжие волосы собраны в прическу из высоко поднятых буклей («головка Нефертити»). Высокая, здоровая, сильная. Круглое с конопатинками лицо, светло-зеленые распахнутые глаза. Виноватая улыбка на полных губах...

Такие, наверное, нравятся мужчинам. Одним словом, привлекательная особа.

Ответственный секретарь А. Романов сделал ей впечатительное замечание:

— Где же Вы были? Мы Вас ждем уже 30 минут.

В ответ прозвучал нежный, тоненький голосок:

— В парикмахерской задержалась...

На что Романов сердито ответил:

— Это же не любовное свидание, а деловое заседание. Нельзя так.

Люда потупила глаза и села на стул рядом с Марией Семеновной. Романов коротко представил ее собравшимся, попросил прочесть стихи.

Снова зазвучал ее медовый голос. Это никак не вязалось с ее грузной внешностью. Взбудоражило всех ее стихотворение о волках, где так и говорилось:

— Люблю волков...

Первым отреагировал Рубцов, назвав это стихотворное выражение явлением патологизма.

На какое-то мгновение задумался Астафьев. Потом высказался, что волков напрочь нельзя отрицать, они приносят пользу, как санитары леса.

— Но вот так, чтобы любить... Это... — Он отрицательно покачал головой...

Люда продолжала читать другие стихи тем же медовым голосом. Это были стихи о любви, о небузданной страсти...»

Судя по воспоминаниям Старичковой, Рубцов на обсуждении вел себя по отношению к Д. не очень дружественно.

Он даже написал в этот вечер пародию на Д.:

Люблю змею, когда она,
Вся извиваясь и свисая,
Ползет, глазами завлекая...
О, Господи! Ведь я сама такая!

И если Д. и права насчет водоворота и бездны, то только в том смысле, что с ее появлением в запутанных отношениях Рубцова с друзьями и близкими стало еще меньше простоты.

6

Рубцов, как вспоминает Василий Оботуров, «никогда не жаловался и будто сам стыдился своей небесценности и неустроенности, тайно мечтая об уюте и душевном участии и не надеясь, видимо, обрести их».

Осенью 1969 года такая возможность забрезжила для него...

И сейчас Николай Рубцов пытается высвободиться из трясины полуотношений, полуобязательств, полуобещаний прежней жизни, но ничего не получалось.

Огорченная новым романом Рубцова, Нинель Александровна Старичкова положила в его почтовый ящик такое письмо:

«Коля! Радуйся! Я уезжаю. Теперь ты можешь развлекаться со своей любимой, никто тебя не будет преследовать, хотя ничего подобного с моей стороны не было. Я сама люблю свободу и знаю, что вкусы у людей разные. Одни пьют воду из родника, другие — из грязной лужи. Так что, милый друг, ты ко мне просто придираешься. **За что? Что я тебе сделала?** Ты же сам назвался моим другом, а потом подвел к краю пропасти и столкнул вниз. Когда я разбилась и была на волосок от смерти — не подал мне руку, а отвернулся. Это ты называешь дружбой?..

Спасибо за заботу, Коля. Мне не нужна жизнь, если ты от меня отказался.

Зачем было тянуть 4 года? Будь счастлив! А обо мне ты еще вспомнишь. У твоей первой любимой не хватило чувства на 3 года. Я прошла через всю жизнь, чтобы прийти только к тебе. Это бывает редко. Раньше я удивлялась мужеству людей, которые выдерживали пытки. Оказывается, что очень легко. Только сначала нужно вытерпеть боль, а потом теряется чувствительность. Теперь, Коля, мне после твоих издевательств ничего не страшно. Если ты хочешь моей смерти, то я выполню и это твое решение. Пусть тебе живется хорошо!..

Неля».

Приведя это письмо в своей книге «Наедине с Рубцовым», Н.А. Старичкова пишет, что на «следующий день вечером Коля не вошел, а влетел, запыхавшись (видимо, бегом поднимался по лестнице), подал мне мое письмо в разорванном конверте и грозно обрушился:

— Что же ты мне написала?! Никогда больше не пиши мне таких писем. Что ты еще вздумала!

Потом, успокоившись и сменив тон, начал:

— Вначале я тоже хотел тебе ответить письмом и начал писать, но потом решил сказать все сам. Да. Ты не была для меня китайской вазой».

«При чем здесь ваза?» — сама задает себе вопрос Старичкова.

Ваза, действительно, ни при чем...

Это рубцовская перефразировка из Марины Цветаевой из ее знаменитого стихотворения «Вчера еще в глаза глядел».

Выделенные нами в письме Старичковой слова «**За что? Что я тебе сделала?**» как бы из этого стихотворения и выписаны:

Я глупая, а ты умен,
Живой, а я осталбенелая.
О волль женщин всех времен:
«Мой милый, что тебе я сделала».

Ответ Рубцова тоже из этого стихотворения:

Вчера еще — в ногах лежал!
Равнял с Китайскою державою.
Враз обе рученьки разжал, —
Жизнь выпала — копейкой ржавою!

В ногах у влюбленной в него почитательницы Рубцов не лежал, с китайской державой ее не равнял, она не была для него даже «*китайской вазой*», просто в трудные минуты жизни он обращался за помощью к этой женщине, и ему больно было смотреть на ее бессмысленные страдания.

«Ведь до этого у него в общем-то не было такой женщины, — рассказывает про Д. Нина Груздева. — Людмила и талантливая, она и умная, она и красивая, такая пышная женщина, она и сейчас выглядит неплохо. А тогда она, представляете, какая была? А жена у Рубцова была чисто деревенская, Неля Старичкова, которая любила его, совсем не красавица и старше его на шесть лет. Да и вообще женщины своим вниманием его не очень-то баловали, почему-то сторонились его. Он был какой-то духовный человек, понимаете. Уж не скажу, что он был некрасивым, лицо-то у него было приятное, но вот никак не привлекал к себе женщин. А тут вдруг такая красавица обратила на него внимание. Естественно, что он не мог к ней быть равнодушен».

А Людмила Д. и сразу после гибели Рубцова, и многие годы спустя снова и снова задавала себе вопрос, что же можно было сделать, и сама себе отвечала:

«До сих пор не знаю. Не знали, наверное, и его товарищи. А может, не хотели знать. Так ведь удоб-



ней, спокойней. Встретятся, выпьют, повеселятся, а я отдувайся за всех. Коль он живет со мной, значит, я и ответчица».

В этих рассуждениях Д., как и в документах — протоколах допросов, показаниях на суде, кассационной жалобе, — приобщенных к уголовному делу, много боли, немало тут и некоей абстрактной правоты.

Да, не желая ссориться с Рубцовым, его друзья всегда поспешно исчезали, едва только Рубцов начинал « заводиться», но осуждать их за то, что дружбу с Рубцовым они берегли сильнее, чем самого поэта, и уходили от него, когда были ему нужнее всего, — бессмысленно.

Никто не имеет права требовать от человека, чтобы он жертвовал собою ради другого. Каждый человек решает *это* сам для себя, и Д. тоже решилась *на это* сама...

«Я хотела сделать его жизнь более-менее человеческой...

Хотела упорядочить его быт, внести хоть какой-то уют. Он был поэт, а спал как последний босяк. У него не было ни одной подушки, была одна прожженная простыня, прожженное рваное одеяло. У него не было белья, ел он прямо из кастрюли. Почти всю посуду, которую я привезла, он разбил.

Все восхищались его стихами, а как человек он был никому не нужен. Его собратья по перу относились к нему снисходительно, даже с насмешкой, уж не говоря о том, что равнодушно...»

Вероятно, все правильно, все верно тут, как верно и то, что крест, взятый Д. на себя, оказался ей не по силам. Может, ей и хотелось облегчить страдания Рубцова — наверняка хотелось! — только вот силенок для этого подвига у нее явно недоставало.

Талантом самопожертвования она явно была обделена...

Пожертвовать собою ради другого человека помогает только любовь (расчетливость тут беспомощна, сил человеку она не прибавляет!), и только любовь делает жертву радостной и необременительной...

Д попыталась доказать обратное.

Наверное, она и сама не понимала, что, «спасая» Рубцова, ей придется преодолевать глухое сопротивление, явное недоброжелательство его друзей и знакомых. Это ведь только в плохих книжках объединяются все, забывая свои самолюбия и амбиции, чтобы помочь товарищу.

А в русской жизни — увы! — все происходит иначе...

В жизни Николая Михайловича Рубцова, если и объединялись его друзья и близкие, то, кажется, только для того, чтобы унизить Рубцова, чтобы сделать его жизнь еще больнее, еще ужасней...

7

«Я, да и не только я, все мы, вологодские писатели, — вспоминал Виктор Астафьев, — как-то на долго выпустили из виду гулевую парочку поэтов, и лишь стороной долетали слухи о том, что они уж и драться начали. У Д. была девочка, собиравшаяся в школу. Женщина нашла себе работу, устроилась библиотекарем на торфянном участке. Здесь же, в полуторном бараке, при библиотеке, была и комната для жилья...

Но неугомонный кавалер достал ее и на торфе.

Ну, достал и достал, что тут поделаешь, коли такая привязанность у человека и обожание непомерное, всепоглощающее. И обожал бы иль сидел

бы в барабанной библиотеке, книжки читал, стихи записывал, так нет ведь, его скребла творческая жила по сердцу, не давала *сидеть в укромном уголке* (здесь и дальше выделено мной. — Н.К.), страсть нравоучения влекла к народу. *В дырявых носках* выйдя из-за стеллажей, он обвинял читателей-торфяников в невежестве, бескультурье, *доказывал, что лучшие Тютчева никто стихов не писал и не напишет, декламировал, с пафосом*, с выкриком, поэзию обожаемого им поэта.

Кончилось тем, что Д. выставила своего обожателя вон, умоляла не приезжать больше, так как из-за него она может лишиться последнего, скучного куска хлеба и пусть дырявой, но крыши над головой.

Не внял поэт мольбам любимой дамы, иной раз пешком тащился по грязным болотным дорогам и торфяным рывинам на манящие огни торфяного поселка...»

Читаешь эти воспоминания и не можешь понять, кто же этот *неугомонный кавалер*, этот развязный хулиган в рваных носках, который — подумать только! — налетает из-за стеллажей на бедных торфяников и чуть ли не силой принуждает их слушать Тютчева!

Прямо беспредел какой-то... И это вместо того, чтобы — вспомните про *темный коридор*, в который зачем-то усадил Николая Рубцова в своих воспоминания С.Ю. Куняев, — сидеть *в укромном уголке...*

Все здесь вроде бы похоже на правду, но только для того, чтобы заставить читателя поверить в главную ложь.

И может быть, и не имело бы смысла говорить о подобных воспоминаниях, но законсервиро-

ванная в них зависть к гению русской литературы, действительно, как ни тяжело это сознавать, в последние месяцы жизни Рубцова во многом определяла жизнь литературной Вологды...

Между тем, как вспоминает Василий Оботуров, внешне в эти последние месяцы жизни Рубцов стал гораздо спокойнее.

«Все реже встречал непонимание своих стихов, тем более — открытое непризнание, а чаще замечал заискивающую комплементарность. Но что это ему! Настороженность уступила место видимому равнодушию. Он просто не обращал внимания на то, что было ему неинтересно»...

Да и к чему было обращать внимание на разные пустяки, встав во мгле заледенелой **на кромке обрыва?**

Это ведь сам Рубцов и написал в «Звезде полей»:

Но только здесь, во мгле заледенелой,
Она восходит ярче и полней,
И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей...

Да... С лета 1969 года незаметно все как-то стало налаживаться в жизни Рубцова, и можно было бы жить более или менее нормально, но уже приближалась к завершению сама его жизнь...

Нинель Старичкова вспоминает, что хотя и налаживалась жизнь, именно с 1969 года Рубцов начал говорить о смерти: «У моей мамы спрашивал: Анастасия Александровна, пойдешь за моим гробом?..»

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Гибельная паутина

«Ему оставалось жить чуть меньше года, когда мы встретились в последний раз... — вспоминает Анатолий Чечетин. — Именно в это время была написана — высказана, пропета! — самая грустная и трагическая из всех его элегий.

Отложу свою скучную пищу
И отправлюсь на вечный покой.
Пусть меня еще любят и ищут
Над моей одинокой рекой.

Пусть еще всевозможное благо
Обещают на той стороне.
Не купить мне избу над оврагом
И цветы не выращивать мне...

А пока — мы долго шли по улице Жданова, по Цветному и Страстному бульварам.

Это было синим апрельским днем.

И недавно выпавший снег во двориках был синий, и мокрый асфальт вдали отдавал синевой, и в умытых окнах домов отражалась шальная синева разверзшихся небес: солнечно было вокруг, ясно и еще по-весеннему свежо».

Анатолий Чечетин вспоминает, как Рубцов щурился от солнца, любуясь остатками стен Рождественского монастыря, но во всем облике его была такая гибельная усталость, от которой отдохнуть практически невозможно.

Поражал болезненный желтовато-бледный цвет лица, натянутость тонкой, сухой кожи на нем, темные, еще не потухшие, но бесконечно уставшие смотреть глаза...

1

Откуда возникла в Рубцове эта *гибельная усталость*, становится ясно, когда читаешь описание его вологодского бытия в последний год жизни...

События, в которых участвует он, не то чтобы отделяются от него, но становятся неконтролируемыми, наполняются совсем другим содержанием, отличным от того, которое Рубцов хотел вложить в них...

«18 января, — вспоминает Н.А. Старичкова, — около пяти вечера Коля позвонил в редакцию. Трубку взял редактор Л.Н. Бурков и передал мне. Слыши:

— Неля, выходи за меня замуж..

— Коля! Сколько раз я уже такое слышала. Это несерьезно!

— На этот раз совершенно серьезно, — отвечает он мне, — я буду у тебя. Приходи.

Положила трубку. Задумалась».

— Что это такое он Вам наговорил? — спросил Бурков, заметив ее тревогу.

— Замуж зовет, Леонид Николаевич. Ждет.

— Да, дело серьезное... — сказал Бурков. — Но парень-то он цыганистый. Будьте осторожны. И как бы вы ни поладили, в девять часов должны быть на работе. А сейчас идите, если ждет.

По дороге Старичкова заглянула на улицу Ветошкина, где жил с семьей ее брат. Там она рассказала матери, которая возилась с внучкой, о неожиданном телефонном звонке. После этого отправилась домой.



— Почему долго? — сердито спросил Рубцов.

— К маме заходила...

— Я так и знал... — сказал Рубцов и вытащил из кармана деньги. — Сходи, купи вина. У нас будет свадьба!

Пока Нинель Александровна ходила в магазин, тетка и двоюродная сестра Светлана уже накрыли стол. Рубцов объявил им о своем решении.

Нинель Александровна поставила на стол купленную в магазине бутылку «Варны».

Рубцов посмотрел на нее, усмехнулся.

— Посмотри на себя в зеркало, невеста! — сказал он.

«Заглянула. Боже мой, что со мной творится: глаза запавшие, с лихорадочным блеском, с глубокими тенями. Скулы обострились. В лице ни кроинки.

А Коля продолжал:

— Выпьем за наш с Нелей союз!..

Когда тетя и сестра ушли в свою комнату спать, начался Колин монолог, который затянулся далеко за полночь. Он говорил, что решение его жениться на мне действительно серьезное.

— Но тебе очень трудно будет со мной, я люблю разных женщин.

Что мне об этом говорить. Я и без этих слов все знаю и вижу. У меня вырывается со вздохом:

— Что же делать, если твоей любви, как солнышка, хватает на всех?!»

Между тем монолог Рубцова продолжался, и из него Нинель Александровна выяснила, что однажды Рубцов чуть было не женился на еврейке.

Хотели уже в ЗАГС идти. Пришли к ее отцу.

— Вы сможете ее обеспечить? — спросил тот.

Вышли на улицу.

— В ЗАГС идем? — спросила невеста.

— Пойдем лучше в кино... — сказал Рубцов.

Потом, продолжая монолог, Рубцов сказал, что они обязательно должны купить холодильник, потому что он хочет, чтобы всегда было свежее холодное пиво.

— Ты не будешь против? — спросил он.

— Конечно, нет, — ответила Нинель Александровна.

Потом Рубцов заговорил о сыне. Оказалось, что сын у него уже есть, но там все в порядке. Он усыновлён....

«Вот такие тайны открывал мне Коля в «свадебную» ночь.

Когда было уже около четырех часов утра, я напомнила, что мне к 9 часам на работу. В свободной комнате я постелила Коле на диване. Моя односпальная кровать была в той же комнате.

Но Коля как будто что-то недоговорил. О чем он думал? Если «свадьба», то нырну ли к нему под одеяло? Или его мучили свои, мне не понятные, мысли? Мне чудилось, что он подошел к какой-то катастрофе и пытается схватиться, удержаться за меня, как за последнюю соломинку.

Быстрыми шагами он ходил по комнате. Потом сверкнул в мою сторону глазами: «Я хочу есть! Ты можешь мне что-нибудь...»

— Сейчас посмотрим... — сказала Нинель Александровна.

В шкафу в блюде она нашла свежие куриные яйца. Обрадовалась.

— Сейчас яичницу сделаю.

— Нет. Не надо! — сказал Рубцов — Дай мне...

— Но они же сырье...

— Все равно дай. Одно.

Нинель Александровна подала ему яйцо.

«Он взял его в руку и стал сжимать в кулаке. Его

лицо сразу преобразилось. Весь напрягшись, стиснув зубы, он стал давить яйцо, как будто расправлялся с нечистой силой. Вздохнул с облегчением, когда все содержимое плюхнулось на пол, а в руках осталась одна скорлупа.

Это напряжение и странности Колиного поведения передались и мне, словно я тоже находилась во власти не понятной мне силы. Ломило голову. В руках и ногах чувствовалась тяжесть, но спать не хотелось...

Помимо желания заставила себя прилечь на кровать. Помню, утром в 9 должна быть на работе. Но позвал Колин голос (диван был наполовину за шкафом, лица его не было видно):

— Ты можешь подойти ко мне? Посиди со мной...

Мелькнула мысль снова, что если «свадьба», то мы должны быть вместе, т.е. брачная ночь. И это его пугает, может, что-то другое, не понятное нам обоим.

Очень долго, как нянька, сидела у него в ногах в какой-то полудреме, пока не подошло время идти на работу...»

В книге «Наедине с Рубцовым» эта «свадьба» описана гораздо подробнее, мы сохранили лишь факты, важные для понимания того, что **это** все-таки было.

На первый взгляд история со свадьбой рисует Николая Михайловича в достаточно неприглядном виде. Возникает ощущение какой-то ужасно жестокой игры, которую он ведет с влюбленной в него женщиной, чтобы таким вот не очень мужским способом самоутвердиться.

Но это на первый взгляд.

С другой стороны, мы видим, что затеянная Рубцовым игра в свадьбу — это прежде всего попыт-

ка разбудить погрузившуюся в растительный сон женщину, которая по-своему дорога ему и близка.

Разумеется, мы не знаем точно, чего на самом деле хотел достичь Рубцов.

Но попытка его не удалась. Достучаться до Нинель Александровны Рубцову не удалось.

Ну, в самом деле... Женщину зовут замуж, предлагаю не то сыграть свадьбу с нею, не то отпраздновать помолвку... Понятно, что женщине под сорок и трудно ожидать от нее проявления бездумной радости и восторга... Но ведь и та бесцветная покорность, с которой откликается Нинель Александровна на все предложения Рубцова, не делая никакого самостоятельного ответного шага, способна подавить любые, даже самые лучшие намерения, если они и были в Рубцове.

Бессмысленно гадать, *что* было бы, если бы Нинель Александровна проявила большую активность. Может быть, Рубцов сам бы и убежал тут же, а может быть...

Но что гадать... Все было так, как было, и иначе, видимо, и не могло быть.

После неудавшейся «свадьбы» Рубцов принял решение разорвать отношения с нею, теперь уже окончательно, без каких-либо недомолвок.

Произошло это через месяц, накануне Дня Советской Армии.

— Дай мне ключ! — потребовал Рубцов, явившись к Старичковой.

— Но ты же все сам... — начала было Нинель Александровна.

— А может, ты его украла?! — резко и неестественно громко произнес Рубцов.

Старичкова отдала ему ключ.

Рубцов опустил ключ в карман, потом быстро, по-солдатски повернулся к выходу и тихо обронил:



— Значит, энергия у тебя слабая...

Слова Рубцова о слабой энергии Нинель Александровны ключевые в истории «свадьбы».

Еще раз — в который уже раз! — он убедился, что для того, чтобы вывести из сомнамбулического состояния эту женщину с запавшими, с лихорадочным блеском глазами, сил у него не хватит.

Ни обещания, ни жертвенные порывы не способны были разбудить обвисающее на нем увядшее растение... Для того чтобы оживить его, необходимо было посвятить этому всю жизнь.

А для этого у Рубцова не было ни сил, ни желания.

Да и жизни тоже оставалось не так уж и много у него.

2

«Рубцов не появился у меня день, второй и третий... — вспоминает Д. — Таких долгих и беспричинных разлук у нас еще не бывало. Я встревожилась. На следующее утро в пятом часу раздался стук в дверь. Я кинулась открывать.

Это был Рубцов.

Я молча в него взглядывала, стараясь понять, что случилось. Он стоял неподвижно и долгим грустным взглядом смотрел на меня. Наконец, сразу как-то заволновавшись, сказал:

— Люда, я не мог умереть, не взглянув в твои прекрасные голубые глаза...

Все это было бы мелодрамой, если бы эти слова произнес не Рубцов, а кто-то другой. Но в его устах это звучало настолько трагично, что я растерялась.

Как?! Что ты хотел?!

Я не сказала это вслух, но, вероятно, в моих глазах он прочел это, потому что смущился. И сразу

стал делано весел, начал что-то шутить жалко, вымученно, но под моим взглядом осекся, и горечь, необычайная горечь и усталость отразились в его лице.

Передо мною стоял совершенно измученный человек.

Я взяла его за руку и провела в дом, усадила на диван, разула, дала ему валенки. Сама села напротив за стол, ничего не спрашивая.

Тихим голосом он произнес не более двух фраз, витиеватых и туманных. Я поняла: он пытался покончить с собой и не смог. Я смотрела на него и видела перед собой человека, отмеченного знаком смерти, человека, наполовину уже потустороннего, запредельного».

Так это было, иначе, а если и так, то правильно ли поняла Людмила Д. витиеватые и туманные фразы Рубцова, мы не знаем.

Но разговор этот, как пишет Д., состоялся в начале мая, а в июне Николай Рубцов ездил в командировку в Великий Устюг, и никаких мыслей о самоубийстве у него не было и в помине.

«Утро было безоблачным и полным тепла и света, — вспоминает Анатолий Мартюков. — Мы стояли на высоком выступе великоустюжской «Горы» и наблюдали за полетом голубей. Они полетали и скрывались за густой зеленью высоких столетних тополей. Голубой ситец небес резали стрижи... С криком и каким-то птичьим весельем...»

— Ах, Великий Устюг... Редкий город... — любуясь очертаниями церковных куполов, сказал Рубцов. — Он чище Вологды... Он честнее Москвы. И тише... И выше. Я бы мог здесь поселиться...

И вдруг совсем неожиданно, с улыбкой добавил:

— Знаешь, найди мне студенточку. Могу жениться... И больше никуда — ни в Москву, ни в Вологду.

Мысль Николая Рубцова о том, что Великий Устюг честнее Москвы, комментировать не надо. Рубцов столько натерпелся в столице нашей родины, что и восточный базар мог показаться ему менее жуликоватым и ненадежным местом.

А вот насчет сравнения с Вологдой интересно...

Если Великий Устюг чище Вологды, то, значит, Вологда грязнее Устюга.

Разумеется, не в буквальном смысле, поскольку промышленности и строительства в Вологде было ненамного больше, чем в Великом Устюге...

Речь идет о другой грязи, о той грязи, что рождается в человеческих отношениях, когда все твои мысли и поступки перетолковываются наоборот, когда город становится тесным для тебя, когда ты не можешь жить в этом городе не сталкиваясь с другими людьми, когда они, в свою очередь, все время задевают тебя.

А с Рубцовым в Вологде именно это и произошло...

Он перерастал свой город...

И, конечно же, когда Рубцов говорит, что Великий Устюг *выше* Вологды, он не просто сравнивает великоустюжские соборы с вологодскими, но говорит о духовной соразмерности этого города ему...

3

Но хотя и были нехорошие предчувствия, хотя и были драматические срывы, чаще многие возвышаемые до жанра трагедии сцены начинались в духе забавной, незамысловатой комедии. Примером тому может служить летняя история, после которой Рубцов оказался в больнице...

В тот день, 9 июня 1970 года, Рубцов пришел к Д, когда та поливала в огороде грядки. Он вызвался помочь и начал отбирать чайник, которым пользовалась Д вместо лейки.

— Ну до чего же ты вреден! — раздраженно сказала Д.

— Вреден? — переспросил Рубцов и тут же вылил всю воду на Д.

— Идиот! Что тебе надо от меня в конце концов?! — Д взбежала на крыльцо и захлопнула дверь перед носом Рубцова.

Тот подергал дверь, но дверь не поддавалась...

Можно осудить грубоватость — как тут не вспомнить про детдомовское детство! — шутки Рубцова, можно понять обиду женщины, ее гнев, но так же очевидно, что эта сцена — милые ссорятся — только тешатся — ни с кем другим не могла закончиться так, как закончилась с Рубцовым.

Пытаясь залезть в дом, он разбил окно...

Звоном стекла и обрываются летний водевиль, сразу — без всякого перехода — начинается драма. Подбежав к окну, Д увидела, что Рубцов лежит на клумбе, а из руки фонтаном хлещет кровь — Рубцов перерезал артерию...

К счастью, Д не растерялась. Сбегала за фельдшером, та наложила на руку Рубцова жгут.

Рубцова удалось спасти... Назначенный срок еще не наступил — Рубцова увезли в больницу.

Давясь слезами, Д собрала с пола осколки¹.

¹ Некоторые биографы, опровергая версию Д, утверждают, что Д не пустила Рубцова в дом, так как там у нее прятался кавалер... Конечно, было бы любопытно выяснить, на чем, кроме решительного отрицания всех свидетельств Д, основана эта версия, но, в принципе, это ведь не так уж и важно для нас. Для того чтобы залезть через окно в избу, где прячется твой соперник, тоже совсем не обязательно перерезать себе артерию на руке.

4

После этой истории Рубцов попал в больницу, где и написал одно из лучших своих стихотворений:

Под ветвями плачущих деревьев
В чистых окнах больничных палат
Выткан весь из малиновых перьев
Для кого-то последний закат...

Пока последний закат выткался не для Николая Михайловича, пока еще оставалось время изменить все, и кажется, Рубцов понимал это, как понимал и то, что ничего не сможет изменить.

Нет, не все — говорю, — пролетело!
Посильней мы и этой беды!
Значит, самое милое дело —
Это выпить немного воды,
Посвистеть на манер канарейки
И подумать о жизни всерьез.

Желание поэта «выпить немного воды» из этого стихотворения перекликается с его просьбой в «Прощании с другом»: «Так изволь, хоть водой напои»...

И какая обреченность, какое глубокое осознание невозможности вырваться из клетки, если и «живая» вода тут же превращается в воду из птичьей поилки, а сам поэт — в заключенную в неволе птицу!

Любопытно сопоставить эти воспоминания с воспоминаниями Генриетты Михайловны Меньшиковой.

«В 1970 году Лена пошла в школу, — вспоминает она. — Летом мы с ней ездили в Вологду за покупками, а заодно посмотреть, где живет папа. Прямо с парохода мы пришли к нему на улицу Яшина. Поз-

вонили, он нам открыл, но был на одной ноге, вторая перевязана¹. Он замялся было, но все же пригласил. Когда мы вошли, в кресле сидела Д.».

Рубцов представил Д. как свою двоюродную сестру Люду. Но Генриетта Михайловна уже была наслышана от тотемских подруг о летнем вояже Рубцова с Д. и поэтому сразу узнала соперницу.

— Очень приятно... — не протягивая руки, сказала она. — Только я ведь знаю, Коля, что у тебя нет сестры Люды...

Возникла неловкая пауза.

— Я рада, Коля, что познакомилась с твоей женой и дочкой, — стараясь замять неловкость, сказала Д. — Кстати, она очень похожа на тебя.

— Да... — ответил Рубцов. — Все говорят, что я похож на Лену.

Генриетта Михайловна продолжала молчать, и Д. объяснила, что никакая она не сестра, просто из Воронежа проездом и сейчас уйдет, не будет мешать. Она ушла, а Генриетта Михайловна и Лена остались.

«Рубцов опять звал нас к себе, — вспоминает Генриетта Михайловна, — а Лене все было интересно, да и он очень рад был видеть ее...»

Эти воспоминания не так художественны, как у Д., но человеческой боли, человеческого тепла в них больше.

И правды тоже.

Впрочем, иначе и не могло быть. Читая воспоминания Д., нельзя забывать, что писались они, когда нужно было объяснить всем — и прежде всего самой себе! — необъяснимое. Не поэтому ли и

¹ Николай Рубцов порезал ногу в селе Новоленском, наступив босой ногой на выброшенные в траву осколки разбитой посуды.

проступают порою в нарисованных Д. портретах Рубцова этакие демонические черты?

14 июля 1970 года Д. вызвала Рубцова в Вельск.

«Я только что проснулась и одевалась. Вижу — на крыльце взбегает мама, чем-то взволнованная. Открывает дверь и с порога кричит мне:

— Людмила, иди встречай гостя! Твой Коля приехал... На лысине хоть блины пеки!

Признаться, я растерялась.

— Так где же он?

— Да вон ходит у калитки, а зайти не решается!

— Боже, что же делать?!

Надо было встречать. Я не торопясь сошла с крыльца, прошла до калитки. На скамейке под березами сидел Рубцов и застенчиво улыбался.

— Ну, так что ж ты? Приехал и не заходишь? Пойдем в дом!

— Я давно уже приехал, да вот неудобно было зайти. Очень рано.

— Вот чудак! Ты же знаешь, что я здесь, так чего же стесняться-то? Пойдем, пойдем!

— А я уже весь город обошел...

Мы взошли на крыльцо, потом — на веранду.

— Здравствуй! — шепнула я ему в коридоре и поцеловала в щеку».

Я пришел к тебе в дни непогоды,
Так изволь, хоть водой напои... —

просил Николай Рубцов в «Прощании с другом».

В Вельске Д. отпаивала Рубцова не живой водой, а брагой, а когда увидела, что ему это понравилось и он готов допить весь бидон, выгнала.

«Зеленых цветов не бывает, но я их ищу», — напишет 31 июля Николай Михайлович Рубцов в письме Валентину Ермакову, редактору своей новой книги стихов.

«Зеленые цветы»... Так планировал Рубцов назвать новый сборник, а само стихотворение «Зеленые цветы» он уже поставил ровно посредине сборника «Сосен шум», сборника, ставшего его последней прижизненной книгой.

Остановившись в медленном пути,
Смотрю, как день, играя, расцветает.
Но даже здесь... чего-то не хватает...
Недостает того, что не найти.

Как не найти погаснувшей звезды,
Как никогда, бродя цветущей степью,
Меж белых листьев и на белых стеблях
Мне не найти зеленые цветы...

5

В августе Рубцов получил расчет за сборник «Сосен шум».

Мачтовый, корабельный бор стихов позволил Рубцову расплатиться с долгами, а кроме того — Рубцов становился обеспеченным человеком — сделать основательный вклад.

15 августа 1970 года в его сберкнижке появляется запись: «Принято 1000 рублей». Если учесть, что в те годы вполне приличной зарплатой считался месячный оклад в 150 рублей — сумма на сберкнижке Рубцова лежала немалая.

При определенной экономии ее можно было бы растянуть на год.

Рубцов и растягивал. Денег, оставшихся на руках после внесения в сберкассу заветной тысячи, хватило на две недели. 29 августа Рубцов снял 200 рублей.

Этих денег хватило ровно на полмесяца.

Больше Рубцов уже не снимает таких крупных сумм. 16 сентября он снял всего 40 рублей. Четырех

червонцев хватило только на пять дней, и 21 сентября Рубцов снимает теперь уже 60 рублей. Шесть червонцев растаяли за четыре дня, и 25 сентября Рубцов снимает 100 рублей, но сотни хватает еще на меньший срок — всего на три дня.

Должно быть, пытаясь прервать процесс саморазорения, 28 сентября Рубцов не увеличивает снимаемую сумму, а останавливается на 100 рублях.

Этого подспорья хватило почти на месяц...

Если проследить динамику таяния заветной тысячи, то получится такая картина.

В августе Рубцов снял 200 рублей.

В сентябре — (40+60+100+100) 300 рублей.

В октябре — (100+60) 160 рублей.

В ноябре — (60+80+60+25) 225 рублей

В декабре — (15+90+5) 110 рублей

Если учесть, что Рубцов в эти месяцы получал и жалованье в «Вологодском комсомольце», и какие-то гонорары из газет и журналов, то получается, что последние месяцы жизни он тратил денег гораздо больше, чем могло себе позволить потратить большинство советских людей.

И приходится только удивляться, что и эти весьма и весьма приличные деньги мало что меняют, как теперь говорят, в качестве его жизни.

Бездостна хроника последних месяцев Николая Михайловича Рубцова...

В конце сентября 1970 года, как вспоминает Генриетта Михайловна, Николай Рубцов был в Тотьме. Здесь проходил районный семинар кульработников, и они встретились...

«Под вечер меня вдруг вызывают. Я вышла на улицу — передо мной стоял Рубцов».

— Зачем ты здесь? — спросила Генриетта Михайловна.

— Приехал узнать, когда вы с Леной переедете ко мне, — ответил Рубцов.

— Мы не собираемся. Лена ходит в первый класс. Разве что весной...

— Я ведь могу жениться... — обиженно сказал Рубцов.

— Женись... — делано-равнодушно ответила Генриетта Михайловна. — Давно пора. Хватит одному-то болтаться.

— И до весны я, может быть, не доживу...

— Доживешь... Куда денешься.

Рубцов все-таки уговорил Генриетту Михайловну уйти с семинара. Они пошли в гости...

Последние годы жизни Генриетта Михайловна Меньшикова (ставшая в замужестве Шамаховой)¹, рассказывая о своих отношениях с Николаем Рубцовым, постоянно припоминала все новые и новые подробности их отношений. И делалось это не потому, что она придумывала что-то, а просто для нее, человека, всю жизнь прожившего вдалеке от литературно-журналистской публики, обобществить, «опубличить» свои личные ощущения и воспоминания было гораздо труднее, чем той же Д.

Но это с одной стороны...

А с другой, Генриетта Михайловна, как нам кажется, до самого конца своей жизни так и не разобралась в своих взаимоотношениях с Рубцовым...

«На другой день утром мы с ним рас прощались, и он ушел на пристань — в десять часов на Вологду уходила «Заря». Наш пароход шел в 19 часов. Когда мы пришли на пристань, Рубцов был там — не уехал, ждал меня.

¹ Генриетта Михайловна Меньшикова-Шамахова умерла 18 февраля 2002 года. За неделю до смерти она получила в Святом Крещении имя Ксения.

— Я поеду с вами.

С большим скандалом купил на меня билет в каюту (до нашей пристани ехать было недолго, и поэтому билеты в каюту нам не давали). Я боялась идти с ним в каюту, но когда увидела билеты, место второе и третье, значит, кто-то едет еще, успокоилась.

Ехала там бабушка.

Сидели, разговаривали. Он сказал, что хорошо бы, если бы у нас был сын, Коля, и чтобы фамилия его была Рубцов. Я все прекрасно поняла, но в Николу его не пригласила».

В Усть-Толшму пароход пришел в два часа ночи. Рубцов спал. Генриетта Михайловна не стала его будить.

Она не знала, что видит Рубцова в последний раз...

В начале октября Рубцов получил письмо от дочери:

«Здравствуй, папа! С приветом к тебе — Лена. Папа, почему не посылаешь пальто и костюм. И конфет. Я все время жду и живу хорошо. И учусь на 5. Посылай скорее, а то мне холодно. И рукавички. До свидания. Лена».

Рукой Геты внизу было приписано:

«Еще пошли яблоков, ей очень хочется, а к нам не везут. Ну ладно, до дома доехала хорошо. Дома все в порядке. До свидания. 2.10.»

Посылку Рубцов отоспал.

И — как можно судить по воспоминаниям Д. и по тратам Рубцова! — не только эту посылку...

— Все посылки шлет... — глядя, как радуется Лена этим посылкам, неодобрительно ворчала в Николе бабушка. — Взять бы тебя и послать ему в посылке.



— Но я же задохнусь там, в посылке... — возражала Лена.

— А больше нам нечего ему послать... — говорила старуха.

6

В первой половине октября 1970 года в Архангельске проходил выездной секретариат Союза писателей РСФСР.

В делегацию вологжан включили и Николая Михайловича Рубцова.

В город, где он впервые встретился с морем и заработал свою первую получку, в город, о котором он написал, кажется, больше всего стихов, Рубцов отправился в весьма приподнятом настроении.

В Архангельске писателей разместили в одной из лучших гостиниц.

Гостиница «Двина» превратилась тогда в писательский клуб.

Встречаясь с друзьями, которых давно не видел, Рубцову трудно было миновать буфета, и вот...

«Рано утром до открытия совещания вызвали к Михалкову, — вспоминал Александр Александрович Романов. — За многие годы секретарской работы еще не было случая, чтобы столь срочно потребовали меня к главе Российского Союза писателей.

Какая же надобность?

Белов, Астафьев, Фокина, Рубцов, Коротаев, Полуянов, Оботуров здесь. К выступлению я готов, речь написана...

В тревоге и недоумении стучу в номер и слышу: «Входите».

Сергей Владимирович хмуро возвысился надо мной и протянул руку».

— Произошло ЧП, — сказал Михалков. — Николай Рубцов нахулиганил...

— Что случилось?! — перепугался Романов.

— Он оскорбил женщину!

— Женщину?! Но, может, это недоразумение. Сергей Владимирович? Рубцов к женщинам добродушен... Может, оговорили его, Сергей Владимирович?

Но Михалков прервал его.

— Рубцов оскорбил женщину! Он шатался пьяный в коридоре, она подошла и упрекнула, а он... — Сергея Владимира охватил приступ нервного заикания, — а Рубцов послал ее, уважаемую женщину, работника ЦК.. Рубцов ее, инструктора Центрального Комитета партии, послал на х..!

— Да как же так?! — только и смог сказать Романов.

Михалков метнул на него суровый взгляд:

— Если Рубцов сейчас же не извинится, мы лишим его делегатских полномочий!

«Крыть было нечем, — вспоминал А.А. Романов. — И я пошел в номер, где **на смятой кровати понуро сидел Рубцов. Бледный и больной.**

Стало жаль его. Соседи по номеру уже, поди-ко, толкуются в буфете, а он мрачно припоминает, что было с ним вчера. Такая беспощадная самоказнь давно ведома мне. Состояние ужасное.

И Коля обрадовался, увидев меня.

Но я-то пришел к нему не с облегчением, не с радости, а со строгим приказом С.В. Михалкова. И кратко рассказал о только что состоявшейся встрече.

— Да я ведь, — растерянно и наивно развел руками Коля, — не знал, что она из ЦК. Я к ней и не подходил, это она меня задержала. Начала стыдить, укорять... Эх! — схватился он за голову. — Ну, вы-

пил... С радости выпил. Я ведь Архангельск люблю. Давно в нем не был...

— Коля, Михалков велел тебе извиниться перед ней, — назвал я имя и отчество этой руководящей женщины. — Иначе лишат тебя командировочных денег, не пустят на совещание... Перебори себя, извинись...

Рубцов долго и хмуро молчал, глядя в архангельское окно. Потом встал, умылся и пошел извиняться.

Он был вольным человеком в Поэзии и подневольным — в нищете».

То ли извинение было принято, то ли расправу решили отложить, но Рубцову разрешили остаться в Архангельске.

Однако встреча с городом юности оказалась испорченной.

И хотя в докладе Сергея Орлова и прозвучала высокая оценка его поэзии¹, выступать на большом литературном вечере в Архангельском областном драматическом театре имени М.В. Ломоносова Рубцова не пустили.

«На следующее утро замкнутый и хмурый Николай Рубцов вместе с другими писателями явился на Красную пристань, у причальной стенки которой

¹ «Литературные традиции в стихах талантливых поэтов, живущих на Севере, — говорил, выступая на секретариате, С. Орлов, — сочетаются с богатыми революционными традициями народа, обновляются ими. Человек труда предстает в поэзии в движении; мир, окружающий его, полон социальных событий. Это стихи Николая Рубцова из Вологды, весело, остро и по существу ощущающего связь времени в том мире, который именуется сельским... Любовь к земле — традиция. Она идет через оды Михаила Ломоносова, через Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Блока, Маяковского, Есенина к поэтам старшего поколения, зачинателям русской советской поэзии, к поэтам совсем молодым, влюбленным в день грядущий, помнящим вчерашний день и думающим о завтрашнем дне».



стоял, покачиваясь на волнах, белоснежный теплоход, — вспоминает директор Северо-Западного книжного издательства Борис Семенович Пономарев. — По приглашению Северного морского пароходства гости города — писатели и поэты — отправлялись на прогулку по Северной Двине, а точнее — на родину М. Ломоносова.

В каютах было приготовлено обильное, по-поморски щедрое угощение для желанных гостей: блюда из традиционной северной рыбы — семги, палтуса, трески; икра; большое разнообразие холодных закусок, соленых грибов, выпечки, фруктов и ягод. Гости преимущественно тянулись к морошке, бруснике и клюкве. Разного пития было предостаточно, но Николай Рубцов смотрел отсутствующим взглядом на этот пестрый, ломящийся от яств стол, а потом и вовсе поднялся на верхнюю палубу и часа полтора неподвижно глядел на бесконечно тянущийся высокий берег».

О чём думал он?

Шесть лет назад, приняв решение вернуться в Вологду, Рубцов иногда рассказывал вологодским товарищам, что у него много друзей...

— Анатолий Передреев, Николай Старшинов, Глеб Горбовский... — рассказывал он тогда. — Да все поэты — мои друзья! А Горбовский даже мне в форточку кричал. Представляешь, иду по улице, а вверху открывается форточка, и голос так, что кругом слышат:

«Коля, я люблю тебя!!!» Вот как у нас, поэтов, бывает!»

Может быть, неподвижно глядя на бесконечно тянущийся высокий двинский берег, и вспоминал Рубцов о друзьях, которые были у него и которых теперь не было с ним.

«Пожухлый лес, — пишет Борис Семенович Пономарев, — был подернут морозной, клубящейся дымкой, а небо из-за почти цепляющихся за мачту теплохода облаков казалось низким и бесприютным».

7

Ну, а в самом конце 1970 года, уже на последних неделях жизни, Николая Михайловича Рубцова попытались пристроить на лечение в ЛТП.

Александр Александрович Романов был ответственным секретарем Вологодской писательской организации, и его вызывали в обком партии, как только заходила речь о «безобразиях», которые устраивал Рубцов.

— Почему Рубцов бездельничает? Может, полечить его от вина?!

— Да не алкоголик он! — защищал поэта Романов. — У поэтов бывают срываы. Ведь стихи пишутся кровью...

Тем не менее в обкоме по настоянию «друзей» Рубцова снова и снова возвращались к мысли подлечить поэта в принудительном порядке, и с каждым разом Александрю Романову все труднее становилось ограждать Рубцова от этих забот...

Романов не пишет об этом, но и так понятно, что последняя беседа в обкоме была связана с инцидентом, произошедшим в Архангельске.

«Вот мы, писатели, — вспоминает Александр Романов, — располагаемся за длинным столом в кабинете секретаря обкома по идеологии. Весе-

обзор творческих дел писательской организации и высказал наши неотложные просьбы. Писатели разговорились, в застолье потеплело.

И секретарь обкома, соглашаясь с нашими суждениями, помаленьку стал сворачивать разговор в сторону писательского пьянства.

Василий Белов, воспользовавшись паузой в его мысли, вдруг вставил, что клин, свою реплику: «А обкомовцы пьют не меньше нас». И с веселой дерзостью поглядел на секретаря обкома.

Тот не то чтобы смешался, а все-таки смущился.

— Обкомовцы не шатаются на улицах, Василий Иванович! — вдруг потвердел его голос. — Как некоторые из писателей...

И поглядел на Рубцова...»

Это версия Александра Александровича Романова.

Сам секретарь обкома КПСС Виктор Алексеевич Грибанов вспоминает о той встрече несколько иначе. Воспоминания его, опубликованные сравнительно недавно, настолько не совпадают с рассказом А.А. Романова, что возникает ощущение, будто речь идет о разных совещаниях:

«Лукавить не буду, не люблю: конечно, Николай Михайлович попивал. Надо было как-то помочь ему. Возникло намерение поговорить по душам, посоветовать упорядочить свой быт, так как домашняя неустроенность мешала его спокойствию, в конечном счете — творчеству.

Чтобы беседа носила неофициальный, товарищеский характер, я попросил принять в ней участие Белова и Астафьева.

Они согласились.

У меня какой расчет был? Если Николай Михайлович воспримет меня только как секретаря обко-

ма, то к голосу своих товарищей не может не прислушаться.

Естественно, о каком-то наказании, тем более отправке в ЛТП, и речи не было, да и не могло быть. Для нас Рубцов уже тогда представлялся одним из самых, если не самым значительным лирическим поэтом России...

Так вот — сидим втроем, переговариваемся в ожидании Николая Михайловича. Вдруг звонок: вахтенный милиционер сообщает, что рядом с ним Рубцов и вроде бы навеселе. Спрашивает, как быть?

Я связываюсь с Василием Тимофеевичем Невзоровым, заведующим сектором печати, прошу его спуститься на вахту: если Рубцов сильно пьян, то звать наверх не надо, если же не очень, то проводить ко мне.

Через некоторое время Николай Михайлович вошел в кабинет. Думаю, он догадывался, зачем его пригласили, но, по-видимому, не ожидал, что нас будет трое.

Почему-то с ходу набросился с упреками на Астафьева.

Я был обескуражен. Чтобы снять возникшее напряжение, предложил:

— Давайте, Коля, так договоримся. У нас было желание поговорить с вами по душам, и ничего больше. Если найдете для себя нужным встретиться с нами, то мы готовы встретиться. Если же не захотите, то так тому и быть».

Есть еще одно описание той встречи...

Оно, как принадлежащее самому Николаю Михайловичу Рубцову, приведено в воспоминаниях Людмилы Д.

«После случая девятого июня, — пишет она, — после того как Рубцов выздоровел и выписался из

больницы, в Вологодском обкоме КПСС собирались писатели, поэты, чтобы обсудить положение дел и, может быть, как-то помочь Рубцову, попытаться его спасти. Был один выход — лечебно-трудовой профилактикой. В ЛТП нужно было трудиться, соблюдать строгий режим, вольготную домашнюю жизнь сменить на казенное житье...

Рубцов взбунтовался, в ЛТП идти не хотел. От меня это совещание в обкоме он тщательно скрывал, и я о нем узнала не сразу. Но меня сразу же насторожили его пьяные горькие крики о насилии над личностью поэта, о том, что его хотят посадить в тюрьму, его сетования возмущения, что на него «катят бочку».

— Люда, меня хотят посадить в тюрьму! Меня ненавидят! Мне нет места на этой земле, кроме как в тюрьме. Я это знаю!»

Хотя Людмила Д. и перепутала даты — собрание в Вологодском обкоме КПСС происходило уже после возвращения из Архангельска, я не думаю, что рубцовская обида на товарищей выдумана ею.

Кстати сказать, свидетельство Виктора Алексеевича Грибанова, дескать, Рубцов *с ходу набросился с упреками на Астафьев*, косвенно подтверждает содержание рубцовских жалоб.

Вероятно, Рубцов действительно думал, что Астафьев пытается закатать его в ЛТП. Насколько он был тут прав, мы не знаем, но воспоминания самого Виктора Петровича свидетельствуют, что в деле спасения Рубцова от пьянства он не собирался останавливаться на полпути.

Увы... Есть неумолимая и беспощадная логика

щающихся в лечебно-трудовой профилакторий, куда пытаются загнать его теперь...

Мучительно бился Николай Михайлович Рубцов в этой гибельной, сотканной из зависти и недружелюбия сети последних недель своей жизни и не мог выпутаться из нее...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Вологодская трагедия

В хаосе и запутанности последних недель жизни Рубцова прослеживается своя логика.

Так бывает, когда в конце трудного пути, почувствовав близкую передышку, расслабится человек. Тогда и торжествуют над ним темные силы, которые не могли его одолеть, пока этот человек шел.

Даже если сделать поправку на погрешности человеческой памяти, все равно картина последних дней жизни Рубцова рисуется достаточно определенно и ясно. Так, как жил он, жить было невозможно.

Никаких сил не хватило бы выдержать эту жизнь...

Нет, хотя Рубцов и был болен — начало сдавать сердце, — это была не смертельная болезнь. И выпивки, если не считать, что ничего хорошего нет в пьянстве, тоже не грозили смертельной опасностью. Все было не так безнадежно и вместе с тем — увы! — гораздо страшнее...

С Рубцовым в конце жизни приключилась в общем-то самая обычная беда...

Пока он страдал, пока маялся, не имея даже своего угла, пока писал гениальные стихи, вологодские сверстники неторопливо делали небольшие карьеры, обзаводились семьями, растили детей...

И когда у Рубцова появилась наконец-то своя квартира, когда можно стало хоть что-то строить — ведь совсем не поздно и в тридцать четыре года завести семью! — он словно бы оказался в вакууме. Все его матrimониальные заботы друзьями-сверстниками были давным-давно пережиты и ни интереса, ни сочувствия не вызывали у них.

Тем более что Рубцов и не разрешал сочувствовать себе. Несмотря на все свои буйства, он был и застенчивым, и каким-то очень гордым при этом. Это в стихах мог написать он:

Поздно ночью откроется дверь.
Невеселая будет минута.
У порога я встану, как зверь,
Захотевший любви и уюта.

Побледнеет и скажет: — Уйди!
Наша дружба теперь позади!
Ничего для тебя я не значу!
Уходи! Не гляди, что я плачу!..

И опять по дороге лесной,
Там, где свадьбы, бывало, летели,
Неприкаянный, мрачный, ночной,
Я тревожно уйду по метели...

Это только в стихах мог он закричать, словно от боли:

Я люблю судьбу свою.
Я бегу от помрачений!
Суну морду в полынью
И напьюсь,
Как зверь вечерний!

А в жизни — нет.

В жизни Рубцов никогда не позволял себе жаловаться.

Даже если приходилось просить взаймы деньги, он делал это мучительно трудно...

Еще труднее, почти невозможно было Рубцову объяснить свои поступки. Правота Рубцова — его стихи, любые другие объяснения звучали неискренне и косноязычно.

Конечно, нужно всегда помнить, что Рубцов был не только очень умным человеком, но и необыкновенно тонким, остро чувствующим малейшую фальшь в человеческих отношениях.

Правда, он редко давал понять, как его коробят те или иные разговоры, Рубцов всегда по мере возможности щадил самолюбие своих друзей.

Его друзья, как мы видим это, например, по воспоминаниям Виктора Астафьева, оказались в этом смысле гораздо менее великодушными...

И, конечно же, здесь нельзя забывать о провинциальной тоске, о злой и мелочной, почти бабьей наблюдательности небольшого города — все подмечавшего, ничего не пропускающего и долго-долго потом обсасывающего на разные лады новостишку скандала...

1

Все перепуталось в эти дни в жизни Рубцова, и он, всегда старавшийся не смешивать литературные, дружеские и семейные дела, сейчас словно бы позабыл о своем правиле.

Обиды своей новой сожительницы, Людмилы Д., он переносил на отношения к друзьям — мнение о ее стихах путал с отношением к самому себе.

Впрочем, многие товарищи, как могли, не стесняясь показаться неловкими, ненавязчиво помогали ему запутаться еще сильнее.

«Наступила зима, — вспоминает Нинель Александровна Старичкова. — Непостоянная, неустойчивая: то морозы, то снеготаяние, гололед. В такой

вечер пришла в Союз писателей в числе приглашенных на отчетное собрание.

На этот раз Коля был рядом с Д...

Писатели один за другим докладывали о том, что подготовили к печати. Дошла очередь до Рубцова. Но вопрос был задан почему-то сразу двоим (словно было известно, что это уже одно целое).

— *Ну, пара, как у вас дела?* (Выделено мной. — Н.К.)

Люда почему-то (от смущения, что ли?) опустила голову, и Рубцов стал говорить за себя и за нее:

— У меня готов сборник «Зеленые цветы». У нее тоже есть... Да, Люда?

Он повернул к ней голову, и она несколько раз утвердительно кивнула, не поднимая глаз, негромко не то сказала, не то выдохнула: «Да, есть».

Обращение к лучшему поэту, пусть не России (в Вологде тогда еще могли и не понимать этого!), но уж города-то точно: «Ну, пара!» — оскорбительно по самой сути.

Вдвойне оно оскорбительно для Рубцова, потому что при нем публично оскорбляли таким образом женщину, которую он любил¹. И хотя Рубцов пытается сдержаться, видно, как задела и его, и Людмилу Д эта фраза.

«...Собрание было закончено. Членов Союза попросили остаться... — пишет Н.А. Старичкова. — Мария Семеновна Астафьевая и я подошли к столу, выбирая свою из наваленной кучи одежду. Подошла и Люда. Вся какая-то напряженная, погруженная в себя. Со мной — ладно, но с Марией Семеновной могла бы обмолвиться хоть словом. Но она, на ходу

¹ Свою «гульевую парочку» не в одиночку Виктор Петрович Астафьев изобрел, были у него в Вологодском отделении Союза писателей соавторы.



одеваясь и по-прежнему пряча глаза, почти бегом понеслась по коридору.

Что она это так?

Мы с Марией Семеновной переглянулись, приостановились даже возле стенки. В это время распахнулась дверь, и из кабинета выскочил Коля. Он боком, спиной к нам, побежал вслед за Д.

Мы опять переглянулись: «Что же происходит?»

Коля догнал Д, но она не остановилась и продолжала уходить быстрым шагом.

— Я скоро приду. Ты поставь пока чайник, — сказал он ей вдогонку.

На что Люда, не оборачиваясь, кивнула головой.

Мимо нас Коля опять пробежал отвернувшись...»

Конечно же, странный роман немолодого поэта с не очень-то молодой поэтессой, к тому же переполненный бурными сценами, не мог не вызывать смущения, а главное — и, наверное, для Рубцова это было самым страшным — не мог не быть смешным.

И, конечно же, друзья-писатели, их жены и близкие достаточно тонко подмечали все комедийные моменты, все нелепости этого романа...

И тем пристальнее они следили за развитием отношений между Рубцовым и его новой женой, что **в их круг** таким вот образом входила женщина, способная на самые неожиданные поступки и от которой уже сейчас исходила некая чернота.

Как мы знаем по накопленному человеческим обществом за десятки веков опыту, изощренность травли, которую затевают **члены круга** при появлении среди них незнакомца или незнакомки, преисходит все мыслимые ограничения и способна творить чудеса...

«Возвратить долг Коля пришел не один, а вместе со своей будущей женой, — пишет в своих воспоминаниях жена Виктора Астафьева, Мария Семеновна Корякина. — Оба пьяненькие, оба наспех одетые.

— Я пришел вернуть долг! — сказал он, уставившись на меня пронзительным, не очень добрым взглядом.

— Хорошо! — сказала я. — Теперь у тебя все в порядке? На житье-то осталось? А то не к спеху, вернешь потом.

— Нет, сейчас! Вот! — Вытащил из одного кармана скомканные рубли и трешки, порылся в другом, пальто расстегнул: — А можно или нельзя мне войти в этот дом? Чтоб долг отдать... — резко, с расстановкой заговорил он.

— Конечно, Коля! Проходи! — посторонилась я.

— А она — талантливая поэтесса! — кивнул он в сторону своей спутницы, оставшейся на лестничной площадке этажом ниже.

— Возможно.

— И она же — моя жена! — Он опустил голову, что-то тяжело посоображал и опять уставился на меня в упор. — Ничего вы не знаете! Я тоже ничего знать не желаю!

Выпятился из прихожей на площадку и с силой закрыл за собой дверь».

Сцена не нуждается в комментариях.

Очень точно обрисована здесь ситуация, когда, благодушно улыбаясь, человека загоняют в безвыходное положение.

Ну, посудите сами... Рубцов пришел со своей женщиной, но это только ему адресуется: «Конечно, Коля! Проходи!», а его спутницу, оставшуюся на лестничной площадке этажом ниже, не замеча-

ют. И даже когда Рубцов настойчиво обращает на нее внимание хозяйки дома — ничего не меняется. Вежливо, но очень определенно Рубцову дают понять, что *этую женщину* в этом доме не желают знать...

Можно возразить, дескать, Рубцов сам виноват. Чтобы не ставить Д. в унизительное положение, не нужно было вести ее к Астафьевым.

Это, безусловно, верно, как верно и то, что и во всей своей горестной жизни Рубцов тоже виноват прежде всего сам. Мог бы благополучно закончить Тотемский лесотехникум, стал бы мастером трелевочных дорог, имел бы таки приличный заработок, квартиру, семью...

Неизвестно только, стал ли бы он тогда великим поэтом, но это ведь обычно в расчет не принимается...

Разумеется, менее всего мне хотелось бы, чтобы возможные упреки в душевной черствости адресовались лишь Марии Семеновне Корякиной. Отношения семьи Астафьевых с Рубцовым, как мы видели из воспоминания Виктора Петровича, были сложными, и я акцентирую внимание на этой сцене только потому, что Мария Семеновна оказалась намного беспристрастнее своего супруга и мужественнее многих рубцовских друзей. Она не побоялась написать то, о чем все позабыли сразу же после его смерти.

Очевидно, что ситуации, подобные описанной М.С. Корякиной или Н.А. Стариковской, в разных вариантах повторялись изо дня в день.

Положение осложнялось и тем, что Д. — не забывайте, она сама была поэтессой! — обладала достаточно взрывным характером и особенно-то подделываться, угоджать, проглатывать оскорблений не умела, да, наверное, и не хотела...

Ну, а главное — это горечь недоумения и обиды, что копилась в ней.

Она готова была жить с гением Рубцовым, но при чем тут человек, которого не пускают со спутницей в приличные дома?..

Неблагодарное занятие — разбираться в семейных дрязгах.

Правота и неправота каждого участника семейных передряг взаимозависимы, и, как правило, осознание своей правоты рождается лишь из стремления подчеркнуть неправоту другого, и именно тогда и кончается правота одного, когда начинается неправота другого.

Конечно, можно было бы (а в своих воспоминаниях Д. этим и занимается) говорить о тяжелом характере Рубцова, о его ревности, его срывах, но ведь и Д. тоже не была ангелом и особенной кротостью не отличалась.

Д., как это свойственно многим женщинам, и сама не понимала, что происходит с ней. Ей казалось, что ее неустроенность и его неустроенность, соединившись, сами по себе счастливо исчезнут. И совершенно забывала (или не думала вообще), что неустроенность — не только недостаток тепла, близких людей, а еще и все то лишнее, чем успел обрасти в своей неустроенной жизни человек...

Наверное, не всегда понимал это и Рубцов.

Он любил Д.

И они ссорились и расставались.

И снова сходились.

Нелегко писать о последних днях жизни Николая Рубцова.

Многие друзья ощущали, как постепенно истончается жизнь поэта, многие, уже после его гибели, говорили о чувстве огромного сострадания и беспомощности от невозможности что-либо изменить.

— Ты береги себя... — сказал Рубцов Борису Шишеву во время последней встречи осенью 1970 года. — Видишь, какая злая стала жизнь, какие все равнодушные...

В этих словах Рубцова — безмерная усталость, нездешний, как в комьях январской могильной земли, холод...

Уже в который раз — десятки раз проверенный способ! — пытался Рубцов укрыться от смертного холода в своих стихах, но и стихи уже не согревали его:

Окно, светящееся чуть.
И редкий звук с ночного омута.
Вот есть возможность отдохнуть.
Но как пустынна эта комната

Мне странно, кажется, что я
Среди отжившего, минувшего,
Как бы в каюте корабля,
Бог весть когда и затонувшего,

Что не под этим ли окном,
Под запыленною картиною
Меня навек затянет сном,
Как будто илом или тиною...

Как всегда, в стихах Рубцов ничего не преувеличивает. Сделанное им описание собственного жилища предельно точно.

«Зашел... в его квартиру, — вспоминает Василий Оботуров, — подивился пустоте, неуюту, которые, видимо, за долгие годы бедности стали привычными для него... У стены напротив окна стоял диван, к нему был придвинут стол, в пустом углу,

справа у окна, лежала куча журналов, почему-то малость обгоревших...

— Засиделся вчера долго и заснул незаметно, абажур зашаял, от него и журналы, — равнодушно пояснил Николай, заметив мой взгляд».

Предельно точно воссоздавал Рубцов и свое душевное состояние:

За мыслию мысль — какой-то бред,
За тенью тень — воспоминания,
Реальный звук, реальный свет
С трудом доходит до сознания.

И так задумаешься вдруг,
И так всему придашь значение,
Что вместо радости — испуг,
И вместо отдыха мучение.

О чем это стихотворение?

С прежней виртуозной легкостью замыкает Рубцов образы далекой юности и нынешние ощущения, но волшебного прорыва, как в прежних стихах, не происходит. Да и какой может быть прорыв, если тонет сейчас не однокомнатная квартирка на пятом этаже «хрущобы», а сама наполненная звездным светом «горница» Рубцова?

Рубцов всегда много писал о смерти, но так, как в последние месяцы жизни, — никогда. Смерть словно бы обретала в его стихах все более конкретные очертания: «Смерть приближалась, приближалась, совсем приблизилась уже...», и отношение к смерти самого Рубцова становилось не то чтобы неестественным, а каким-то *заестественным*:

С гробом телегу ужасно трясет
В поле меж голых ракит.
— Бабушка дедушку в ямку везет, —
Девочке мать говорит...

Уже одна эта строфа достойно могла бы конкурировать с произведениями нарождающегося тогда черного юмора.

Но Рубцов не успокаивается. Наперебой с мамой утешает девочку, дескать, не надо печалиться:

... послушай дожди
С яростным ветром и тьмой.
Это цветочки еще — подожди! —
То, что сейчас за стеной.
Будет еще не такой у ворот
Ветер, скрипенье и стук...

Чего уж говорить, конечно, будет и *не такое*, когда с треском начнут разламываться гробы, когда поплынут из могилы «ужасные обломки»...

В ожидании Рубцовым смерти страха становилось все меньше и все больше — нетерпеливости, прорывающейся порою и в стихах:

Резким, свистящим своим помелом
Выюга гнала меня прочь.
Дай под твоим я погреюсь крылом,
Ночь, черная ночь!

Но и осознанное ощущение приблизившейся смерти не помогало Рубцову отгородиться от житейских забот.

Ничего не изменилось в его жизни. По-прежнему, тяжело и безразлично, как морские волны, накатывали на Рубцова неприятности.

3

Последние месяцы своей жизни Рубцов болел. Это замечали все, но вспоминают его друзья об этом — ведь не от болезни он умер! — как бы между прочим, как бы между делом...

«Он носками о дверной косяк околотил валенки, не спеша снял пальто, потом шапку... Пока он



раздевался, я отметил худобу тела, хоть свитер и делал его плечистее» (А. Рачков).

«... Смутные за Колю тревоги и переживания делялись уже постоянными, может, еще и оттого, что выглядел он часто усталым безмерно, будто очень пожилой и очень больной человек» (М. Корякина).

«Прихожу на улицу Яшина, где жил тогда Рубцов, поднимаюсь на пятый этаж, звоню условленным звонком.

Рубцов болел. На столе были рассыпаны разнокалиберные таблетки.

— Знаешь, сердце прихватывает...

С моим приходом он смахнул в стол какие-то рукописи, принес с кухни вареную картошку в мундире, селедку, початую бутылку вина.

— Хлеб есть, но черствый: я уж два дня из дому не выходил.

Так и просидели мы до вечера.

— Слушай, ночуй у меня, как-то не хочется оставаться одному.

Мы поставили раскладушку и улеглись, не выключая света. Рубцов не спал до полуночи. Не спал и я...» (С. Чухин).

Как и Сергей Чухин, многие из друзей отмечают, что в последние месяцы появился в Рубцове и страх — он боялся оставаться один в своей квартире.

«6 декабря 1970 года я получил путевку в санаторий, — вспоминает Н. Шишов. — Зашел к Рубцову попрощаться уже с чемоданом и билетом. Рубцов был чем-то очень расстроен, просил меня оставаться, да так и задержал. То же самое повторилось на другой день».

И продолжались, то и дело обрывались и никак не могли оборваться навсегда изнуряющие поэта отношения с Д.

В последний раз они поссорились перед Новым 1971 годом.

Д. решила уехать.

Рубцов остался один.

Лучиком в холодной, тоскливой жизни мелькнула открытка, пришедшая из Николы. Адрес написала Генриэтта Михайловна, но были там и каракули, нацарапанные рукою дочери. Лена писала, что приедет к папе в гости на Новый год.

Рубцов убрал квартиру, купил елку, подарки и начал ждать, позабыв, как трудно зимой выбираться из Николы.

«Накануне Нового 1971 года, — пишет В. Коротаев, — я приехал в Вологду на зимние каникулы. Рубцов поджидал свою дочку Лену с мамой в гости. Приготовил елку, хотя заранее не стал ее наряжать. Видимо, хотел этот праздник подарить самой девочке.

Но праздника не получилось: дочь не привезли. Новый год я с Николаем Михайловичем встречал врозь. Наутро со своей невестой пришел его проводать. Рубцов был не один. Они всю ночь просидели со знакомым художником и были угрюмы. Но хозяин встретил нас радушно, достал свежего пива, пытался развеселить. А мы пытались сделать вид, что нам действительно хорошо, и беззаботно болтали; но мешала веселиться ненаряженная елка, сиротливо стоявшая в переднем углу...»

Было это первого января 1971 года, и жить Рубцову оставалось всего восемнадцать дней.

4

Людмила Д. вернулась в Вологду 5 января 1971 года и сразу с вокзала поехала к Рубцову.

Он был один.

Открыл дверь и сразу лег на диван, в постель. Оказалось, что накануне у него был сердечный приступ.

«Я села на диван и, не стесняясь Рубцова, беззвучно заплакала. Он ткнулся лицом мне в колени, обнимая мои ноги, и все его худенькое тело мелко задрожало от сдерживаемых рыданий. Никогда еще не было у нас так, чтобы мы плакали сразу оба. Тут мы плакали, не стесняясь друг друга. Плакали от горя, от невозможности счастья, и наша встреча была похожа на прощанье...»

Потом были долгие, почти бессвязные объяснения; потом примирение.

8 января, на Рождество, Рубцов и Людмила Д. пошли в ЗАГС.

«Мы шли берегом реки по Соборной горке. Был тусклый заснеженный день. На склоне у реки трепетали на ветру мелкие кустики, и кое-где на них неопавшие листья звенели под ветром, как жестяные кладбищенские венки».

Заявление в ЗАГСе не взяли — нужно было свидетельство о расторжении первого брака Людмилы.

Почти всю ночь на девятое Рубцов не спал. Искал вместе с Людмилой Д. свидетельство, потом начал вспоминать своего брата Альберта.

— Очень хочется увидеть Алика, ну прямо как перед смертью.

Свидетельство нашли уже под утро и девятого января снова пошли в ЗАГС. Правда, с утра Рубцов



ходил в больницу, и в ЗАГС собрались только к вечеру.

«Над Софийским собором плыли оранжевые облака с багряным отливом, быстро темнело, начиналась метель...»

Регистрацию брака назначили на 19 февраля.

«На обратном пути я бежала по тропинке через реку, подхваченная метелью, впереди Рубцова...»

Все это время Рубцов не пил. Врач прописал ему корвалол, и сердечные боли прошли...

Д. выписалась из Подлесского сельсовета, вместе с Рубцовым сходила в ЖКО и подала заявление на прописку, сдала свой паспорт. Забрала трудовую книжку и начала подыскивать место в городской библиотеке.

Рубцов собирался до свадьбы съездить в Москву, а после, уже вдвоем с женой, отправиться в дом творчества в Дубулты...

Замирает сердце и перехватывает дыхание, когда восстанавливаешь события предсмертной недели Николая Рубцова...

Так часто бывает, когда обреченный на смерть человек перед самой кончиной своей вдруг освобождается от боли, терзавшей его долгие месяцы, и близким кажется, что произошло чудо и смерть отступила...

Чуда не произошло...

В понедельник отправились в жилконтору. Здесь их поджидала неприятность — Д. не прописывали к Рубцову, не хватало площади на ребенка.

Рубцов, как всегда, вспылил. Он пригрозил, что завтра же отправится к начальнику паспортного стола, будет жаловаться в обком партии.

— Идите... Жалуйтесь... — равнодушно ответили ему, и Рубцов — тоскливо сжалось, заныло сердце! — понял, что опять на его пути к счастью вста-

ет незримая стена инструкций и запретов, одолеть которую еще никогда в жизни не удавалось ему...

Рубцов собирался до свадьбы съездить в Москву по делам, связанным с книгой в «Советской России».

Заодно собирался отвезти в издательство и стихи Д.

Эту рукопись должна была перепечатать машинистка из «Вологодского комсомольца»... Поэтому-то из жилконторы и отправились, как и было задумано, в редакцию.

Рубцов волновался, придумывал все новые и новые кары для бюрократов из жилконторы... Строил — хоть на полсрока, а вдвоем поедем в Дубулты! — планы на будущее.

В центре города, на Советской улице, столкнулись со знакомыми...

В редакцию «Вологодского комсомольца» Людмила отправилась одна. Рубцов пошел с друзьями в шахматный клуб.

«18 января 1971 года, — как сказано в Приговоре, вынесенном 7 апреля 1971 года Вологодским городским народным судом, — в течение дня Рубцов Н.М. распивал спиртные напитки сначала в шахматном клубе, затем в ресторане «Север», а впоследствии на квартире Рубцова Н.М.».

«Через 20—25 минут я возвратилась, и меня наперебой стали угождать вином, — вспоминает Д. — Они уже допивали. Я глотнула глоток из стакана Рубцова, он допил остатки. На Главпочтамте Николай Задумкин получил деньги, и все они отправились в ресторан. Я отказалась... Только сказала Задумкину, чтобы Колю не бросали одного, а доставили домой.

Часа через два Рубцов и трое из журналистов приехали к нам уже хмельные и еще с бутылками

вины. В этот вечер Рубцов играл на гармошке и пел свое стихотворение-песню «Над вечным покоем».

Это последняя спетая Николаем Михайловичем песня...

Рукой раздвинув
темные кусты,
Я не нашел и запаха малины,
Но я нашел могильные кресты,
Когда ушел в малинник за овины...

Там фантастично тихо в темноте,
Там одиноко, боязно и сыро,
Там и ромашки будто бы не те —
Как существа уже иного мира.

И так в тумане омутной воды
Стояло тихо кладбище глухое,
Таким все было смертным и святым,
Что до конца не будет мне покоя.

И эту грусть, и святость прежних лет
Я так любил во мгле родного края,
Что я хотел упасть и умереть
И обнимать ромашки, умирая...

Пускай меня за тысячу земель
Уносит жизни! Пускай меня проносит
По всей земле надежда и метель,
Какую кто-то больше не выносит!

Когда ж почую близость похорон,
Приду сюда, где белые ромашки,
Где каждый смертный
свято погребен
В такой же белой горестной рубашке...

Можно представить, как пронзительно-горько теперь уже действительно возле своих похорон пел эту песню Рубцов.

Закончив пение, он помрачнел.

Компания, избегая скандала, стала расходиться.

5

Рубцов всегда жил больно и трудно.

Даже и не жил, а скорее проридался сквозь глухое равнодушие жизни и порою пытался докричаться до собеседников, но его не слышали, не хотели слышать, и тогда Рубцов срывался с тормозов — вся спрессованная в нем энергия, с такой дивной, пронзительной силой выплескивающаяся в стихах, рвалась наружу, громоздя какие-то жутковатые химеры.

Угадать, во что выльются они, какие очертания примут, за кого — депутата Верховного Совета или майора КГБ — будет выдавать себя Рубцов, оказалось невозможным. И невозможно было принять меры, чтобы как-то обезопаситься. Окружающим начинало казаться, что они присутствуют при маленьком катаклизме, а наблюдать такое вблизи и неприятно, и не очень-то безопасно.

Все это так, и все же, когда Д. пытается изобразить Рубцова этаким вологодским Отелло, надо разобраться...

Безусловно, многое тут выдумано самой Д... Безусловно и то, что Д. сама разжигала в Рубцове ревность, зачастую не понимая, что делает, сама заводила его на скандал...

И в воспоминаниях, и на допросах Д. всюду твердила, что Рубцов беспричинно ревновал, и ревность эта оскорбляла ее, поскольку она нешибко-то и изменяла Рубцову с другими мужчинами...

Правда, в стихах:

Когда-нибудь моя душа

Да скинет цепи постоянства!
Не нужно будет усмирять
Ее капризы и порывы.
Лишь изменяться, изменять
Свободно, дерзко, прихотливо! —

она пишет о другом, но это не так уж и важно...

Ведь когда Рубцов срывался, обличая Д., речь шла не столько о плотских изменах, сколько о неверности духовной...

Рубцов не соответствовал шестидесятническим идеалам Д., и она, собираясь стать женой Рубцова, все равно продолжала предавать его.

Д. искренне, по-шестидесятнически не понимала, какую это *грусть и святость прежних лет* так любит Рубцов *во мгле родного края*, по-шестидесятнически смешно было Д. его *желание упасть и умереть и обнимать ромашки, умирая...*

Ужимочками, улыбочками, репликами Д. как бы отстранялась от того, что Рубцову было дороже всего.

В воспоминаниях она пишет, что «никогда в жизни я не встречала человека, так болезненно-страстно заинтересованного судьбою России и русского народа», что «Рубцов знал, что он живет в грозный и сложный век, на тревожной планете, размеры которой щемящие невелики, если взглянуть на нее из космоса...»

Непонятно только, чего больше в этих словах: восхищения Рубцовым или непонимания его. *На тревожной планете, размеры которой щемящие невелики*, жили столь любимые Д. шестидесятники. Великого русского поэта Николая Михайловича Рубцова космополитические переживания занимали меньше, потому что перед глазами его был распахнут Божий мир...

Объяснить это Д. — посланнице шестидесятничества — было, разумеется, невозможно. Поэтому то заинтересованность Рубцова судьбою России и русского народа казалась Д. болезненно-страстной.

Рубцов все это, разумеется, понимал, а что не понимал, то прозревал, но объяснить — мы видели, как он любил разъяснять мотивы своих поступков, — не желал. А может быть, и пытался объяснить, но не мог сделать этого и оттого заводился еще сильнее.

Вот и в последнюю ночь, если верить воспоминаниям Д., она попыталась уложить Рубцова в постель, но тот вскочил, натянул на себя одежду и сел к столу, где стояло недопитое вино. Он закурил, а горящую спичку шутя кинул в сторону Д.

Спичка, разумеется, погасла, не долетев, но Д. — она всегда неадекватно воспринимала поступки Рубцова — представила себе, что горящая спичка упала на нее, и ей стало так обидно, что она чуть не заплакала. Пытаясь убедить ее, что он пошутил, что спичка все равно бы погасла, Рубцов кинул еще одну.

«Я стояла как раз у кровати... Пока он бросал спички, я стояла не шевелясь, молча в упор смотрела на него, хотя внутри у меня все кипело... Потом не выдержала, оттолкнула его и вышла в прихожую».

Рубцов допил вино и швырнул стакан в стену над кроватью. Осколки стекла разлетелись по постели, по полу.

Рубцов схватил гармошку, но скоро отшвырнул и ее.

Словно неразумный ребенок, старающийся обратить на себя внимание и совершающий для этого все новые и новые безобразия, Рубцов ударил об пол свою любимую пластинку Вергинского...

«Я по-прежнему презрительно молчала. Он накалялся. Я с **ненавистью** (выделено мной. — Н.К.) смотрела на него... Я взяла совок и веник, подме-

ла мусор, осколки стекла. Где-то в четвертом часу попыталась уложить его спать. Ничего не получилось...

Нервное напряжение достигло своего апогея, и это вместе с чувством обреченности, безысходности. Я подумала — вот сегодня он уедет в Москву, и я покончу с собой. Пусть он раскается, пусть поплачет, почувствует себя виноватым.

И вдруг он, всю ночь глумившийся надо мной, сказал, как ни в чем не бывало:

— Люда, давай ложиться спать. Иди ко мне».

Об этом нельзя писать...

Ясно, что Людмила Д. — не Данте и даже не Мартынов. Она убила Рубцова. Потом прибрала в квартире, надела рубцовские валенки и отправилась в милицию.

Во время допроса она то плакала, то смеялась.

Ее судили.

Она получила срок — восемь лет лишения свободы в исправительно-трудовой колонии общего режима.

Но еще когда шел процесс, когда выяснялись все детали и подробности того вечера, той страшной ночи, она, словно бы стряхнув с себя оцепенение, вдруг ясно поняла, что навсегда теперь будет только убийцей Рубцова, и все последующее наказание показалось ей несущественным по сравнению с этим, главным, и она, порою даже во вред себе, начала доказывать, что не могла не убить Рубцова...

Убийца...

И какая разница, что такой *осознанной* цели — убить Николая Рубцова — у нее не было и не могло быть... Я имею в виду не саму ночь убийства, а всю историю их знакомства.

Когда-то в учебниках литературы можно было прочитать, кто двигал рукой Дантеса, кто стоял за спиной Мартынова.

Эти объяснения в силу примитивности своей вызывают отторжение у нормального человека. Как-то сразу вспоминаешь, что, кроме различных особ, заинтересованных в устраниении беспокойных и непокорных поэтов, и сами Пушкин и Лермонтов кое-что сделали, чтобы умереть так, как они умерли...

Рубцов — тоже...

Конечно, можно проследить, как стягивается роковая петля событий, как незаметно, но неотвратимо разгорается роковой скандал — та страшная крещенская ночь, когда лютует нечистая сила.

Но все могло закончиться иначе.

И кто знает, быть может, эта женщина, мечтавшая о славе Марины Цветаевой, в ту ночь на 19 января 1971 года, сама того не зная и не желая, спасала кого-то из рубцовских друзей от страшной участи...

... Об этом нельзя думать и говорить тоже нельзя. В нашей жизни все случается так, как случается...

И это и есть высшая справедливость.

Другой справедливости, по крайней мере здесь, «на этом берегу», как говорил Рубцов, нет и не будет...

6

— Люда, давай ложиться спать. Иди ко мне... — словно бы очнувшись, спокойно сказал Рубцов.

Это спокойствие — как же это ничего не было?! — и возмутило Д.

— Ложись, я тебе не мешаю! — ответила она.

— Иди ко мне!

— Не зови, я с тобой не лягу!

«Тогда он подбежал ко мне, схватил за руки и потянул к себе в постель. Я вырвалась. Он снова, заламывая мне руки, толкал меня в постель. Я снова вырвалась и стала поспешно одевать чулки, собираясь убегать.

— Я уйду!

Он стремительно ринулся в ванную. Я слышала, как он шарит под ванной рукой... Меня всю затрясло, как в лихорадке. Надо бежать!.. Но я не одета! Однако животный страх кинул меня к двери. Он увидел меня, мгновенно выпрямился. В одной руке он держал комок белья... Простыня вдруг развилась и покрыла его от подбородка до ступней ног.

«Господи, мертвец», — мелькнуло у меня в сознании. Одно мгновение, и Рубцов кинулся на меня, с силой толкнул меня обратно в комнату, роняя на пол белье. Теряя равновесие, я схватилась за него, и мы упали. Та страшная сила, которая долго колпилась во мне, вдруг вырвалась, словно лава, ринулась, как обвал. Набатом бухнуло мое сердце.

«Нужно усмирить, усмирить!» — билось у меня в мозгу. Рубцов тянулся ко мне рукой, я перехватила ее своей и сильно укусила...

Вдруг неизвестно отчего рухнул стол, на котором стояли иконы. Все они рассыпались по полу вокруг нас. Лица Рубцова я не видела. Ни о каком смертельном исходе не помышлялось. Хотелось одного, чтоб он пока не вставал...

Сильным толчком он откинул меня и перевернулся на живот. В этот миг я увидела его посиневшее лицо и остолбенела: он упал ничком, уткнувшись лицом в то самое белье, которое рассыпалось по полу при нашем падении. Я стояла над ним, приросшая к полу, пораженная шоком. Все это произошло в считанные секунды...»

Вот так и случилось непоправимое...

Когда опрокинулся стол с иконами, одна — это была икона с образами Спасителя, Богородицы, Иоанна Крестителя, Георгия Победоносца и Никиты — развалилась пополам...

Только изредка над паромной
Над рекою, где бакен желт,
Лошадь белая в поле темном
Вскинет голову и заржет... —

писал Николай Рубцов в стихотворении «На ночлеге»...

На иконе трещина прошла как раз по шее белого коня Георгия Победоносца, и голова его оказалась на той части иконы, где Спаситель, Иоанн Креститель и Никита...

Еще осенью на стене библиотеки в Троице, разгораясь сиянием, замерцал крест. Сначала Д. не испугалась, внимательно осмотрела окно, проверила, куда падает тень от переплета рамы, но так ничего и не сумела понять и привела в библиотеку Рубцова.

Рубцов посмотрел на крест, пожал плечами и спросил:

— Ну и что?

...Скоро на место происшествия — так теперь называлась квартира Николая Михайловича Рубцова — прибыл старший следователь областной прокуратуры Вячеслав Иванович Меркурев ...

Мертвый Николай Михайлович Рубцов лежал на животе.

Беззащитно белели его голые ступни.

Казалось, что Николай Михайлович, босой, уходит куда-то из этой квартиры, из этого города, из этого мира...

Через три дня Рубцова похоронили возле Пошехонского шоссе, на пустыре, отведенном под городское кладбище.

Прощаясь с покойным, В.П. Астафьев сказал:

«Человеческая жизнь у всех начинается одинаково, а кончается по-разному. И есть странная, горькая традиция в кончине многих больших русских поэтов. Все великие певцы уходили из жизни рано и, как правило, не по своей воле...»

Красиво, хорошо сказал, совсем не так, как в воспоминаниях ...

На кладбище было пусто и голо, только на вставленных в мерзлую землю шестах над новыми могилами сидели вороны.

Друзья помянули поэта и разошлись по домам...

«В июле 1971 года я на Пошехонском кладбище приводил в порядок могилку моей бабушки и после сей печальной заботы решил найти место, где лежит Рубцов... — вспоминает московский критик Вадим Дементьев. — Рубцовская могила поразила меня своей неухоженностью и заброшенностью: комья глины, оттаяв по весне, образовали яму, куда завалилась казенная деревянная пирамидка со звездой. Повздыхав, я принялся за новую работу — натаскал более или менее подходящей земли, врыл покрепче пирамидку, нарвал на обочине грунтовой дороги полевых ромашек, столь любимых поэтом».

Только в 1973 году на могиле Рубцова поставили надгробье — мраморную плиту с барельефом поэта. Внизу по мрамору бежит строчка из его стихов: «Россия, Русь! Храни себя, храни!», слова эти звучат как последнее завещание Рубцова нашей несчаст-

ной и бесконечно любимой стране, что не бережет ни своих гениев, ни саму себя...

А сейчас поднялись, подтянулись на кладбище кусты и деревья, и уже не так страшно, не так бесприютно здесь. Впрочем, как я говорил, ходят слухи, что скоро перенесут могилу Рубцова поближе к туристским тропам, перезахоронят поэта в Прилуцком монастыре, рядом с могилой поэта Батюшкова...

Рукописи Рубцова после его смерти забрал Виктор Коротаев...

Он сложил их в чемодан и отнес в Союз писателей, где рукописи и находились, пока их не передали в ГАВО...

Еще остались от Рубцова старенький засаленный диван, круглый раздвижной стол, табуретки да груда пепла на кухне от сожженных бумаг.

Письменный стол Рубцова по настоянию вологодских писателей увезла в Николу Генриетту Михайловну. На столе было много показавшихся Генриетте Михайловне непристойных надписей, и она покрасила стол суриком, как красят в деревнях дешевую фанерную мебель¹.

Вещей у Рубцова было немного.

Когда открывался музей в Николе, я ехал туда в музейном фургончике вместе с этими вещами. На

¹ Ссылаясь на Елену Николаевну Рубцову, которая не помнит никаких надписей на столе, за которым она потом готовила уроки, некоторые критики упрекают меня в неточности этой информации.

Ну что тут сказать...

Историю эту мне рассказала сама Генриетта Михайловна, когда я удивился, почему покрашен письменный стол... О том, что надписи были, я знаю только с ее слов.

Но то, что Лена Рубцова не запомнила никаких надписей, ничего не опровергает и не доказывает. Лена не могла запомнить надписей, поскольку для того ведь и закрашивала их Генриетта Михайловна, чтобы дочь не увидела никаких надписей.



коленях у меня стояла гармошка «Шуя», на которой почему-то было нацарапано «Фикрету Годже на память, на дружбу. Белов 24.Х.63», но которая принадлежала Рубцову, а рядом, на спинке сиденья лежало — такие вообще-то можно найти на любой свалке — рубцовское пальто.

Больше вещей, принадлежавших Николаю Михайловичу Рубцову, не осталось.

Зато остались его стихи...

Отложу свою скучную пищу
И отправлюсь на вечный покой.
Пусть меня еще любят и ищут
Над моей одинокой рекой...

Есть особое состояние жизни стихов после смерти их автора...

Прекрасные, а главное — вечно живые стихи Рубцова не связывались с тем, что осталось после той жуткой ночи, с тем, что фигурировало в звучащих на судебном заседании строках заключения медицинской экспертизы: «На горле трупа имеются множественные царапины. Трупные пятна имеются на животе, лице...»

И конечно, прекрасное и вечно живое победило, стихи заслонили не только ужас последних дней жизни Рубцова, но и неуют, неустроенность всей его жизни. Высвободившись из своей бренной оболочки, образ живого Рубцова начал стремительно сливаться с образом героя его стихов.

Занимаясь сбором материалов для книги о Рубцове, я сам видел, как буквально на моих глазах замыкается этот круг, постоянно замечал, как, напрягая память, знакомые и друзья поэта вспоминают уже не того Колю Рубцова, которого они знали и помнили, а его стихи, потому что неосознанно чувствовали — правда не в их воспоминаниях, а в его стихах...

Происходило это неосознанно и чаще всего вызывалось не столько желанием как-то приукрасить свою роль в жизни Рубцова, а естественной потребностью человека в очищении собственной души.

Процесс этот начался сразу после смерти Рубцова, когда, как вспоминает бывший редактор тотемской районной газеты Александр Михайлович Королев, в ответ на предложение установить мемориальную доску на интернате, где учился и жил Рубцов, можно было услышать: «А вы видели Рубцова трезвым?» — как будто мемориальная доска устанавливалась именно в честь трезвой рубцовской жизни.

Сейчас такой вопрос, такие сомнения уже невозможны. Привычным в тотемском пейзаже стал бронзовый Рубцов, сидящий на бронзовой скамейке у реки, напротив бывшего багровского дома, в который он любил заглядывать...

— Я Колю всегда жалела, — рассказывала мне в Николе Лия Сергеевна Тугаринова, воспитывавшаяся вместе с Рубцовым в детдоме. — Сейчас-то я у Лены спрашиваю, когда она в Николу приезжает, ты, Лена, у отца-то была в Тотьме? Не, говорит, никогда... А я, когда в Тотьму приеду, первым делом к Коле иду. Травку на клумбе порву, поговорю с ним. А этой зимой приехала — даже тропинки в снегу нету. Коля, говорю, и не приедет-то к тебе никто...

И заплакала.

Я слушал Лилю Сергеевну, для которой и бронзовый Рубцов остается Колей, и в памяти звучали его последние стихи:

Пусть еще всевозможное благо
Обещают на той стороне.
Не купить мне избу над оврагом
И цветы не выращивать мне... —



и тоже вспомнил Рубцова, этого путника, прошедшего по заснеженному полю наших десятилетий...

А соседи Рубцова по лестничной клетке снизу и сейчас еще, десятилетия спустя, любят вспоминать, как он мыл у себя полы. Вначале выплескивал ведро воды, а потом начинал драить пол шваброй.

Вода, естественно, протекала вниз...

Однако, сколько ни скандалили соседи, разницу между палубой и полом в квартире Рубцов, похоже, так и не уловил — продолжал наводить чистоту по освоенному еще в моряцкой юности способу...

Еще вспоминают соседи о том крике Рубцова, который разбудил их, в крещенскую ночь, когда особенно сильно лютует нечистая сила...

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

«Я не верю вечности покоя...»

Уже почти сорок лет нет с нами Рубцова, и уже больше сорока лет, как было сказано им про смерть в крещенские морозы, про ужасные обломки, что выплынут из его могилы...

Многие большие поэты помимо поэтического таланта отмечены и даром пророчества. Способствует этому и особая обостренность восприятия, и стремление возвыситься над бытом, а отчасти, наверное, сама медиативная ритмика стиха...

Но есть поэты и поэты...

Одни и на самом деле прозревают будущее и свою собственную судьбу.

Другие не столько пророчествуют, сколько используют пророчество как некий литературный прием, позволяющий усилить эмоциональное воздействие текста.

Пророческий дар Николая Рубцова подтвержден его судьбой, и прижизненной, и посмертной...

А вот предсказание Иосифа Бродского — поэта, принадлежащего к рубцовскому поколению:

Ни судьбы, ни погоста не хочу выбирать,
На Васильевский остров я приду умирать... —

не сбылось. Нобелевский лауреат умер в другой стране, вдалеке от родного города.

В этой книге мы уже проводили сравнение Рубцова и Бродского и отмечали, что в их стихах начала шестидесятых годов имеются почти цитатные совпадения...

Но если совпадения текстов можно объяснить некоей сознательной полемикой, то поразительное совпадение рисунка судеб подобным образом уже не объяснишь.

1

Вероятно, ни у Рубцова, ни у Бродского не возникало и мысли о каком-то диалоге...

Но это не имеет никакого значения...

Диалог совершился помимо их воли и в стихах, и в их судьбах, которые перекликаются еще более явственно, чем стихи.

Мы уже говорили, что когда Николая Рубцова исключили в 1964 году из института и он должен был отправиться в вологодскую деревню, Иосифа Бродского судили за тунеядство и выслали в этом же году в архангельскую деревню.

Еще более явным этот «диалог» стал в 1971 году, в январе которого исполнилось рубцовское пророчество о своей смерти...

Иосиф Бродский прожил в России еще полтора года. Он покинул ее 4 июня 1972 года... Уехал за границу **пожинать** плоды урожая, который взрастил своим трудом и талантом еще в шестидесятые годы.

И именно в контексте этого диалога и начали звучать пророческие стихи Николая Рубцова:

Все умрем.
Но есть резон
В том, что ты рожден поэтом,
А другой — жнецом рожден...

В жнецах, умеющих не только взрастить, но и собрать выращенный урожай, ничего подлежащего осуждению, разумеется, нет...

Просто, как утверждает Рубцов, не все рождены жнецами.

Некоторые рождаются, чтобы быть пророками...

2

Да... Многие большие поэты угадывали свою судьбу...

Но у кого еще провидческие способности были развиты так сильно, как у Рубцова?! И дело ведь не только в том, что Рубцов совершенно точно предсказал многие события своей жизни и смерти...

Он предсказал и то, что будет после его кончины...

Впервые об «ужасных обломках» я задумался, когда начались разговоры: дескать, неплохо бы перезахоронить Рубцова, перенести его могилку с Пошехонского кладбища в Прилуцкий монастырь, поближе к туристским тропам.

С этим трудно спорить.

Разумеется, по мести, занимаемому в русской поэзии, Николаю Михайловичу пристойнее покоиться рядом с поэтом Батюшковым, а не на обычном городском кладбище на Пошехонском шоссе...

Но, с другой стороны, все в душе восстает против этого.

И вечный покой не надо без нужды нарушать, да и рядовое городское кладбище как-то ближе рубцовской судьбе, как и крохотная однокомнатная квартирка в пятиэтажной «хрущобе» на улице Александра Яшина, которую он получил за полтора года до гибели...

Но хотя грядущее перезахоронение, возможно, и в самом деле как-то связано с предсмертными словами Рубцова о гробе, выплывающем из затопленной могилы, в последние годы все навязчивей мысль, что не *это*, во всяком случае не только *это*, прозревал Рубцов, когда говорил об «ужасных обломках»...

Страшно смотреть на его фотографию, сделанную судмедэкспертом в то утро. Рубцов лежит в наброшенном на голые плечи пиджаке, голова свернута набок, на беззащитной шее — глубокие раны, словно Рубцова рвал когтями какой-то страшный зверь...

В протоколе, составленном ранним утром 19 января, зафиксирована расколотая пополам икона. Зафиксированы в протоколе и другие обломки — разбитая пластиинка Вергинского...

Старший следователь областной прокуратуры Вячеслав Иванович Меркуьев старательно осмотрел место происшествия — так теперь называлась квартира Николая Михайловича Рубцова...

Милиционеры равнодушно перевернули тело...

«На горле трупа имеются множественные царапины... — скрупулезно занес в протокол Меркуьев. — На правом и левом локте имеются ссадины...»

А это — «Механическая асфиксия от сдавливания органов шеи руками: множественные ссадины линейной и полулунной формы на передней и боковых поверхностях шеи, кровоизлияния в мышцы шеи...» — из паталогоанатомического диагноза.

А это — «повреждения могли быть причинены при захватывании шеи пальцами рук. Полулунные ссадины характерны для давления ногтями паль-

цев рук...» — из заключения, вложенного в акт № 19 судебно-медицинского исследования трупа.

А это — «Сам характер убийства, множественные ссадины на горле Рубцова свидетельствуют о том, что подозреваемая как бы рвала горло Рубцова руками»... — из акта судебно-психиатрической экспертизы...

Страшно снова перечитывать эти подробности...

«Я схватила правой рукой за горло Рубцова двумя пальцами и надавила на горло... — равнодушно, как будто не про себя, а про кого-то другого, рассказывала Д. — Рубцов не хрюпал, ничего не говорил (это длилось несколько секунд). Мне показалось, что Рубцов сказал: «Люда, прости. Люда, я люблю тебя. Люда, я тебя люблю».

Это были три фразы, он говорил их, а не кричал.

Я взглянула на Рубцова и увидела, что он синеет.

Я отцепилась от него...»

Действительно, в ту ночь соседка Рубцова проснулась от крика.

— Я люблю тебя! — услышала она.

Это были последние слова, которые произнес Николай Михайлович Рубцов.

Обращения к Д. — «Люда!» — никто из соседей не слышал...

И снова, погружаясь в мрак того убийства, думаешь, как же все-таки велика была Божья милость, явленная русскому поэту Николаю Михайловичу Рубцову...

Уже не раз говорилось, что Александру Сергеевичу Пушкину не попустил Господь стать убийцей. Сорок шесть часов жизни было дано Пушкину по-



ле дуэли, чтобы очиститься мучениями, покаяться, примириться и с миром отойти в жизнь вечную¹.

Вот и Николаю Михайловичу Рубцову после пьяного скандала, в последнее мгновение земной жизни, дает Господь возможность встать во вратах вечности не с ругательством на устах, а со словами о любви...

Воистину бесконечна милость Господня к своим поэтам-пророкам...

3

Рубцов был убит, но стихи его задушить было нельзя.

Стихи продолжали жить, и — поразительно! — поэзия Рубцова продолжала прирастать и набирать силу.

Многие лучшие стихи Рубцова были опубликованы еще в семидесятые годы, но лишь в восьмидесятые годы его слава приобрела всенародный характер.

Поразительно, но девяностые годы, обрушившие поэтический книжный рынок, не только некоснулись Николая Рубцова, но вывели его в число самых издаваемых русских поэтов.

И есть, есть что-то зловещее в том, как по мере возрастания славы Николая Рубцова меняются свидетельства Д., касающиеся убийства поэта.

Если сопоставить ее показания, данные на предварительном следствии, с теми, что прозвучали во время суда, нетрудно обнаружить разнотечения.

¹ Из воспоминания П.А. Вяземского известно, что Данзас спросил Пушкина, не поручит ли Пушкин чего-нибудь, в случае смерти, касательно Геккера.

— Требую, — ответил поэт, — чтобы ты не мстил за мою смерть; прощаю ему и хочу умереть христианином.

Вначале Д. говорила о самозащите, напирала на то, что Рубцов собирался убить ее и она была вынуждена защищать жизнь...

На суде она говорила, что Рубцов сам довел ее до убийства, что она и не осознавала, что делает, когда разрывала шею Рубцова...

В воспоминаниях, которые Д. распространяла среди писателей уже после освобождения, прежние версии убийства русского поэта окрасились в цвета роковой любви, этакой любовной драмы...

Но прошло еще десять последних лет, и что же теперь?

«Теперь я наконец поняла, что он умер от инфаркта сердца, — сообщает Д. в толерантно-патриотическом «Дне литературы». — У него было больное сердце. Во время *потасовки* (экспертиза установила, что Д. зверски разрывала горло Рубцова. — Н.К.) ему стало плохо, он испугался, что может умереть, потому и закричал. *Сильное алкогольное опьянение, страх смерти и еще этот резкий, с большой физической перегрузкой рывок — все это привело к тому, что его больное сердце не выдержало.* С ним что-то смертельное случилось в момент этого рывка. После этого рывка он сразу весь обмяк и потерял сознание. Разве могли два моих пальца, два женских пальца сдавить твердое *ребристое горло*? Нет, конечно! Никакой он не удавленник, и признаков таких нет. Остались поверхностные ссадины под подбородком от моих пальцев, и только. А я тогда с перепугу решила, что это я задушила его...»

Про женские пальцы и *ребристое горло* сказано неслабо...

И, конечно же, тут нужно говорить не о глупости Д., а об откровенном глумлении, которым целинаправленно продолжает заниматься убийца, о

том втором убийстве Рубцова, которое она пытается совершить тридцать лет спустя после своего преступления...

6

Страшна участь убийцы поэта.

Судьба Данте или Мартынова не может вызывать в нас сострадание, но — право же! — это печальные судьбы.

И — право же! — даже некоторое уважение вызывает смирение, с каким приняли их убийцы Пушкина и Лермонтова.

Мы живем в другое время.

Еще в конце восьмидесятых я прочитал переданные мне Глебом Горбовским машинописные воспоминания Людмилы Д. и поразился, как свободно говорила Д., о чем обыкновенно не говорит никто, о чем, в общем-то, и нельзя говорить...

Я — не судья Д.

Я считаю, что все обстоятельства трагедии, разыгравшейся в крещенскую ночь на 19 января 1971 года, были достаточно подробно рассмотрены в суде и уже получили соответствующую юридическую оценку.

Но совсем другое отношение у меня к тому, чем занимается Д. после выхода на свободу. Тут не может идти речь о какой-либо юридической оценке, но я не могу забыть, как буквально зашевелились на голове волосы, когда в аннотации к альманаху «Дядя Ваня», в котором были опубликованы воспоминания Д., я прочитал: дескать, это — воспоминания **близкого друга** Николая Рубцова.

Я понимаю, что Д. не планировала убивать Рубцова. Но в нашей жизни все случается так, как случается, и это и есть высшая справедливость. Другой



справедливости, по крайней мере здесь, «на этом берегу», как говорил Николай Рубцов, нет и не будет.

Люди девятнадцатого века, даже такие, как Мартынов и Данте, знали, что есть то, в чем нельзя оправдываться, а тем более оправдаться.

В наш век этого знания и понимания уже не стало.

И мы своими глазами можем увидеть, как непоправимо-страшно сбывается пророчество Николая Рубцова об «ужасных обломках».

Увы... Замотанные нашими бесконечными перестройками и реформами, мы не всегда и замечаем, что нравственные нормы, по которым живет наше общество, давно сместились за ту черту, где нет и не может быть никакой нравственности, где одни только **ужасные обломки**, где благодаря продвинутым господам с ОРТ и НТВ ворье может доказывать, что, дескать, воруют все, где демонстрируются фильмы, в которых с помощью актерского обаяния зрителю навязывается простенькая и немудреная мысль, что высокопоставленному и высокооплачиваемому чиновнику быть предателем своей Родины, выдавать ее врагам государственные тайны вполне благородно, если это делается в интересах цивилизованного мира, где легализирована безнравственность и убийца может доказывать, что это убиваемый ею человек сам себя и убил, неосторожно дернувшись в ее руках.

И тут утешает, пожалуй, только одно.

Даже бунт против Божьего Промысла — и он осуществляется все-таки по воле Божьего Промысла.

Читая стихи Людмилы Д., лишний раз убеждаешься в этом.

В своих стихах Д. говорит не о какой-то абстрактной печали, а имея в виду конкретную и очень уз-наваемую ситуацию...

Нет, я теперь уже не успокоюсь!
Моей душе покоя больше нет!
Я черным платом траурным прикроюсь,
Не поднимая глаз на белый свет... —

начинает она исповедь, но — очень все-таки она по-своему искренний человек — печаль покаяния уже в следующей строфе вытесняется патетикой, незаметно превращающей в фарс все ее надуманное покаяние:

Что та любовь — смертельный поединок,
Не знала я до роковых минут!
О, никогда б не ведать тех тропинок,
Что неизбежно к бездне приведут!

И дальше несколько искусственный надрыв: «Зову тебя, но ты не отзовешься» смягчается лирической красотостью: «Крик замирает в гибельных снегах», и, словно бы уже вне воли самой поэтессы, переживание, происходящее в душе лирической героини, вытесняется ощущениями и мыслями самой Д. .

Быть может, ты поземкой легкой въешься
У ног моих, вмиг рассыпаясь в прах?

И так внешне красиво сформулирован вопрос, что не сразу и замечаешь антиэстетичность, антиэтичность этих строк.

Вспомните очень похожий образ у Александра Твардовского:

Я — где облачком пыли
Ходит рожь на холме...

Но у Твардовского «облачко пыли» — «**я**». «**Я**» — убитый подо Ржевом, «**я**» — пришедший к вам, где ваши машины воздух рвут на шоссе, «**я**» — пришедший к живым — в таинственный момент слияния жизни и смерти в вечную жизнь.

Антиэстетичность и антиэтичность Д. в том, что «**ты**» в ее стихах — это убитый ею поэт Рубцов.

«Ты», убитый мною, поземкой **вьешься у моих ног...**

Может, конечно, и неслабо задумано, но уж как-то совсем не православно, даже не по-человечески.

Обратив поэта в прах и в жизни, и в стихах, Д. тут же пытается вознести его на небеса:

Быть может, те серебряные трубы,
чьи звуки в свисте ветра слышу я, —
твои уже невидимые губы
поют тщету и краткость бытия...

Не надо, однако, обманываться «серебряной», воздушной красивостью этих строк. Д. если и величивает прах Рубцова, то только потому, что таким образом возвышается и сама.

Эгоцентризм постепенно вытесняет из стихотворения все другие ощущения, воплощается в уголовно-блатной поэтике сочувствия и сопереживания только себе:

... я навек уж буду одинока,
влача судьбы своей ужасный крест.
И будет мне вдвойне горька, гонимой,
вся горечь одиночества, когда
все так же ярко и неповторимо
взойдет в ночи полей твоих звезд.

Человек менее откровенный, менее бесстрашный и менее бесстыдный тут бы, очевидно, и поставил точку.



Все уже сказано.

Раз уж решено «черным платом траурным прикрыться», что еще говорить?

Однако Д. следом за этим апофеозом горечи и одиночества ставит «но», то «но», ради которого и написано стихотворение.

Но... чудный миг! Когда пред ней в смятенье
я обнажу души своей позор,
твоя звезда пошлет мне не презренье,
а состраданья молчаливый взор.

Читая эти и другие стихи Д., все время ловишь себя на удивлении, насколько все-таки неглубоки они!

Казалось бы, предельная раскрытость, распахнутость в самом тайном и сокровенном, а в результате — всего лишь некое подобие мастеровитости, этакое техническое упражнение, не рождающее никакого отклика в душе.

Увы...

Лукавство и не предполагает ни глубины, ни ответного сопереживания.

Быть может, и не стоило бы столь подробно анализировать стихи Д., но разговор про **ужасные обломки** не только о Д., но и о симптомах болезни, которой поражено наше общество, с каждым годом все слабее различающее добро и зло, о той укоренившейся нравственной вседозволенности, при которой и возникает то, что я называю «феноменом Д.».

В атмосфере вседозволенности, исчезновения каких-либо моральных запретов убийство гениального русского поэта превратилось за эти годы в фундамент для возвеличивания убийцей самой себя.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Неостывшие следы

На экскурсию в последнее жилище поэта на улице Яшина мы ходили вместе с вологжанином Вячеславом Белковым, когда там еще не висело никакой мемориальной доски¹.

Ни меня, ни Вячеслава новый хозяин не знал, но в квартиру пустил, показал и совмещенный с ванной туалет, и кухню с двухконфорочной, на ножках, газовой плитой, вывел на балкон, с которого, кроме стены соседнего дома, больше ничего не было видно.

Про Рубцова хозяин квартиры слышал, но читали он сам его стихи, мы так и не поняли.

Тем не менее он рассказал, что, вселившись, нашел в квартире старенький диван, круглый раздвижной стол, две табуретки да груду пепла от сожженных бумаг. Мебель эта еще долго стояла в квартире, а потом ее вынесли на помойку, поскольку никто так и не пришел за ней...

Уже спускаясь по лестнице, мы погоревали, что не догадались захватить выпивку. Очень хотелось

посидеть здесь, поговорить о Рубцове — присутствие его в нищенской квартирке ощущалось и спустя двадцать лет после смерти...

1

Я никогда не видел живого Рубцова.

Его стихи впервые я прочитал уже после рубцовской смерти в сборнике «Сосен шум». Стихи поразили меня не только своей пронзительной лиричностью, но и тем гулом судьбы, что отчетливо различался в шуме рубцовских сосен...

Через несколько лет — еще в рукописи — мне довелось прочитать сборник воспоминаний о Рубцове.

В холодной комнате литеинститутской общаги, не отрываясь, от начала до конца проглотил я всю объемистую рукопись. Присутствовал тут и профессиональный интерес — я писал тогда литературную композицию по стихам Рубцова, — но больше было жутковатого узнавания.

Узнавалась все...

Тонущая в заснеженной грязи дорога на Вологду и заросший травой купол церкви...

Сырые питерские переулки и мрачные бараки Липина Бора...

Шумные московские пивные и темные омуты Толшмы...

И понятно было, что знание пейзажа и обстоятельств — из рубцовских стихов, но эта простая и такая очевидная мысль тут же исчезала, растворяясь в щемящем томительном узнавании.

Словно в омут, затягивало в рубцовскую судьбу.

Еще меня поразили разговоры, что велись тогда по поводу гибели Рубцова.



Поражало не столько даже обилие версий убийства, сколько отношение рассказчиков к самому Рубцову. У одних его гибель вызывала настоящую боль, другие оставались равнодушными, третьи говорили о смерти Рубцова с нескрываемой завистью.

— Повезло ему все-таки... — услышал я от одного довольно известного тогда поэта. — Сумел и тут устроиться... Теперь ему слава обеспечена...

Сказано было подло, но сейчас речь о другом.

Что бы ни говорили о Рубцове, всегда говорили как о живом, словно Рубцов только на минуту вышел из своей жизни, как обыкновенные люди выходят из комнаты...

При всем желании ощущения эти не отнести к разряду субъективных.

Точно так же, как и проблемы, с которыми сталкиваются биографы Рубцова, пытаясь описать его жизнь в хронологическом порядке.

Дело ведь тут не только в том, что Рубцов принципиально не ставил дат под своими стихами, являющимися основными событиями его жизни, и, разумеется, не в степени добросовестности самих биографов.

Нет! Факты и события жизни Рубцова, сколь бы тщательно мы ни исследовали их, как бы размываясь, начинают плыть...

Вот самый простой пример — сиротство Рубцова.

В своих стихах и почти во всех анкетах и биографиях Николай Рубцов утверждал, что Михаил Андрианович погиб на фронте: «Мать умерла. Отец ушел на фронт», «На войне отца убила пуля» и т.д., и т.п.

Вместе с тем, и мы показали это в предыдущих частях книги, совершенно точно известно,



что Михаил Андрианович благополучно пережил войну, по большей части работая в тылу на очень хлебной по военному времени должности начальника ОРСа железной дороги. Совершенно точно известно, что после детдома Рубцов неоднократно бывал у отца, встретился здесь с братом Альбертом, а в 1962 году приезжал на похороны Михаила Андриановича...

А вот другой пример — учеба Николая Рубцова зимой 1964—1965 годов в Литературном институте...

Конечно, можно открыть личное дело студента Рубцова и прочитать, что еще 26 июня 1964 года был издан приказ об отчислении Николая Михайловича из института, но — как это видно по письмам — ни сам Рубцов, ни руководитель творческого семинара, ни даже ректор института об этом не знают и полагают, что Рубцов лишь переведен на заочное отделение...

Точно так же обстоят дела и с комнатой на улице VI Армии в Вологде, полученной Рубцовым по ходатайству секретаря Вологодского обкома КПСС В.И.Другова. Многочисленные исследователи совершенно определенно доказали, что Рубцов перебирается в *свою* комнату, и прописка у него на улице VI Армии тоже постоянная, и комната, как и положено новоселовской жилплощади, пустая.

Но проходит несколько месяцев, и он вынужден бежать из этой комнаты, эта комната перестает быть *своей* для Рубцова.

Подобных порождаемых то равнодушным шелестом казенных бумаг, то воем метели, заметающей дороги, метаморфоз в жизни Рубцова не счесть.

Мы видим, что наряду с симпатиями и антипатиями могущественных покровителей и недоб-

рожелателей участвовали в жизни Рубцова и инфернальные, «уму непостижимые» силы, действия которых датировать невозможно, хотя бы уже потому, что прорываются эти силы при нахлестах будущего на прошлое...

2

А вот реальный пример наплыва прошлого на будущее, равноправного слияния их во времени, которое было для Рубцова будущим...

Весной 1990 года я жил в Доме творчества «Комарово», в номере рядом с номером Глеба Яковлевича Горбовского.

Горбовский дочитывал тогда корректуру книги «Остывшие следы», где среди всего прочего вспоминал и о своей дружбе с Николаем Рубцовым в бытность того кочегаром на Кировском заводе...

Только вот следы Рубцова на нашей земле еще не остыли, и Горбовский вспоминал в своей книге и о разговоре, состоявшемся у него с Федором Александровичем Абрамовым по поводу убийцы поэта...

Д. уже вышла тогда из заключения и, не добившись **понимания** в Вологде, решила поискать его в Питере.

— А скажи-ка мне, Глебушка... — спросил Абрамов. — То-само, как ты относишься к ней? Ну, которая Колю Рубцова порешила? Читал ты ее стихи?

— Читал, — ответил Горбовский. — Сложное у меня чувство ко всей этой трагедии, Федор Александрович. Понимаю, стихи у нее сильные. Густые... У нее ведь и книжка отдельная выходила.

— Вот и напиши ей рекомендацию. Для вступления в Союз писателей. Напишешь?

— Не напишу.

— Вот и я... не написал. Духу не хватило...



Такой вот был разговор.

Но этим он не кончился. Далее шли рассуждения об участии Д., часть которых воспроизводилась в диалоге, часть в ремарках к нему.

Подытоживая разговор, Федор Александрович Абрамов вспомнил о заповедях: «Не убий!» и «Не судите и не судимы будете!»...

И если до сих пор рассуждения не выходили, так сказать, за рамки системы общечеловеческих ценностей, то теперь, когда отчетливо обозначился подтекст разговора, весь разговор начал окрашиваться чувством вины перед убийцей поэта.

Как это произошло, что случилось?

Понятно, что совсем не обязательно было цитировать евангельские заповеди, решая дилемму: давать или не давать молодому литератору рекомендацию в Союз писателей. Произошло как бы незаметное, но принципиально важное изменение позиции.

Не заметить этого изменения было невозможно, но собеседники сделали вид, что не заметили.

Тут надобно сделать пояснение.

Мы еще не говорили, что все последние годы и в своих стихах, и в рассказах о Рубцове Людмила Д. пыталась создать образ этакой несчастной страдальцы, гонимой и преследуемой злобными недоброжелателями. И многие люди, то ли из деликатности, то ли из лени, не замечали, что это сама убийца поэта и изображает себя гонимой.

Разумеется, не каждый человек способен поддерживать дружеские отношения с убийцей вообще, а с убийцей гениального русского поэта в особенности. Но между отказом в дружбе и преследованием остается зазор, в который вполне



Если бы Д., вернувшись из заключения, взяла себе какой-то псевдоним и занялась — от своих способностей все равно никуда не спрячешься — литературной работой, не связанной **исключительно с убийством Рубцова**, то едва ли ее осудили бы за это.

Но ведь Д. не только писала стихи, самым непосредственным образом связанные с трагедией на улице Яшина, но и всем объявляла, что она та самая убийца Рубцова и есть. И получалось, что в литературу ей хочется войти именно **как убийце Рубцова**.

Разница тут весьма существенная. И применяемая к такой позиции евангельская заповедь обличается легализацией самого факта убийства.

И конечно же, все эти оттенки Глеб Горбовский различал.

Это ведь он написал: «Николай Рубцов — поэт долгожданный. Блок и Есенин были последними, кто очаровывал читающий мир поэзией — не-придуманной, органической. Полвека прошло в поиске, в изыске, в утверждении многих форм, а также истин... Время от времени в огромном хоре советской поэзии звучали голоса яркие, неповторимые. И все же — хотелось Рубцова. Требовалось. Кислородное голодание без его стихов — надвигалось».

И конечно, и как другу Рубцова, кричавшему когда-то в форточку «Я люблю тебя, Коля!», и как поэту, лучше других понимающему значение рубцовской поэзии, мудро отмолчаться в том тяжелом разговоре с Федором Александровичем Абрамовым Горбовскому было нельзя.

И все-таки отмолчался он, не произнес слов, которые по долгу друга Рубцова должен был произнести.



Но вернемся, однако, от «Остывших следов» к их автору.

Завершив вычитку корректуры, Глеб Яковлевич отвез ее в издательство, а вечером взял у меня посмотреть книгу «Видения на холме», только что выпущенную в «Советской России».

В этой книге Глеб Яковлевич и нашел адресованное ему, но так и не отправленное письмо Николая Михайловича Рубцова...

«И после этой, можно сказать, «сумасшедшей муты, — писал из 1965 года Рубцов, — после этой напряженной жизни, ей-богу, хорошо некоторое время побывать мне здесь, в этой скромной обстановке и среди этих хороших и плохих, но скромных, ни в чем не виноватых и **не замешанных пока ни в чем людей...**»

Кончалось же запоздавшее на четверть века письмо словами:

«Вологда — земля для меня священная, и на ней с особенной силой чувствую я себя и живым, и смертным».

И вот так получилось, что это запоздавшее письмо вроде как бы и не запоздало, а пришло к адресату вовремя.

Как-то погрустнел Глеб Яковлевич, сделался задумчиво-рассеянным.

Пару раз заводил со мной разговор о письме, дескать, вот, получил письмо...

Да... В книге прочитал... А ведь не знал про него, нет... Да, получается, что вот теперь, когда отдал в издательство вычитанную верстку книги, и пришло оно...

Может быть, если бы я знал о разговоре в «Остывших следах», отправленных в типографию, я и сумел бы поддержать беседу, но — увы! — «Остывших следов» я тогда еще не читал и не очень-то и



понимал, чем это смущен и озабочен Глеб Яковлевич, отчего сделался вдруг так печален и рассеян.

Кончилась эта печаль тем, что на следующий день Глеб Яковлевич Горбовский запил.

Запил после двадцатилетнего перерыва.

Пить, разумеется, нехорошо, но давно замечено, что многие без этого дела не то чтобы портятся, но так... в душе какая-то штучка заедать начинает. Так что не рискну судить, чего больше — вреда себе или пользы — приобрел Глеб Яковлевич Горбовский, покинув правильную жизнь.

С одной стороны, оказался он в результате на старости лет один, в комнатушке, в коммунальной квартире. А с другой стороны, так и ничего, живет, снова замечательные, как и в молодые годы, стихи пишет...

3

А вот другой, такой же *неостывший след* Рубцова...

Еще в конце восьмидесятых, работая в рубцовском фонде в архиве, наткнулся я на не отправленную Николаем Михайловичем телеграмму:

*«Вологда Ветошкина 103 квартира 32 Белову
Дорогой Белов Вася Ничего не понимаю прошу
прощения По-прежнему преклонением дружбой =
= Рубцов =*

Вологда. Проездам. Н. Рубцов».

Этот рубцовский автограф не воспроизводился до меня скорее всего потому, что он ничего не добавлял к достаточно хорошо известным фактам. О дружеских отношениях Рубцова с писателем Василием Ивановичем Беловым (по крайней мере со стороны Рубцова) и так было известно... Точно так же, как и о глубоком уважении к его творчеству.



Как это пишет биограф Рубцова Вячеслав Белков?

«...Между двумя земляками-писателями сложились тогда особо доверительные отношения. Хотя были, конечно, и размолвки (из-за мнительности Рубцова), споры. Однажды Василий Белов написал стихотворную пародию на Рубцова. В общем, все было».

Все понятно...

Если бы телеграмма хотя бы была датирована, то можно было бы кое-что уточнить в хронологии, но — увы! — дата на заполненном рубцовской рукой бланке отсутствует.

А без даты что ж?

Понятно, что, видимо, накануне выпившим был Николай Михайлович. Что-то сказал. Может быть, даже и сделал... Утром побежал на почту, написал на бланке текст извинения, но не отправил. Может, застеснялся. А может, и денег не нашлось.

И хотя за эти годы мне не раз доводилось встречаться с Беловым на различных собраниях, как-то даже и не приходило в голову рассказать о найденной телеграмме. Рассказал я про нее Василию Ивановичу в 1996 году на юбилейных торжествах в Вологде. Рассказал в качестве примера, как остро переживал Рубцов свои промахи.

Реакция Белова, признаться, удивила меня...

— А где эта телеграмма? — спросил он. — У вас?

— Как она может быть у меня, Василий Иванович?! — удивился я. — Она в ГАВО хранится. Фонд пятьдесят первый. Опись номер один. Дело триста восемьдесят три...

— Ну, да... Да... — сказал Василий Иванович и, как мне показалось, немного погрустнел.

Потом разговор за столом перешел на другую тему, и только, возвращаясь в гостиницу, сообразил

я, что в самом буквальном смысле побывал сегодня почтальоном. Прямо на квартиру адресата принес отправленную Рубцовым телеграмму...

И похоже, похоже было — пусть уж простит меня Василий Иванович за это предположение! — хотя и задержалась телеграмма в пути, но для адресата значения своего не утратила.

Похоже было, что почему-то очень важным оказалось для него это известие.

4

То, о чем пишу я, испытывали и другие люди, прикасавшиеся к ***неостывшим следам*** Николая Михайловича Рубцова.

Дочь Александра Яшина — Наталья, сопровождая публикацию¹ писем Николая Рубцова отцу, пишет:

«Перечитывая письма Николая Рубцова к моему отцу Александру Яшину, я переживала за обоих так, словно один только написал их, а другой только что получил. И я обращаюсь к Рубцову, как к близкому, давно знакомому:

Дорогой Николай Михайлович! Только что (так случилось) я получила Ваши письма, написанные моему отцу, и мне хочется Вам ответить...

Все мы живем и знаем, что после смерти письма некоторых людей будут нужны всем, и Вы сами читали письма любимого вами Тютчева, но писали все равно лично тому или другому человеку, не думая об издании их. Так бывает при жизни, но когда человек уходит — все меняется. И теперь все получат Ваши письма. Они как весточка от Вас — утешение, и скорбь, — что вас нет...

¹ «Наш современник», № 7, 1988.

Рубцов умер и давно (столько всего случилось за это время), и совсем недавно, многие помнят его... Совсем недавно, а уже стихи его разыскиваются, легенды о нем слагаются, словно он жил не пятнадцать лет тому назад, а сто пятьдесят или еще раньше, когда по крошечным отдельным сведениям воссоздают облик и обстановку жизни поэта. А может быть, всегда так бывает: жив человек — все цело, в его руках, умер, и все рассыпается, все искать надо... Но и собирается какой-то другой облик. Забывается все неприглядное, очищается, хочется только стихи читать, а вернишь человек — и опять трудности вернутся... Наверное, и в воспоминаниях человек встает более светлым, потому что наша недоброта, эгоизм, суеверность, заземленность мешали видеть в нем при жизни свет и красоту его. И всегда укором будут стихи Рубцова: вот я какой, а вы не заметили, а вы разделили во мне человека и поэта, а это одно целое во мне — неделимое...»

Трудно не согласиться с этими словами Натальи Александровны Яшиной.

Да... Недоброта, эгоизм, суеверность, заземленность зачастую мешали многим друзьям и близким поэта видеть в нем при жизни свет и красоту его.

Но главное тут все же о письмах Рубцова, которые и сейчас, многие годы спустя, как весточка от него — утешение, и скорбь, — что его, Рубцова, нет.

Странно, но и сейчас, десятилетия спустя, доходят рубцовские письма до своих адресатов и участуют в их жизни так, как будто и не было страшной январской ночи 1971 года и Николай Рубцов продолжает оставаться между живыми...

Помню, что очень остро я ощутил это, когда разговаривал в Николе с Генриеттой Михайловной

Меньшиковой, женщиной, у которой, как говорил Рубцов, жила его дочь Лена...

Пожалуй, ни одной из женщин не причинил Николай Михайлович столько огорчений и неприятностей, как Генриетте Михайловне, и уж наверняка ни одна из женщин не ждала его так спокойно и терпеливо:

Иногда она приезжала в Вологду, иногда Рубцов приезжал в Николу. В последние годы Генриетта Михайловна уже ничего не требовала от Рубцова, ни о чем не просила.

Когда Рубцова убили, из Союза писателей пришла телеграмма: «Скоропостижно скончался». Генриетта Михайловна приехала на похороны, потом приезжала на суд, потом — по настоянию вологодских писателей — увезла в Николу письменный стол Рубцова.

Несколько лет он стоял у нее в доме, затем Генриетта Михайловна передала его в музей, а сама продолжала работать в совхозе.

Когда мы встретились, Генриетта Михайловна только что вернулась с молокозавода, где она работала... От одежды резко пахло молоком, и запах поначалу мешал, путал разговор.

А поговорить хотелось о Рубцове, о том, как создавались в Николе его стихи, ну и, конечно, о взаимоотношениях с самой Генриеттой Михайловной...

Я торопливо записывал рассказы Генриетты Михайловны о ее жизни с Рубцовым, и в памяти все звучали и звучали слова рубцовской «Прощальной песни».

Так зачем же, прищурив ресницы,
У глухого болотного пня
Спелой клюквой, как добрую птицу,
Ты с ладони кормила меня.

Слышишь, ветер шумит по сараю?
 Слышишь, дочка смеется во сне?
 Может, ангелы с нею играют
 И под небо уносятся с ней...

Не грусти! На знобящем причале
 Парохода весною не жди!
 Лучше выпьем давай на прощанье
 За недолгую нежность в груди.

Мы с тобою как разные птицы!
 Что ж нам ждать на одном берегу?
 Может быть, я смогу возвратиться,
 Может быть, никогда не смогу...

У этого стихотворения нет и никогда не было посвящения...

И вместе с тем женщина, к которой обращается герой стихотворения, определяется точнее и очевиднее, чем в любом другом стихотворении Николая Рубцова...

С беспощадной и совсем не лирической точностью вписаны здесь и все перипетии романа Николая Михайловича с Генриеттой Михайловной. Целомудрие горькой правды и делает это стихотворение шедевром русской любовной лирики.

*Ты не знаешь, как ночью по тропам
 За спину, куда ни пойду,
 Чей-то злой, настигающий топот
 Все мне слышится, точно в бреду... —*

говорил Рубцов, и, слушая рассказы Генриетты Михайловны, я ясно различал рубцовский голос и понимал, что она действительно не слышала, не различала зловещего топота, раздающегося за спиной Рубцова.

И не потому, что не хотела услышать, а потому, что не могла.

Впрочем, мистической окрашенности судьбы Рубцова не различала Генриетта Михайловна и после смерти Николая Михайловича.

И порою поражало даже, насколько искренне и честно было ее непонимание.

Ни разу за всю беседу Генриетта Михайловна не попыталась сделать вида, что понимает, не попытала изобразить понимания.

Подобная негибкость, разумеется, не самое приятное качество в спутнике жизни, но, с другой стороны, только так, не замечая **злого настигающего топота**, и можно было бы одолеть страшные и темные силы, что преследовали поэта на его жизненном пути.

И тут, конечно, не Генриетта Михайловна виновата, что Рубцов все равно не мог не замечать, не слышать «чудных голосов», льющихся из лесной гущи...

Да и не желал ведь Рубцов обретать спасительную глухоту.

5

Оставшиеся до отъезда из Никольского часы я просидел на берегу Толшмы у развалин церкви, где некогда любил сидеть и Николай Михайлович Рубцов.

Не знаю почему, но рядом с этими развалинами вспоминались не те стихи Рубцова, что писал он о разрушенных белых церквях, о лежащих под горой развалинах собора, а совсем другие, написанные им незадолго до смерти...

Сколько было здесь чудес,
На земле святой и древней,
Помнит только темный лес!
Он сегодня что-то дремлет...

Эти стихи, наверное, о самом сложном. О смысле творчества, о назначении поэта в Божьем мире...

Душа Николая Михайловича Рубцова тосковала о забытых чудесах святой и древней земли.

Эту мысль снова и снова повторял он в стихах...

А сколько там было щемящих
Всех радостей, болей, чудес,
Лишь помнят зеленые чащи
Да темный еловый лес!

Это последняя строфа стихотворения «Что вспомню я?». А начинается оно со ставшего привычным для зрелого Рубцова предоощущения близкой смерти:

Все движется к темному устью,
Когда я очнусь на краю,
Наверное, с резкою грустью
Я родину вспомню свою.

В античном мире считалось, что существует особая разновидность богов, называемых *гениями*. Гении опекали не только семьи, но и целые города, местности, страны. Жители Рима, к примеру, скрывали имя Гения своего города, чтобы жители других городов не переманили его к себе.

Естественно, что у православного человека эти наивные языческие представления могут вызвать лишь улыбку. Тем не менее некую параллель мы наблюдаем и в самом православии.

В православной традиции епархиальный архиерей «есть, как ангел для своей епархии. Ангелы посыпаются за хотящих наследовать спасение, и он поставлен Духом Святым служить спасению целой епархии... через епархиального архиерея продолжается в епархии ток священнической благодати».

Один знакомый священник рассказывал мне, что после кончины митрополита Санкт-Петер-

бургского и Ладожского Иоанна как будто бы и воздух изменился в епархии, служить в церкви стало как-то иначе...

Советское внецерковное, усвоенное через культуру и язык «православие», может быть, и ощущало присутствие «чудес на земле святой и древней», но увидеть их и узнать не могло, ибо помрачалось само зрение.

Быть может, если бы Рубцов был прозаиком или имел в городе семью, необузданная энергия, бушевавшая в нем, съедалась бы в постоянной работе, в житейских заботах.

Но — увы! — энергия Рубцова оставалась невостребованной, и, замутненная, она прорывалась порою, материализуясь в фантомы пьяных выдумок.

Протрезвев, судя по воспоминаниям, Рубцов стихал, стыдился своего пьяного безобразия, становился нежен и ласков, легко просил извинения и получал его, был извиняем, отчасти по тому свойству русского характера, которое всегда позволяет сохранять надежду и мгновенно забывать о неприятностях, едва только замерзает свет надежды.

По этому же свойству русского характера, рассказываясь, Рубцов и сам прощал себя, понимая, что не согрешишь — не пokaешься, догадываясь в глубине души, что и не было бы без погружения в черноту той жажды, той неутолимой тоски по небесному свету, что заполняет его стихи.

И с годами развивалось в Рубцове столь своеобразное стремление русского человека все время снова и снова испытывать себя.

Это свойство проявилось еще в юности, во времена учебы в Тотемском лесотехникуме, когда, пробравшись в полуразрушенный храм, взбирался Рубцов на карниз и шел по нему на головокружительной высоте. В одном месте карниз был про-

ломлен, и нужно было перепрыгивать через пролом.

Но это мальчишечные испытания.

Теперь, будучи взрослым, он испытывал не столько свою смелость и ловкость, а саму душу. И, как положено в таких случаях, все ограничения и барьеры, отчасти под воздействием алкоголя, снимались.

Однажды Вадим Валерианович Кожинов встретил Николая Рубцова в ЦДЛ. Случилось это в конце шестидесятых, когда Николай Михайлович уже вступил в Союз писателей и обзавелся писательским билетом. Поэтому его и пропустили в ЦДЛ, хотя одет он был весьма неподходяще. Истрапавшийся пиджачок, на ногах — болели ноги! — опорки.

— Пошли! — Николай Михайлович схватил Кожинова за рукав. — Выпьем...

— Я не при деньгах... — попробовал было отвертеться Вадим Валерианович.

— Я угощаю... — сказал Рубцов. — Гонорар получил за книжку.

По закону невезения все боковые столики в ресторане оказались заняты, и пришлось устраиватьсяся посреди зала, на виду у всех.

Далее, в полном соответствии с цедээловскими обычаями, едва появилась на столике водка, начали подходить знакомые. Рубцов достаточно вежливо объяснял им, что ему необходимо побеседовать с Кожиновым наедине, и это объяснение вполне удовлетворяло знакомых. Может быть, они и обижались, но виду не показывали.

Обиделся только подошедший к столику подвыпивший кавказский поэт.



— Эх, Колька-Колька... — укоризненно сказал он. — А я тэбэ столько раз угощал!

В принципе, ничего страшного не произошло — обычный разговор подвыпивших людей. Рубцову достаточно было презрительно пожать плечами, усмехнуться...

Вместо этого он обиделся.

И обиделся всерьез.

И, может, потому и обиделся, что в укоризне кавказца содержалась изрядная доля правды. Не раз ведь «угощался» Рубцов в ЦДЛ, и далеко не всегда при этом имелись у него деньги на выпивку...

И вот вместо того, чтобы смягчить ситуацию или просто не рассыпать укоризны, Рубцов — как это он часто делал! — сыграл на обострение.

— Так ты считаешь, что теперь я тебя обязан угощать?! — вскричал он и, выхватив из кармана пачку денег — Рубцов действительно получил в тот день расчет за свою книжку, — швырнул ее в лицо кавказцу.

Разлетевшись, деньги рассыпались по полу.

Кавказский поэт бросился на Рубцова.

Вадиму Валериановичу Кожинову с помощью официанта с трудом удалось оттащить его.

Напомним, что разыгралась эта сцена посреди ресторанных зала, и полюбоваться ею могли все. И понятно, что Кожинову захотелось побыстрее покинуть ресторан. Он сказал об этом Рубцову, но Николай Михайлович запротестовал.

— Нам же еще за столик расплатиться надо... — проговорил он. — Как же мы так убежим не расплатившись.

В этом месте повествования Вадим Валерианович всегда совершенно резонно замечал, что это был тот редчайший случай, когда официанты только довольны были бы, что посетители ушли не

расплатившись, — вокруг столика была рассыпана весьма приличная сумма денег.

Тем не менее снова сели за столик.

Выпили еще по рюмке водки.

Из-за соседних столиков с нескрываемым интересом следили, ожидая дальнейшего развития событий.

Альтернатива, как поясняет Кожинов, была.

Можно было встать и уйти, оставив деньги разбросанными по полу. Так сказать, кавказский вариант сюжета...

Можно было пойти и по другому пути — просто и деловито собрать деньги. Конечно, снижение драматургии ситуации с кавказских высот до греческого асфальта столицы вызвало бы снисходительные усмешки зрителей, но в конце концов дело-то житейское, именно так большинство зрителей и поступило бы...

Рубцов нашел другой путь...

Вадим Валерианович вдруг увидел, как Рубцов начал медленно сползать со стула.

Но не упал. Встав на четвереньки, он начал ползать вокруг стола, собирая разбросанные деньги. Брюки его задрались, и теперь уже каждый мог разглядеть рубцовские опорки...

Со свойственным человеку, выросшему в интеллигентной московской семье, пониманием народного характера Вадим Валерианович Кожинов трактовал поступок Рубцова почти в традициях святоотеческой литературы.

Дескать, после вспышки ярости Рубцов тут же и раскаялся и, раскаявшись, реализовал раскаяние в жизни. Его хотели видеть униженным — и он унизился таким вот самым непотребным образом, в запредельной униженности обретая величие.

Разумеется, объяснить поведение Рубцова можно и не прибегая к святоотеческим реминисценциям. Достаточно вспомнить ужасающую нищету жизни Рубцова, чтобы понять, что сожалел он не только о своем поступке, а все-таки и о деньгах. Ведь не просто деньги были рассыпаны по полу, а месяцы и годы его жизни, его творчества...

И понятным становится, какую обжигающую ненависть должен был испытывать Рубцов к всегдастяям цедээловского ресторана, по сути дела, спровоцировавшим его своим презрительным вниманием на необдуманный поступок.

И все равно...

Какие бы объяснения ни придумывали мы, эти объяснения не способны ничего объяснить в состоянии поэта, когда только и остается, что сунуть морду в полынью и напиться, подобно зверю вечернему...

И — увы! — никакие изощренные объяснения не способны соединить этого Рубцова с автором «Прощальной песни».

Они несоединимы, как полюса магнита, и опять же, как полюса магнита, не существуют друг без друга...

В испытаниях, которым подвергала его черная, врывающаяся в него в городе сила, Рубцова спасало только отношение к этому испытанию себя как к игре.

Испытания эти каким-то удивительным образом не превращались в жизнь, и жизнь текла своим обычным порядком. Вернее, это Рубцову казалось, что жизнь продолжает идти своим обычным порядком, едва он прекращает игру в испытания.

Рубцов и на самом деле, даже в состоянии опьянения, мог прекратить злую игру, но он забывал, а возможно, и не мог вообразить, что окружающи-

ми его людьми игра воспринята слишком всерьез и они уже не могут выйти из нее без ущерба для себя...

Наверное, так и было... Ведь даже страшная ночь 18 января 1971 года тоже начиналась с игры в испытания.

В стихотворении «Что вспомню я?» Рубцов сказал, о чем он будет вспоминать ***на краю*** жизни...

Что вспомню я?
Черные бани
По склонам крутых берегов,
Как пели обозные сани
В безмолвии лунных снегов.

Как тихо суслоны пшеницы
В полях покидала заря,
И грустные, грустные птицы
Кричали в конце сентября.

И нехотя так на суслоны
Садились, клевали зерно, —
Что зерна? Усталым и сонным,
Им было уже все равно...

Перекличка этих строф с «Прощальной песней», где любимая, прищурив ресницы, у глухого болотного пня спелой клюквой, как добрую птицу, кормит героя стихотворения, очевидна.

И зная сейчас, что благодаря своей необыкновенной проницательности предвидел Николай Михайлович Рубцов вспомнить ***на краю***, можно отгадать и то, к кому или к чему обращены были его последние слова и почему только сама убийца и услышала в них свое имя...

Я помню, как с дальнего моря
Матроса примчал грузовик,
Как в бане повесился с горя
Какой-то пропащий мужик...

6

Я уже говорил, что никогда не встречался с Рубцовым, но, начиная работать над книгой «Путник на краю поля», часто видел его в снах. И сны эти всегда начинались со смутного и тревожного ощущения предстоящей потери...

Во сне не нужно разговаривать.

Во сне видишь чужие мысли, видишь пространство вечернего, затянутого дождевыми сумерками поля, видишь, как кого-то выносят из общежитской драки, спасают, выручают...

Видишь и самого спасателя — человека с широким, уверенно-добрый лицом — такие лица бывают только у очень сильных, у безусловно увереных в своей правоте людей, — лицом, которое от выпитого вина становится еще шире и добре.

Этот человек добродушно улыбается и не обращает внимания, как судорожно дергается на его плече спасаемый им человек. Не замечает, убаюканный своей добротой, как больно и безжалостно бьет по лицу «спасенного» им поэта чернявый паренек, выющийся позади злую осой...

А «спасенному» поэту даже и отвернуться невозможно, и лицо не прикрыть, потому что руки зажаты рукою спасателя — человека с таким уверенно-добрый лицом.

И только струйкой бежит из разбитого носа кровь, и я вижу это, но — так всегда бывает во сне — не могу закричать, исчез голос, исчезает пространство, затянутое сырватой полутьмой осеннего поля, в которой уже невозможно различить ни пути, ни самого себя. И только знобящим, сырым сквознячком доносятся в сон чьи-то слова, обрывки каких-то разговоров...

— Да для нас-то, братцы, и Россия не Россия

ведь... Нам хорошо, вот и она, значит, хороша... А есть ведь и другая, братцы вы мои, Россия. Такая, что плакать хочется... Да-да! Выйти осенней ночью за село и заплакать, как волку завыть, братцы вы мои...

И какой-то неясный шум — то ли чавканье сырой земли под ногами, то ли бульканье разливающейся водки...

А потом снова:

— Ну, вот... Ну, видишь... Выпил, и хорошо... Закуси, закуси теперь икорочкой... Все хорошо, все отлично, братья вы мои, будет! А разволновались-то... Разволновались-то...

И снова возникает во сне Рубцов.

Он идет рядом, но темно и неясно его лицо, и я не знаю, слышит ли он доносящиеся в сон голоса...

А мне кажется, что я узнаю их.

Узнаю голос такого сильного, такого доброго человека, широкое лицо которого, когда он выпивал, становилось только еще шире и добре от выпитой водки... Сколько раз я сидел за одним столиком с ним и, слушая его, завидовал умению не стесняться, делать то, что считаешь нужным делать.

И каждый раз, глядя на него, хотелось покаяться мне, что вот, дескать, ведь и добрые мы, и умные по-своему, но стесняемся говорить, потому что не принято так говорить, стесняемся и жить, потому что не принято так жить. И только украдкой как-то и вспоминаем себя, вспомним и спрячем подальше от чужих глаз...

Да что чужих?!

Сами от себя прячемся на всякий случай...

И только в деревне да вот здесь, на краю поля, на краю жизни, и вспоминаем главное, что нужно было помнить всегда.

И уже непонятно во сне, чьи это голоса...

Неразличимо лицо человека, с которым иду по темному осеннему полю. Просто знаешь (так всегда бывает во сне), что рядом — Рубцов. Знаешь, что, когда живешь не слушая самого себя, можно пропустить, не заметить свою смерть. А смерть этого не прощает никому...

Но даже во сне отчаянно страшно, когда убивают...

Странные чувства вызывает во мне сборник Людмилы Д. «Крушина»...

Откровенная пошлость: «Когда глаза мои шалят, намеренно волнуя плоть мужскую...», хитроватая расчетливость: «Какие бы характеристики вы ни давали мне, глумясь, все зеленей легенды листики, все удивительнее вязь. Судьбы из тайного и явного, где тень и свет переплелись, загадка монстра своеенравного и *роль изгоя* удались...» — мешается в этом сборнике с действительно искренними и невеселыми прозрениями:

Так, значит, в молчании сила?
Без стона свой крест пронести
и дар, что в себе затаила,
в загадку судьбы возвести...

Порою Д. самоупиваетя мрачной безвыходностью своего положения:

Опора лишь в самой себе,
в своем немыслимом позоре,
в своей немыслимой судьбе...

Порою начинает жаловаться, плакаться на свою горькую долюшку:

Лишите и хлеба и крова,
утешусь немногим в пути.
Но слово, насущное слово
дайте произнести!

И тут неважно, конечно, что ни хлеба, ни крова никто не пытался лишить Д.

Напротив...

По сравнению с другими преступниками, совершившими, как и она, убийство, ее дела устроились очень даже неплохо. Освободившись по амнистии в Год женщины, Д. сумела — а с ее статьей тогда это было очень непросто! — устроиться в Ленинграде. Причем не на тяжелой лимитной работе, а по прежней, библиотечной, специальности...

Но, повторяю, это не так уж и важно. Поэтесса готова утешиться немногим, а *немногое* — категория, как известно, чрезвычайно субъективная. И тут уж лучше сразу заняться «насущным словом», *право* произнести которое и отстаивает она:

Заройте, как женку Агриппу,
на площади в Вологде, но
души моей грустную скрипку
не затоптать все равно!

На первый взгляд кажется, что эта строфа повторяет, так сказать, перепевает содержание первой. Но если приглядеться внимательнее, то замечаешь, что движение происходит, и весьма существенное. Мотив покаяния как-то незаметно трансформируется в созерцание себя кающейся.

Ненавязчиво, но очень твердо и отчетливо подчеркнута и скромная красота души поэтессы — «души моей грустную скрипку», и мученический венец, сияние которого различает она над своей головой.

И после этого совсем уж нетрудно перейти от покаяния к обличению. Нормальному человеку,

Зачем же стараетесь всуе,
какая вам в том корысть
и трепетную и живую
душу мою зарыть
спокойно, упорно, умело,
согласно чинам и уму?
Зачем оставляете тело?
Оно без души ни к чему!

Здесь очень важна последовательность состояний.

Когда Д. сравнивала себя с Агриппой, речь шла вроде бы о том, что души ее грустную скрипку не затоптать все равно.

И вот, пожалуйста, в целых двух строфах поэтессы изображает нам, как ее незатаптываемую душу все-таки затаптывают. И как бы — поэтессы, во всяком случае, ощущает это! — нехорошим людям удается затоптать ее душу. Зачем же иначе срываться на крик: «Зачем оставляете тело? Оно без души ни к чему!»? Противоречие очевидное, но для Д., для последующего развития ее мысли, совершенно необходимое.

Противоречие это позволяет перейти к прямой антитезе своего греха:

От боли мне нет исцеленья,
вину свою ввек не простить... —

и греха, совершающегося против нее:

но нет тяжелей преступленья,
чем по миру тело пустить.

С последним утверждением трудно не согласиться, но прежде чем сделать это, отметим, что поэтические опыты Д. прямо-таки напичканы шульерскими приемами.

Вот и тут...

Даже если и допустить, что по свойственному Д. состраданию к самой себе она ощущает настороженность и нежелание общаться с нею людей как затаптывание своей души, то все равно ведь *этот грех* пока лишь *совершаемый*.

Ее же грех — грех реальный, грех *совершенный*.

А дальше — неуловимое движение рук, и вместе шестерки на столе оказывается туз! — исчезает куда-то и сослагательное наклонение, и весь стих заполняется уже ясным, зримым образом этакого нового Франкенштейна, в которого превратили поэтессу затоптившие ее душу люди.

Душегубство — страшный грех.

В православной России душегубами называли убийц, лишивших свои жертвы не только жизни, но и предсмертного причастия и тем самым поставивших души своих жертв в сложное положение — на Суд, против своей воли, они должны явиться нераскаянными.

В остальных случаях слово «душа» и «гибель», как правило, сопрягались в православной традиции через местоимение «свой». Если чужую душу человеку погубить весьма затруднительно, то свою погубить очень легко.

Д. и это как бы неведомо.

Личный опыт (она загубила чужую душу) Д. распространяет на всех недостаточно доброжелательно относящихся к ней людей. Она называет их душегубами и искренне верит в это. И проливает слезы над собой, несчастной, душу которой пытаются загубить:

Как будто печальная тризна,
поминки самой о себе.
Как страшно!

Страшно...

Но еще страшнее, что это не вызывает раскаяния, а обращается в обвинения окружающих, в защиту самой себя. Финальные строки — как вспышка ярости, торжества:

Но я ведь любима была
и любима сейчас,
поэтому неуязвима,
неуязвима для вас!

Еще более, так сказать, документально антитеза себя, «невинной убийцы», и преступных обвинителей реализована Д. в стихотворении «Суд».

На суде, как известно, Д. твердила, что задушила Рубцова, защищая свою жизнь от посягательств злобного маньяка-изувера. Со слезами на глазах рассказывала она о **зажженных** спичках, которыми бросал в нее Рубцов (о том, что ни одна спичка не долетела до нее, она естественно умолчала).

— А почему спичек не нашли на полу? — спросил судья.

— Я подмела пол, когда задушила его... — ответила Д.

И снова принялась рассказывать, как Рубцов сорвал с нее одеяло и открыл балконную дверь, чтобы простудить ее...

— Вы говорили, что, защищаясь, укусили его за руку? — роясь в бумагах, спросил судья.

— Да...

— Но при осмотре трупа Рубцова никаких следов укуса не обнаружено...

Мы приводим эти кусочки судебных диалогов, потому что в полемике с этим судебным расследованием и возникло стихотворение «Суд».

Судья Ю.С. Гавриков изображен у Д. «злобным маленьким гномиком», который тщится что-то

понять и не может сделать этого в силу своей умственной ограниченности.

Внезапно строя вопросы,
как из-за угла нападал,
и глаза сворачивал к носу,
в ответах узрев криминал.

Портрет нарисован, что и говорить, не слишком лестный. Зато в автопортрете Д. уже не пользуется шаржевой техникой, тут никакой карикатурности нет, все монументально, пронзительно-лирично...

Я, в горе своем замыкаюсь,
как в шаль, завернулась в позор.

Автопортрет особенно выигрывает на фоне судьи, который «властью своей упиваясь, **злорадно** (подчеркнуто мной. — Н.К.) прочел приговор», на фоне «толпы», издающей «торжествующий вой». Избранная на автопортрете поза настолько комфортна для Д. (какой же, интересно, позор ощущала Д. на суде, если легко обращала его в шаль, которой можно укрыться, в которой можно прятаться?), что она не замечает прорывающихся помимо ее воли ноток этакого блатного, слезливого сочувствия к самой себе.

Увы... Все здесь — только блатная поза.

Совсем и не собирается Д. замыкаться в горе, наружное смирение необходимо, чтобы изготовиться к неожиданному прыжку на обидчиков:

В тюрьму? О, как скучно и длинно
гудит этот весь балаган!
В тюрьму? Ну, а если невинна,
как в гневе своем ураган?!

Самооправдание полное и безоговорочное...



Ну, какие, спрашивается, могут быть предъявлены ей обвинения, если она — сама стихия, вершащая приговор высших сил?

Вообще, стремление противопоставить себя обществу, подчеркнуть свою неподвластную человеческим законам суть так или иначе прорывается и в других стихах Д.

Закон суров, но это есть закон,
а я древнее всякого закона.

Супорством, переходящим в назойливость, снова и снова подчеркивает Д свою как бы и не совсем человеческую суть:

Всем страхом своим, всей жутью,
Всем мраком к тебе тянуся.

Или: «Я, рожденная в полночь...», или «В меня вторгся неведомый дух», «Мне лишь одно известно, что хитрый бес вошел в мое ребро».

Порою Д., как бы приглядываясь к себе, замечает в себе *нечеловеческое*:

Мои поступки так странны,
мой путь так неразумно вьется,
и дух бунтарский сатаны
во мне, как прежде, остается,

порою — «Ладья, вперед! Хоть к Люциферу» — в порыве дерзкой удали стремится она вырваться в *запределное*, но она всегда думает об этом, всегда соотносит себя с силами мрака, постоянно ощущает себя частью этих сил.

Разумеется, если бы за спиной Д. стояла другая судьба, к ее признаниям можно было бы отнестись с долей скептицизма, зачислив их на счет той столь характерной для небольших поэтов кокетливости, когда авторы готовы приписать себе какие угодно



пороки, нацепить какие угодно демонические побрякушки, лишь бы оказаться замеченными в общей массе стихотворцев.

Но судьба Д. — не выдуманная судьба, тьма и мрак ее — настоящие.

И спасительный скептицизм здесь уже не срабатывает.

Читаешь ее стихи, и в какой-то момент (недаром покойный Виктор Коротаев различал в стихах Д. «медвежий рык») становится действительно страшно. Происходит это, когда понимаешь вдруг, что это, в общем-то, и не совсем стихи.

Приемы художественной условности, отделяющие автора от героев и в результате позволяющие автору осмысливать их поступки и признания, в стихах Д. сведены к минимуму и порою совсем отсутствуют. Ее стихи — только лишь ритмически контролируемый поток самовыражения.

7

Нечто подобное испытал я, читая в Калужской прокуратуре дневники Николая Аверина, человека, совершившего в пасхальную ночь, 18 апреля 1993 года, убийство трех иноков в Оптиной пустыни. Он называл себя «братьем Сатаны» и убийство совершил кинжалом с выгравированными на лезвии тремя шестерками.

В дневнике Николай Аверин спокойно повествовал, как постепенно, шаг за шагом, происходило совращение его, пока — это слова, записанные в дневнике, — он не превратился в человека, которого вселившемуся в него *голосу* стало легко вызвать в любой момент, «как по рации».

Как и от стихов Д., от дневника Аверина тянуло чернотой преисподней, но, право же, еще страш-



нее было слышать звонкий, замирающий от восторга голосок молоденькой экскурсоводши, перечислявшей, сколькими видами восточных единоборств владел Аверин. Для этой экскурсоводши, как и для экскурсантов, столпившихся у помоста звонницы, на котором белели свежие, вставленные вместо обагренных кровью иноков доски, Аверин был, кажется, почти героем, примером, достойным подражания.

Разумеется, ни сами туристы, ни восторженная экскурсоводша не были ни злодеями, ни сатанистами.

Другое дело, что эти люди не научились различать Свет и тьму, Добро и зло...

Другое дело, что замороченными душами этих людей Сатана смог бы так же легко завладеть, как и душой Аверина, и превратить этих людей в свое слепое орудие.

Последним словом убитого Авериным инока Трофима было слово «Спасите!»

— Спасите... — произнес он и, привстав, еще раз ударил в колокол, а потом упал навзничь уже бездыханный.

И думаешь: **о ком и о чем** было последнее слово убиенного инока. Ему ли, знающему, что умерший в светлую седмицу, минуя воздушные мытарства, восходит, как безгрешный, прямо к Богу, хлопотать о своем спасении? Ему ли, сподобившемуся мученического христианского венца в пресветлый праздник, хлопотать о спасении в земной жизни?

Так может, не о себе и были последние слова Трофима, а о нас, о спасении тех, кто может погибнуть и не спастись, кто готов по слепоте своей погибнуть и не спастись?

Наверное, это так.

Мы все, все наше общество оказалось беззащит-

ным перед той аморальностью и вседозволенностью, которую так долго культивировала идеология шестидесятничества и которая мощным потоком хлынула в нашу жизнь во времена перестройки. И тут только и остается повторить слова инока Трофима, просившего за всех нас: «Спасите!»

Ибо в пасхальную ночь рассеянное в нашей жизни зло — та дьявольщина и сатанизм, к которым мы как бы уже и привыкли и в литературе, и в жизни, — сгустилось до черноты, материализовалось в страшное сатанинское действие.

Не хочется проводить параллель между Д. и Авериным, но эта параллель напрашивается. Точно так же, как Аверин совершает ритуальное убийство в пасхальную ночь, она совершает преступление в ночь Богоявления Господня.

Совпадают даже минуты...

Д. в своих стихах сама проводит параллель между убийством гениального русского поэта, сумевшего заговорить в своих стихах, заплакать слезами России, запеть ее голосом, зазвенеть ее эхом, и убийством трех оптинских иноков в пасхальную ночь.

Когда-нибудь в пылу азарта
взвьюсь я ведьмой из трубы
и перепугаю все карты
твоей блистательной судьбы! —

писала она.

Я не знаю, может быть, эти стихи обращены и не к Рубцову¹, но даже если это и так, это ничего не меняет.

¹ Д. в своих воспоминания утверждает, что Рубцов писал отзыв на ее рукопись, в которой было и это стихотворение. «Это уже другая песня, — якобы писал в этом отзыве Рубцов. — Но здесь тоже выражена правда чувств, правда большой и сложной судьбы. Попутно можно сделать и замечание. Д. в такого рода стихах иногда чрезмерно нагнетает страсти...»



Все творчество Д. — вот оно посрамление нерумеренной гордыни! — только материал к его биографии. Смерть Рубцова выожена на всем, что бы ни делала Д., и даже если и хотелось ей адресовать свои стихи кому-то другому, все равно они получаются о Рубцове...

Спутать карты и жизненной и посмертной судьбы Николая Михайловича Рубцова Д., разумеется, не удалось и никогда не удастся, потому что не на цыганкиных картах раскладывалась судьба великого русского поэта...

Но насчет стремления спутать судьбу — Д. права.

Стремление было.

Поскольку речь у нас дальше пойдет о том, что в полуатеистическом обществе принято называть мистикой, мы будем строго придерживаться фактов.

20 апреля 1963 года родилась Лена, дочка Рубцова и Генриетты Михайловны Меньшиковой. Лену Николай Михайлович всегда любил, никогда не забывал, всегда желал ей только счастья.

«Желаю тебе вырасти хорошей и счастливой», — написал Рубцов на книжке Василия Белова, подаренной дочери на день рождения.

Лена для Николая Михайловича всегда была светлым лучиком в многотрудной жизни.

Лену ожидал Николай Михайлович и на свой последний Новый год. Но тогда Генриетта Михайловна не смогла привезти дочь — замело метелью дороги, и не удалось выбраться из Николы. Так и осталась ненаряженной приготовленная для дочери елка.

И **спустя две недели** Рубцова убили...

Так вот, со своей убийцей Рубцов познакомился в 1963 году, тоже *спустя* примерно *две недели* после рождения Лены.

И еще две даты.

В начале июня 1969 года Николай Михайлович Рубцов после долгих мытарств, после десятилетий бездомности и неустроенности наконец-то получил *свою* квартирку. Однокомнатную «хрущобу» на улице Яшина, в которой вскоре и убьют его...

Мы уже говорили, что у Николая Михайловича Рубцова, похоже, появлялись тогда какие-то мысли насчет того, чтобы устроить свою совместную жизнь с Леной, а значит, и с Генриеттой Михайловной. Впрочем, если эти мысли и были, сбыться им было не суждено.

Ровно *через две недели* в квартиру Рубцова позвонит его будущая убийца.

Разумеется, это только совпадения.

Разумеется, сама Д. и не догадывалась о них.

Но как зловеще схожа с отлаженным часовым механизмом точность этих случайных совпадений.

ЭПИЛОГ

Белый свет поэзии Рубцова

Великому русскому поэту Николаю Рубцову, когда его убили, было всего 35 лет.

Прошло еще 35 лет, и убили его внука — 16-летнего Колю Рубцова...

Случилось это 15 октября, на городской окраине Санкт-Петербурга, где мальчика сбросили с девятого этажа дома № 40 по улице Коммуны.

Коля Рубцов рос хорошим, здоровым мальчиком, учился, серьезно занимался спортом...

Я помню, как его мать, Елена Николаевна Рубцова, рассказывала о пробудившейся вдруг в Коле Рубцове гордости, что он внук Рубцова...

Как происходило в Коле постижение поэзии Рубцова, мы не знаем, но сейчас уже ясно, что это было не внешнее, а глубокое и сокровенное уроднение русской судьбы.

Мы не знаем, кем не успел стать Коля Рубцов, но сейчас уже очевидно, что он нес в себе свою русскую судьбу точно так же, как его великий дед.

Первое нападение на Колю было неудачным.

Он отлежался в больнице. Когда вышел, на мобильный телефон начали приходить эсэмэски: «Ты не жилец. Выйдешь — убъем».

Говорят, что Коля и сам чувствовал, что ему не-долго осталось жить.



Отцу Коли, Александру Федоровичу Козловскому, уже после гибели сына приснилось, будто плывет он по реке к острову, на котором — он знает это! — Коля...

И ему хочется на остров, но лодку сносит течением, и звучит голос, что туда нельзя, и Александр Федорович подчиняется этому голосу, а потом начинает грести против течения, но уже не может выгрести...

Странным образом этот сон сливается со стихами Николая Михайловича Рубцова:

Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.
— Где же погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу. —
Тихо ответили жители:
— Это на том берегу...

Он как бы возникает из этих стихов и в них же растворяется, как возникает из судьбы Николая Михайловича Рубцова судьба его шестнадцатилетнего внука и в этой великой судьбе и растворяется.

23 ноября 2005 года, когда оставалось сорок дней до семидесятилетия Николая Михайловича Рубцова, исполнилось сорок дней со дня убийства его внука...

Игра с цифрами — явный признак близости к событию темных сил...

Увы... Разрушение нравственности уже достигло в нашей стране тех пределов, когда наша действительность валится в какую-то жутковатую бездну, ускользая от художественного осмысления ее.

Разрушить это искаженное пространство кривых зеркал, эти зыбкие голубоватые сумерки, где совершается разграбление нашей страны, где тем-

ные силы безнаказанно могут совершать любые преступления, может только Божий свет белого дня, потому что реалистического осмысления событий и не может произойти, пока мы замыкаемся в гордыне самодостаточности, пока ищем разрешение проблем, полагаясь лишь на собственные силы.

Эти силы весьма скромны, как бы щедро ни был одарен творец. Они приобретают созидательную мощь только тогда, когда писатель связывает их с самыми главными проблемами, которые занимают его страну, когда воплощает их в светоносной глубине языка, созданного нашим народом за его тысячелетнюю православную историю.

Православная мораль отвергает все варианты неполноты и неисправности служения, независимо от того, в какой области — церковной, государственной, литературной — осуществляется оно, и достижение идеала, попытка идеального осуществления заложенных в человека способностей является тем знаком, по которому определяется правильность избранного пути.

Творчество в православии — это всегда попытка нарисовать и постигнуть созданный Богом мир. Самая важная и самая интересная для писателя тема — тема спасения человеком своей души.

Это и следует назвать православным реализмом — художественным методом, совмещающим познание мира и спасение собственной души. Этим художественным методом и пользовались, порою сами того не сознавая, гениальные русские писатели, в этом методе и достигало их творчество наиболее полного и яркого результата.

Пример этому светоносная поэзия Николая Рубцова, тот белый, Божий свет, что несут в себе его стихи.



Сейчас, когда консерваторы и реформаторы, государственники и либералы — все озабочены поиском некоей русской национальной идеи, предлагаются самые нелепые направления поиска ее, многочисленные суррогаты и подделки, не способные ни объединить, ни воодушевить наш народ.

И все это в то время, когда наш современник, митрополит Иоанн ясно и четко сказал, что «всем, кто любит Россию, пора прекратить поиски какой-то «современной русской идеологии», искусственное конструирование идеологических и мировоззренческих систем для русского народа...

«Русская идея существует в неизменной своей нравственной высоте и притягательности; она пережила века, смуты, войны, революции и «перестройки» и не нуждается в замене или поправках, так как в основе ее лежит абсолютная праведность Закона Божия и Его святых заповедей».

Соотнося эти слова с творчеством Николая Михайловича Рубцова, мы можем с полной определенностью сказать, что его поэзия и является наиболее полным и глубоким художественным воплощением той русской идеи, о которой говорил митрополит Иоанн.

И эту русскую идею, не препарируя, не подвергая тщательному изучению, и восприняла, как из души в душу, из его стихов душа русского человека...

Поэтому и ополчились так силы зла.

Поэтому и сгущается такая тьма вокруг его жизни.

Делается все, чтобы мы перестали слышать Рубцова.

Делается все, чтобы исказить то, что он сказал своими стихами, своей жизнью...



В субботу, 22 октября 2005 года, 16-летнего Николая Рубцова отпели в Спасо-Парголовской церкви и похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

А уже в воскресенье, 23 октября, был девятый день, когда, согласно церковному преданию, Господь повелевает ангелам во второй раз представить к Нему на поклонение душу усопшего.

Со страхом и трепетом предстоит в этот день душа перед престолом Всевышнего. И снова Церковь молится за усопшего, прося милосердного Судию о водворении со святыми души усопшего...

В этот день в Санкт-Петербурге лил дождь.

Но когда священник отец Алексий Мороз служил панихиду на могиле Николая Рубцова, дождь прекратился.

— Когда умирают молодые люди, которые еще и не видели этой жизни, нам трудно смириться, мы испытываем особую скорбь, ибо неправильно по человеческому разумению, чтобы родители хоронили своих детей... — говорил отец Алексий Мороз. — Но сказано в Священном Писании, что когда готова жатва, немедленно посыается серп. Господь забирает человека не тогда, когда мы готовы к разлуке с ним, а тогда, когда сам человек готов для вечной жизни. Видимо, и Николай был готов, и его душа была обращена к Господу. И, может быть, та насильственная, мученическая смерть, которую Николай претерпел, сняла все небольшие грехи, которые он имел, и, полностью просветленный, он пришел к Богу...

И пролетела над крестом над могилой Николая Рубцова птица.

— Так почему же у нас такая великая скорбь и печаль? — звучал голос священника. — Да потому, что мы лишились радости общения с любимым че-



ловеком, мы скорбим, что уже никогда не увидим его здесь, в земной жизни... Но это неправильно... Будем помнить, что новопреставленный раб Божий Николай был выращен и воспитан для вечности, и не будем сейчас мешать его душе своей неумеренной печалью. Будем помогать этой душе своими молитвами и добрыми делами...

Четыре десятилетия назад, за несколько лет до своей смерти, сам Николай Рубцов написал стихотворение «Посвящение другу», где посреди кладбищенского, словно бы рождающегося из сновидения пейзажа и начинает звучать голос поэта.

Нет, меня не порадует — что ты! —
Одинокая странствий звезда...

Однако ни кладбищенский пейзаж, ни четырехкратное усиление безвозвратности: «Пролетели мои самолеты», «Просвистели мои поезда», «Прогудели мои пароходы», «Проскрипели телеги мои», — не ограничивают смертным рубежом пространство стихотворения.

Стихотворение «Посвящение другу» не о завершении жизненного пути.

При одновременности настоящего и будущего смерть в стихотворении размывается, существует одновременно с жизнью лирического героя и одновременно как бы и опережает саму его жизнь.

Читая «Посвящение другу», ясно различаешь, что звучит оно не из прошлого, а откуда-то из будущего, которое еще ожидает нас...

Словно и не было желтых комьев могильной глины — так просто и буднично возвращение героя стихотворения:

Я пришел к тебе в дни непогоды.
Так изволь, хоть водой напои!



Рубцов приходит в дни непогоды, опустившейся над нашей Родиной, он приходит с живою водой своей поэзии, утверждая любовь, когда в русских людях становится все меньше любви и сочувствия друг к другу, он утверждает нравственность, когда само воспоминание о ней старательно изгоняется из нашей жизни...

Поэзия Рубцова — это действительно та сказочная живая вода, которая способна помочь исцелению души народа, и именно поэтому так злобно и преследуют Рубцова темные силы и через тридцать пять лет после его кончины, поэтому и делается темными силами все, чтобы если не отсечь от русского человека — это невозможно! — поэзию Рубцова, то хотя бы опошлить ее, оглупить, пересмыслить и тем самым ослабить ее целительную силу.

Но в своем пророческом стихотворении Николай Михайлович говорит и об этом...

Не порвать мне житейские цепи,
Не умчаться, глазами горя,
В пугачевские вольные степи,
Где гуляла душа бунтаря.

Не порвать мне мучительной связи
С долгой осенью нашей земли,
С деревцом у сырой коновязи,
С журавлями в холодной дали...

И кажется, что уже ничего невозможno изменить в судьбе, но откуда-то издалека, из еще не наступившего для нас времени доносится затихающий голос поэта:

Но люблю тебя в дни непогоды
И желаю тебе навсегда,
Чтоб гудели твои пароходы,
Чтоб свистели твои поезда!

Мы пока не слышим восклицательного знака,
стоящего в конце стихотворения. Как робкая на-
дежда звучит для нас, для нашей Родины сейчас это
пожелание.

Но это для нас, захлестнутых зловещей бедой...

Это сейчас...

А голос-то звучит из будущего...

Оглавление

Глава первая. <i>Аленъкий цветок</i>	7
Глава вторая. <i>Детдом на берегу</i>	24
Глава третья. <i>Мглистый берег юности моей</i>	42
Глава четвертая. <i>Любовь и море</i>	77
Глава пятая. <i>На Кировском заводе</i>	104
Глава шестая. <i>Рубцовское время</i>	135
Глава седьмая. <i>По счету было «започено»</i>	157
Глава восьмая. <i>Путник на краю поля</i>	193
Глава девятая. <i>В дни нашей непогоды</i>	221
Глава десятая. <i>Судьбы и пути</i>	231
Глава одиннадцатая. <i>Заочный образ жизни</i>	259
Глава двенадцатая. <i>Горница Николая Рубцова</i>	286
Глава тринадцатая. <i>Звезда полей</i>	313
Глава четырнадцатая. «... <i>Вблизи пустого храма</i> »	334
Глава пятнадцатая. <i>За Вологдой-рекой</i>	357
Глава шестнадцатая. <i>Успокоение</i>	375
Глава семнадцатая. <i>На кромке обрыва</i>	405
Глава восемнадцатая. <i>Гибельная паутина</i>	431
Глава девятнадцатая. <i>Вологодская трагедия</i>	457
Глава двадцатая. « <i>Я не верю вечности покоя...</i> »	486
Глава двадцать первая. <i>Неостывшие следы</i>	498
Эпилог. <i>Белый свет поэзии Рубцова</i>	534

Николай Коняев
ГИБЕЛЬ НИКОЛАЯ РУБЦОВА
•Я умру в крещенские морозы•

Издано в авторской редакции

Художественный редактор *Н. Кудря*

Технический редактор *В. Кулагина*

Компьютерная верстка *Г. Ражикова*

Корректор *О. Степанова*

ООО «Издательство «Яуза»
109507, Москва, Самаркандский б-р, д. 15

Для корреспонденции:
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5
Тел.: (495) 745-58-23

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Подписано в печать 16.12.2009.
Формат 84×100^{1/32}. Гарнитура «Гарамонд». Печать офсетная.
Бумага тип. Усл. печ. л. 28,56.
Тираж 3000 экз. Зак. № 3734

ISBN 978-5-699-39806-5



9 785699 398065 >

Отпечатано с электронных носителей издательства.
ОАО "Тверской полиграфический комбинат". 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.
Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34, Телефон/факс: (4822)44-42-15
Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru

